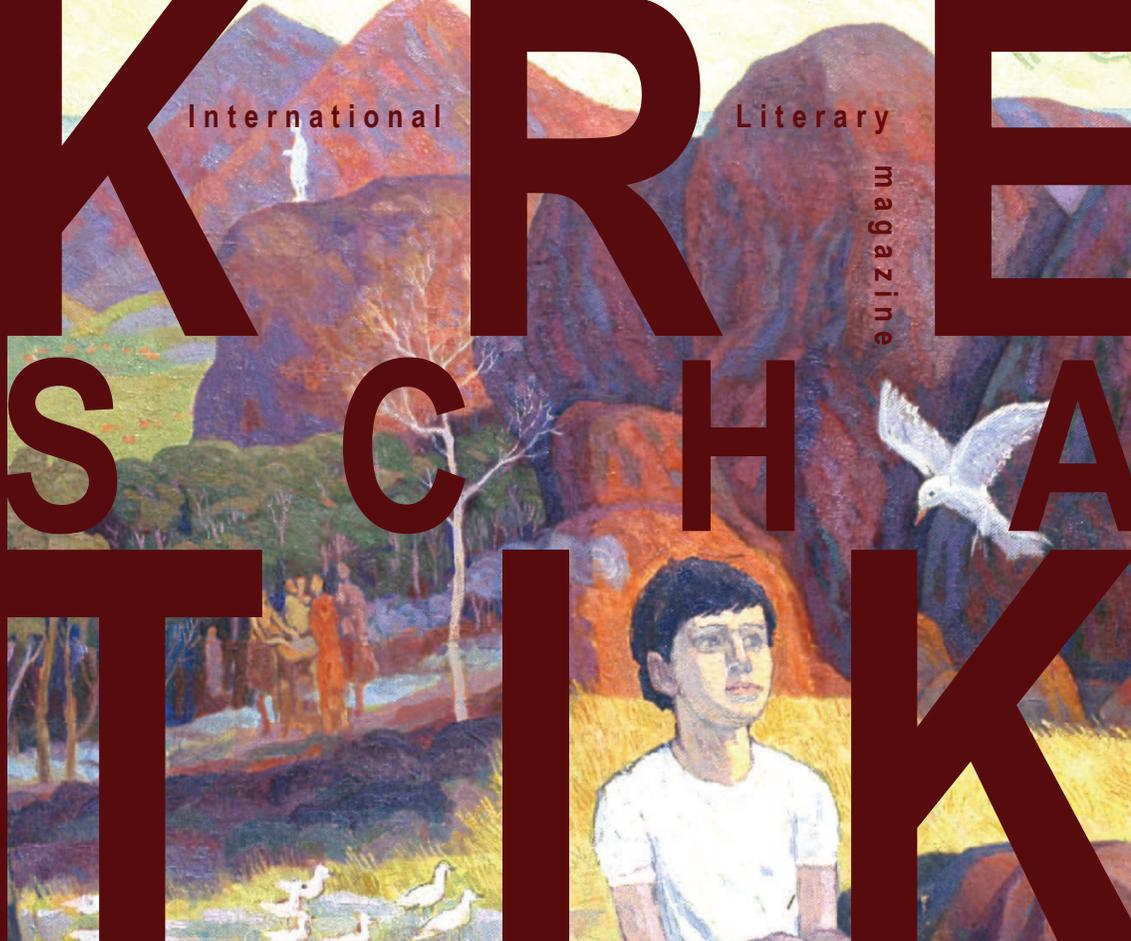


International

Literary

magazine



K R E
S C H A

T I K

Залман
ШМЕЙЛИН

Я — ЗЯМА

ЗАЛМАН ШМЕЙЛИН Я — ЗЯМА

БИБЛІОТЕКА «КРЕЩАТИКА»
ПОЕЗІЯ, ПРОЗА, ПУБЛІЦИСТИКА



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА

**Залман
ШМЕЙЛИН**

Я — ЗЯМА

**Друкарський двір
Олега Федорова
Київ, 2024**

УДК 821.161.1(94)-17
Ш72

*В оформленни обложки използвана
картина Йосифа Ейдельмана*

СЕРИЯ «Библиотека “КРЕЩАТИКА”»

Заснована у 2023 році

Шмейлин З.

Ш72 Я — Зяма / З. Шмейлин — Друкарський двір Олега Федорова 2024 — 456 с.

ISBN 978-617-8169-28-2

В нову книгу Залмана Шмейлина «Я — Зяма» вошли стихи різних лет, а также проза и публицистика.

Автор сосредоточен на глубоких противоречиях современного мира с надеждой найти в нем свое место.

УДК 821.161.1(94)-17

ISBN 978-617-8252-14-4 (серія БК)
ISBN 978-617-8169-28-2

© Шмейлин З., 2024
© Федоров О.М., видавець, Київ 2024

ЗАЛМАН ШМЕЙЛИН: ГРАФОМАНИЯ КАК ПРИЕМ

Краткий реестр детских болезней: корь, свинка, ветрянка, левизна в коммунизме, синдром Бродского. Шмейлин, на первый взгляд, серьезно инфицирован рыжим Иосифом: дольник, анжамбеманы, полное отсутствие тропов, безоговорочный приоритет идеи над образом. Ан нет, не все так просто.

В анамнезе у З.Ш. — советская поэзия 30-х: Васильев, Олейников, обэриуты. А по гамбургскому счету — и Хлебников, родитель их. Именно он едва ли не первым из отечественных стихотворцев возвел нарочитую графоманию — спотыкливую и шершавую — в ранг художественного приема: «Русь, ты вся поцелуй на морозе! / Синеют ночные дорожи».

Шмейлин — прилежный ученик классиков:

«Ирландские хроники эту историю сохранили
И около сотни свидетелей поклялись в том,
Держа правую руку на Библии
И соглашаясь пройти испытание водой и огнем...»

(«В хрониках сказано...»)

Первоисточник опознается без особого труда. Продуманно громоздкий и угловатый размер, тяжелые метрические сдвиги, намеренно неряшливая рифма явно из арсенала Павла Васильева — точнее, придуманного им Мухана Башметова: «Я, Мухан Башметов, выпиваю чашку кумыса / И утверждаю, что тебя совсем не было./ Целый день шустрая в траве резвилась коса — / И высокой травы как будто не было». Похоже, правда?

Этот перспективный вариант русской просодии унаследовал Бродский, а после, — уж не знаю, от кого именно, — и Шмейлин. Впрочем, сдвинуто здесь все, не только просодия. На синтаксическом уровне часты однородные сочленения несочетаемого: «Мне бы подошли времена динозавров, / А тебе — Нерону играть на лире». На лексическом — смешение стилей, к примеру — голливудского штампа с восточной сказкой: «Стреляя в голову, теперь говорят: «Ничего личного». / Мило, не правда ли, а я расскажу тебе одну притчу. / Однажды проснулся очень набожный Абу Али...»

Отчего считаю все сбои, сдвиги и перекосы Шмейлина приемами? Во-первых, графоман никогда не имитирует графоманию, — точно так шизофреник настаивает, что он в здравом уме. Во-вторых, Залман Шмейлин недурно ладит с традиционным стихосложением (см., например, первый катрен в «Ты виновата, что не ищу...»). Но с нетрадиционным ему явно интереснее.

Читателю, между прочим, — тоже.

Александр Кузьменков

ПОЭЗИЯ

МЕЛЬБУРНСКИЙ СВИНГ

Наш город расстелился плоско
Заметил Игорь Губерман
Его, как шахматную дóску
Скроил заправски капитан,

Что смело бриг провел сквозь штормы
Всех океанов и морей,
Но был убит рукою черной
Неблагодарных дикарей.

И посетитель удивленный
Не поскупится на постой,
Дивясь эклектике мудреной
На геометрии простой,

Разинет рот от изумленья
Прикинув живо, как фанат
Лужаек и уединенья
Тачал свой будничнй наряд.

Как будто по миру по ниточке
Он год за годом собирал
И все дометывал, подсчитывал
Как самый жадный из менял.

Одно к другому, как в копилочку,
От древности до наших дней,
С китайской фанзочки до вилочки
В районе Северных морей.

Чтоб, находясь на удалении
Таком от обжитой земли,
Мы все, что там — здесь непременно бы
На каждой улочке нашли.

* * *

Дождь по крышам, гроздья вишен
Да от скошенной травы
С головокруженьем дышишь
Все, как прежде, но увы.

Не вернуть тех забубенных,
Лихо спущенных годков
Проскакавших, как Буденный,
По долинам грез и снов.

В кубке — горькая отрава,
Капли жалкие на дне.
Возвращаются оравой
Только в памяти, во сне —

С кем дружил, до смерти спорил
Крепко взявшись за грудки.
Словно вытоптали поле
Кованые каблуки.

Нет давно ни тех, ни этих
Кто ушел, кого ни в «жисть»
Невозможно на рассвете
В кознях ночи уличить.

Мне в рукав не прятать взятки
Задолжаю — не беда
Сяду к стрелкам на запятки
И адью вам, господа.

* * *

Не замечаю в упор любого,
У кого в голосе сталь и жечь.
Веско команды звучат лишь от Бога
Если, конечно, он где-нибудь есть.

Но не желал бы я жребия лучшего —
Коль уж всю правду — вынь да положь,
Чем у тебя состоять в подкаблучниках —
Смирным, стреноженным — ну так что ж.

Мы отдаемся на милость любимым,
Как пациент отдается врачу,
Самым доверенным, самым ранимым —
Рваться на волю — убей, не хочу.

* * *

Я иссякаю, выжат, как лимон
Мне лекарь прописал примочки и припарки
Как новобранец, первогодок, салабон
Стал неуклюж, мои дела насмарку.

Но знаю, у тебя лекарство есть —
Поднимет мертвого верней святого Марка.
Так присоединяйся, сделай честь
Оттянемся, чтоб небу стало жарко.

Не мелочись, присядем и всплакнем
Что время так, сквозь пальцы, утекает
Назло всем хворям тяпнем, дербанем
Мой спутник, мой дружок, моя родная.

* * *

Не удручен и ничуть не растерян
Смерть — это очень по-человечески
Жизнью за жизнь платит каждое семя
Глупо у Бога выпрашивать вечности.

Глупо цепляться за долгие годы
Биологического прозябания,
Если мгновенье горячки любовной
Сердцу милее, чем все мироздание.

Если все краски земные играют
Только, поскольку мы рядом и вместе.
Не существует ни ада ни рая.
Тот и другой без тебя неуместны.

* * *

По стеклу колотит густо дробь
На ветру дрожит и гнется ветка
То вспорхнет, то возвратится вновь
Птица беспокойная — наседка.

Вид из окон на безлюдный двор
Где навес, меж трех столбов распятый,
Словно парус рвется на простор
В синеву гипербол и метафор.

* * *

*Omnia mea mecum porto*¹.

Ничего никому не отдам —
Ни богатым, ни добрым, ни нищим,
Ни прожорливым древним богам,
Ни в кубышку чужую, ни в пищу.

Никому ничего не ссужу
Ни молитвой, ни клятвой суровой.
В сапоги положу по ножу —
В свое каждое тихое слово.

Утаю, сохраню, обнесу
И врагов, и любимых и близких.
Что имею, с собой унесу —
Все поместится под обелиском.

¹ «Все свое ношу с собой» (*лат.*)

* * *

Тихо так, что хочется вопить
Бить посуду, тарабанить гаммы
Тихо, словно прекратили жить
Или вставили тройные рамы

Ни волнения, ни ветерка
Озеро в объятьях томной лени
Так бы здесь и просидел века,
Мирно их качая на коленях.

Не поверишь, что вчера весь день
Было так, как будто конец света
Вот, уже мне захотелось в тень.
Может, хоть на день, настало лето.

* * *

День стирается до донышка, до глянца
Рассыпается до трепетного герца.
Увядания пролившийся багрянец
Впитываю кожей и сердцем.

Завершившийся щемит вчерашней болью
Удаление не исцеляет раны.
Отсеченные на непогоду ноют
Пусть болят, я их лечить не стану.

И не тороплю, не умоляю
Неподкупен тот, кто стрелки вертит...
Без смятения, без страха привыкаю,
Как о жизни, говорить о смерти.

* * *

У царя свободных только двое
Возле трона — шут и стихоплет.
Кто из них в лакеях, кто — в героях
Так сплелись, — сам черт не разберет.

Да и нет нужды разгородиться.
Твое царство — это целый свет
Ты мне и служанка и царица
Я тебе — и клоун и поэт.

* * *

Мой трамвай не уйдет из-под самого носа.
Ты права, я, должно быть, по жизни везучий
Вот и ветер о том доказательства носит,
Собирает в шуршащие желтые кучи.

Мне, конечно, везет, что на улице ветер
Задирает подол, и морщинятся лужи.
Как удачно, что солнце по-прежнему светит
Повезло, что к тебе я так не равнодушен.

О БАБКЕ И ВНУЧКЕ

Б. В.

У нее с кринолином юбка,
Фу ты, ну ты, скажите, люди.
А недавно резались зубки,
А девчонке пять только будет.

Перед зеркалом крутит прядку,
Что на солнце с отливом рыжим,
Это ей наследство от бабки
Только ей досталось из ближних.

Гневно сдвинула бровки в складку.
Взгляд по-царски грознее тучи,
Это ты копируешь бабку —
У нее замашки не лучше.

Губки бантиком. Топнет ножкой —
Ну, держитесь, мальчишки разные.
Это бабкин характер тоже —
То ли сердится, то ли дразнит.

Нрав у бабки крутой, брутальный,
Извержение сил стихийных.
Ишь, зараза, бежит из спальни,
Ничего, что пишу стихи ей.

Впрочем, быстро гроза уходит,
Золотой снова глянет рыбкой,
И совсем уже не по моде —
Стоит царства ее улыбка.

КОКЕТКА

Выгребла на пол из шифоньера
Брючки, платья, кофточки, картонки,
Туфельки из ящика фанерного,
Для собачки красную попонку.

Приценилась — нет, не современно —
Броско, а чего-то не хватает.
И не впечатляет совершенно
Эксклюзивно сшитое в Китае.

Видно начинается буза,
Тяжело вздохнула: «Вот так здорово!»
Закипает, копится слеза...
Села, подперев ручонкой голову.

Что это за тряпки — мишура,
Ничего совсем не обеспечено.
Скоро день рожденья — в пятый раз
Жизнь проходит, а надеть-то нечего!

* * *

Непоседа, грациозно-тонкая
Щиколотка выдает породу.
Ты еще совсем, совсем девчонка,
Но каков *шарман* и вызов гордый

Чисто женской выправки и стати —
Так держались дочери у лордов.
Затесался, очень может статься,
В твои гены тайно рыцарь Норда.

Заводила, вожачок, оторва,
Вот опять на дерево залезла.
Ахают, завидуют — как здорово!
Всякие там рохли и тетери.

Я расположусь неподалеку,
Но не рядом — как бы феи злые,
Отточив недреманное око,
Не нашли какой-нибудь филии.

Феи, феи, древние старушки,
Прозевали тетки, так и знал я,
Чтобы ты мне, как своей подружке
Язычок взяла и показала.

* * *

Предположим, был бы я всезнайкой,
Стал везучим — сплошь пошли тузы,
В играх всяких типа «угадай-ка»
Получал бы главные призы.

Но, партнеров раздевая в покер,
Не преодолеешь перекося,
Кто везучий, тот и одинокий
Выбирать — да это не вопрос.

Мне джекпот случайный ни к чему.
Бог с ним, с покером, — нелепая затея.
Скажешь, блажь, с чего б — да потому,
Рисковать тобой совсем не в тему.

* * *

Б. В.

Не все потеряно, не все еще прошло,
Забыв о возрасте, я, словно в прежних силах,
И осень снова наполняется теплом,
Когда услышу: «С добрым утром, милый»

Когда остатки отряхнувши сна,
Прикидывать я стану «да» и «нет»,
Чтоб день грядущий исчерпать до дна,
Чтоб вечер провести с тобой наедине.

* * *

Я один на один с личной музой своей,
Не возьму третьим лишним ни Блока, ни Бродского.
Мне, скажу, и Коржавин не нужен совсем
В наших с ней не простых отношениях плотских.

Я готов с кем угодно делить за столом,
Исключая бессовестных кровососущих,
Хлеб, вино и стихи, но условимся в том:
Муза лично моя, пусть не самая лучшая.

* * *

На мгновенье мелькнула строка,
Как назло, ни бумаги, ни ручки.
Только бритва и в венах рука.
И стена — только это и ничего лучшего.

Поведу второпях, как гусиным пером,
Растекаясь по белому красным,
Распишусь наразмашку внизу под рядком —
Значит, грунт кто-то клал не напрасно.

ОСЕНЬ

*Иосифу Эдельману, художнику,
другу, соотечественнику.*

В аллеях по утрам не убрана листва,
Струится вкрадчиво, шуршит под каблуками
Природа — аноним, войдя в свои права,
Решительно ведет багряными мазками.

В ней все сплошной каприз, без правил, без оков
Не нужно ждать-сидеть, пока холсты просохнут
В палитре Бога — смесь из тысячи цветов
А он, как мы, грустит и выбирает охру.

* * *

Живо и трепетно только минувшее
В нем неизбывная грусть и печаль
Непогребенное, только уснувшее —
Недостижимая, близкая даль.

* * *

Либерал пробился в держиморды,
Мировую крепко держит зону,
К жизни ограниченно пригодную.
Впрочем, данный факт его не тронет.

Хочет всем добра, даже отпетым.
Жаль, что простоват умом и телом
У него не зря в авторитетах
Где-то там и Мор и Кампанелла.

У него священная корова —
Все равны без скидок — это свято.
Лучше, когда черный, нездоровый.
Еще лучше — педик и горбатый.

Очень популярны палестинцы,
Передовики без недостатков,
Видят мир сквозь прорезь — это принцип,
В голове вместо мозгов — взрывчатка.

В паханах — на кафедре профессор —
Кафедра у этих вроде шконки.
И звучит по городам и весям
Их язык изысканный и тонкий.

Это явно не блатная феня,
Но пойми попробуй говор странный
В ней мишенью в тире — мальчик Беня,
Коллективный мусорник изъянов.

* * *

Поэт пророчил просто так
Игра фантазии, пустяк —
Не заготовленный тайком,
А с губ сорвавшийся сверчком,
Загнул для красного словца
Экспромт от первого лица.
С котомкой в путь отправил сразу
Едва родившуюся фразу,
А глядь, все наперекосяк —
И сам он мордой об косяк,
И враг кругом, и пала Троя,
И время за окном другое,
И лучше было промолчать,
Когда душа рвалась кричать.

* * *

Еще зацепят, вдруг, напоминаем
Затронут железы весенние цветы.
Хочу зарезервировать желанье
Один прогон до станции мечты.

Смотрю, как завязью спешат покрыться ветви,
Так чувственно открыты, так просты,
Я всех своих желаний безответных
Не достигал подобной простоты.

Еще земное не дано название,
Что приземляет, как ни назови.
Хочу зарезервировать желанье,
Один прогон до станции любви.

* * *

Пустынный пляж и не видно в море
Ни паруса, ни корабля.
Здесь в межевом бесконечном споре
С водой соперничает земля.
И монотонно бегут, безутешно
Волна воинственно за волной,
И шепчут и шепчут о мире нездешнем,
Таинственном — нам с тобой.
Но выглянет солнце, чары развеет,
Лучом из далекого далека,
И от соленого ветра хмелея,
Вспорхнет навстречу теплу строка.

* * *

В.

Врать не буду, ведь не было жаркой
Между нами любви большой.
Молодайка и перестарок,
Вот и все наши тайны с тобой.

Обошли нас весенние грозы,
Прилепись мы — и вышло бы зря,
Ты смеялась сквозь пьяные слезы,
Говорила: «Гулящая я!»

Но чиновных лихих паскудников
Отшивала легко: «Не трожь!»
Над тобой нависали будни,
Словно острый бандитский нож.

Нам той радости выпало — крошки,
Лишь натруженных рук излом.
Ты шептала про свет в окошке
И учила быть твердым, как лом.

Знаки тайные, — может из Рая? —
Ты все шлешь, не пойму — о чем.
Я тебя иногда вспоминаю.
С благодарностью, не со злом.

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Обильно жир в сковороду
А сверху яйца —
И в кровь предательски войдут
Ряды данайцев.

Их смертоносные полки
Под сенью ночи
Меня, как муху пауки,
Внутри источат.

И вражьи fleши возведут
Холестеролом.
И все пути пересекут
Тройным забором.

И будет мне опять пенять
— Что «ладно», «ладно»?
Упорно предостерегать
Моя Кассандра.

Яичный пыл сойдет ко дну
С высот азарта.
Я примирительно шепну
«С восьмым днем марта!»

НЕПРИМЕТНОСТЬ

Неприметность — свойство или следствие.
Нянчит оробевшая душа
Не благоприятную наследственность
В факте недостатка куража.

Говорят, нахальство — счастье избранных,
Но ярлык обидный — второй сорт.
Мол, нахала легион непризнанных,
Первосортных, в жизнь не обойдет.

Мнение чужое, даже лестное,
Как падет — на решку? На орла?
Клеопатра, женщина известная
Очень некрасивая была.

Неприметность — это оппозиция
Жадным на раздачу небесам —
Скрытых гениев неузнанные лица
В Азии находят по ушам.

* * *

Я забыл, что бывает лето,
Едко щурится календарь,
В нем июнь¹, но по всем приметам
Продолжаются холода.

Выдувает тепло сквозь щели
Непрерывный, надсадный вой —

¹ В Австралии июнь — середина зимы.

Семь без отдыха дней недели
В голос плачется домовой.

Завихрения непогоды —
Свист разбойный и трубный глас.
На меже потолочного свода —
Бой локальный добра и зла.

Я для всех сквозняков распахнут,
Млечный холод сквозь изморозь стен
Все течет в меня капля за каплей
В синеву истончившихся вен.

И не важно, какую погоду
Обещает на завтра прогноз,
Я забыл — когда лето приходит,
Снова хочется в зиму до слез.

* * *

Д. П.

Я иду по канату,
По самому лезвию бритвы.
Ступни режет, как скаты,
И пот заливает глаза.
Кто-то шепчет молитву,
Кто-то стулом скрипит воровато,
Я иду по канату, и мне аплодирует зал.

Я пройду, пересилив себя,
Липкий страх этих долгих мгновений,
Этот узенький меж берегами натянутый мост.
Я пройду, стиснув зубы,
Без дрожи противной в коленях,
Я пройду распрямившись во весь над ареною рост.

Ты поверить дурным обо мне
Не спеши кривотолкам,

Если станут твердить,
Что я с неба свалюсь, как Икар,
Пусть заране скорбят,
Пусть тревожат свидетельством горьким.
Я пройду до конца,
Чтоб никто не взглянул свысока.

* * *

Уж ветер полу рвет, и гонит желтый лист,
И мачту на волне и клонит, и качает.
Любовь еще жива, не бьется, не кричит
А молчаливо, гордо умирает,

Изменой, как стрелой, навзлет поражена,
Вся вспыхнула душа и вмиг заледенела.
Ушла любовь, ушла, слезою истекла,
Как голова, расставшаяся с телом.

* * *

Загадочность осенней долгой ночи,
Под аккомпанемент муссона за окном.
Неясный образ, скрытый между строчек,
Зашторенный кисейным, зыбким сном.

Когда чего-то хочешь, но не очень
Средь чувств, сезонно склонных изменять,
Весной влюбиться, обручиться в осень,
Зимой снежной с грустью потерять.

* * *

Я сегодня с Музой всю ночь шустрил,
Словно спал в прожекторской, некрофил.
Ягодица, ушко ли, все равно
Никакого отклика, как бревно.

* * *

Мне кто-то здесь недруг и кто-то — не друг.
Средь многих с улыбкой протянутых рук.
Я к ним без претензий. Раз так, значит так!
Я сам себе, может быть, искренний враг.

И первопричина бессонных ночей,
Я сам среди грозных своих палачей,
Я сам себя первый сужу и виню
Кнутом под язвительный ропот гоню.

Мне б только с другими, пускай невпопад,
Сочувствия встретить признательный взгляд.
Чтоб кто-то услышал, чтоб кто-то проник
Сквозь шепот в мой громкий, отчаянный крик.

Здесь кто-то мне недруг и кто-то — не друг.
Средь многих с улыбкой протянутых рук.
Я к ним без претензий. Я их не корю.
Я сам на костре своих строчек сгорю.

* * *

Я бреду по улице с ленцой,
Важные, солидные строенья
Возвращают мне отображенья
Мраморной, зеркальной глубиной.

Значит, я вернулся, я живой,
Просто я очнулся от наркоза,
Добрые, родные, спрячьте слезы,
Этот номер выскочил чужой.

Просто солнце засияло строже,
Просто зелень сделалась сочной,
Просто каждый встреченный прохожий
Стал мне беспрепятственно родней,

Просто птичий неотвязный гомон,
Как крючками, мое сердце рвет.
Я бреду с ленцой аллеей сонной,
Я живой и это мне идет,

Я живой, еще веревке — виться.
Просто, я вернулся оттого,
Что с тобою не успел проститься —
Не сказал и слова одного...

* * *

Ты приходишь за мной, моя грусть, моя боль,
Мой дружок закадычный, печальный.
Раз пришла, заходи, только двери закрой,
Проходи, подожди, что случилось с тобой,
Ты в слезах — иль на улице дождь проливной,
Или звон колокольный, прощальный.
Горек будет опять наш напиток хмельной,
Ничего, не беда — нам с тобой не впервой
Только шторы колышутся в спальне
А на улице дождь опадает листвою,
Пей до дна, до последней до капли одной,
Это время грустить, мы присядем с тобой
Перед нашей дорогою дальней.

* * *

Когда б стихов моих железную оправу
Я собственной рукой облагородить мог,
Я б почерком своим размашисто-корявым
Не стал дописывать пролог и эпилог,

Густой палитрой разрисовывать ландшафты,
В рассветный гомон вслушиваться птиц,
Пророчества библейских номинантов
Искать в столбцах незыблемых страниц.

Я б остерегся оттенять простые,
Так нужные для женщины слова,
И длинный путь исхода из России,
И как растет забвения трава.

Я б различил в шумах и хрипах сердца
Его живой и теплый кровоток,
Такой заветный — никуда не деться,
Моей поэзии единственный исток.

ОТКУДА...

Ну откуда, откуда, откуда,
Ну откуда вы можете знать,
Из какого из дальнего круга
Будет память вам гроздь швырять.

Что она, заглянув по-соседски,
Сообщит на своем языке,
Уведет вас куда-то, как в детстве,
Прикоснувшись рукою к руке.

Ну откуда, откуда, ответьте,
Этой песни случайный мотив.
Как изводит нечаянный вестник,
Как непрошено в сердце стучит

Этой памяти минное поле,
Этот морок, чтоб ясно понять:
Мне туда никогда не вернуться,
Мне сюда никогда не попасть.

ТАСМАНИЯ

Табун лошадей закусил удила.
Такая дорога — лишь черту мила.
Несутся вприсядку тасманские ели
Под свист залихватский цыганской свирели.

И рокот тревожный басовой струны —
Ревущих колес посреди тишины.
Кружит, словно в вальсе седая гора,
Сегодня любовник, чур, буду не я.
Скала подступает, душа в каблуке,
И нить Ариадны зажата в руке.
Но если раз сто перевалишь гряду,
Но если проедешь сквозь эту беду,
То будет привал в придорожном лесу,
На ужин горячий фасолевый суп,
Бумажный стаканчик с искристым вином
И чай в котелке с закоптившимся дном,
А завтра тропинка приткнется туда,
Где бурно по скалам струится вода,
Провалы чернеют под куполом сфер,
Где звездное небо во мраке пещер.
И вспомниться может покинутый край
В местечке со странным названием «Рай»,
Где травы по пояс, где липы в цвету
И пчелы сосут медовую росу.
И будет журчать за стеною река,
Деревья вершиной качать облака,
И будешь под бархатный шорох струны
Петь грустные песни далекой страны.
И станет на сердце от песни теплей,
И сердце подскажет — все будет о'кей.
Пусть время умчится, пусть двинется вспять,
Но будут по-прежнему горы стоять,
Деревья в обхват уходить в вышину,
И будут мужчины ходить на войну.

* * *

Вновь сентябрь наступил, вот и кончилось долгое лето,
Отзвенели, умчались лихие, горячие дни,
Опоенные синью и яростным солнечным светом,
Утомилась душа и зовет — тишины, тишины...

Зной, как зверь укрощен и улегся дремать у порога,
Гроздь спелых плодов, где сплетались в любви лепестки.
Зимовать приготовились, в платье одевшись, тревоги,
В почки бережно спрятав от бед молодые ростки.

Я уйду спозаранку, теперь совершенно не к спеху,
Я глотну свежий воздух и запах соленой волны,
Средь озер и полей отзовется тревожащим эхом
Гулкой осени след оборвавшейся в сердце струны.

ЗАГАДКА...

Я был антисемитом, было дело,
Свое еврейство сам в себе я презирал,
Как некое внедрившееся тело,
Которое к тому же я не знал.

И так многозначительно шныряли
Вокруг происхожденья моего —
Все что-то обо мне *такое!* знали
А я не знал, ей-богу, ничего.

Решив, что в этом надо разобраться,
Я книжной пыли вычихал пуды,
Пока мои носатенькие братцы
У мусульман (чего уж тут стесняться)
Выщипывали спесь из бороды.

Не в книгах соль, в томах все шито-крыто.
Я не нашел в них ровно ничего.
Растут и множатся ряды антисемитов,
Но я уменьшил их число на одного.

И кое-что теперь я понимаю.
Загадка есть народа моего
Никто *такого!* ничего не знает,
Но это не меняет ничего.

* * *

Вам Иосифа Бродского,
А нам Иудушку Троцкого.

Вам пейзаж Левитана в раму,
А нам его еврейскую маму.

Для вас Иисус на кресте мается,
А нам — повесившегося христопродавца.

Караул, грабеж среди бела дня —
По живому рвется нация.

Умыкают в свой Вавилон и живых и предков:
Себе, что получше, а нам — с чужого стола объедки.

Давайте разождемся любовно, по-щедрому,
У вас своего добра и в мозгах и в недрах.

Вам не слабо вырастить на севере грушу,
Только верните нам нашу «катюшу».

Будет вам в каждую строку лыко,
А нам жидовствующий Дмитрий Быков.

А, главное, пожалуйста, во имя отца и сына
Оставьте в покое нашу Палестину.

ДВА ПУТИ

Когда от младших христианских братьев
Я снова слышу издевательский навет —
Я не заплачу, не подставлю щеку, нет.
По мне уместней был бы пистолет.

Да, раскачали мы в семнадцатом Россию,
Но нет во мне раскаянья стыда,
Пустых хлопот взаимных обвинений —
Кому платить по счету за Жида,

За память смертную о гайдамацкой сабле,
За пух из окровавленных перин,
За все сонмы невинно убиенных,
Оболганных, гонимых, умерщвленных,
Не доживших до старческих седин.

За все, что накопилось за столетья
Злой, недочеловеческой судьбы,
За беспросветность двух тысячелетий,
Что прожили, как римские рабы.

Мы на паях разыгрывали драму —
С замахом дерзким все переменить.
Лежала Русь как тень под сапогами,
И Бог молчал, не в силах защитить.

Мы пролитою кровью не считались —
Россия не мертва, не прощена,
И муки, как лекарство, ей достались,
В отпущенных до срока временах.

Ее пути — ее страницы,
Там только города и лица
И все навеки суждено,
А нам вот два пути дано.

Один — сквозь улюлюканье толпы,
Оставлены вниманием Отца,
С спиною жалкою и ликом мудреца —
Туда, под Бухенвальдовский набат.
Другой — сквозь пулеметный ад,
Под Римской Аркою — назад!

ЗЯМА

Мне имя с рожденья дано, как клеймо.
По паспорту Залман, возможно Шломо.
Красивое имя, высокая честь,
Всего-то еврейства, чего во мне есть.
Его я полжизни носил как ярмо,
На мне, как колода, висело оно,
Как платье изгоя, как кличка раба —
С рожденья — заплатата, с рожденья — судьба.
И каждый с издевкой, какой только мог,
Его мне подвешивал, словно плевок.
Я тщетно боролся, я тщетно взывал,
Я небу проклятья свои посылал.
Но кинул однажды я взгляд на себя
И понял что Имя мое — это Я.
Мы с ним нераздельны, мы с ним заодно,
И это мой разум пьянит как вино.

11 СЕНТЯБРЯ

И было утро. А у нас был вечер
Числа одиннадцатого сентября
Ничем особенным пока что не отмечен
В среде текущих дат календаря.

Аллах тот день назначил для остратки,
Его понять — понадобятся нервы.
Палач лютует в мировых порядках —
Грядущий век проклятый двадцать первый.

Безумие толкало локтем в спину,
Я жал на газ и гнал на красный свет.
Пылающие двадцать тонн бензина
Меняли декорации окрест.

И бесновался на руси Хотюшин,
Он целил в Капитолий, в наш тотем,
Там нет врагов его, но зависть жабой душит,
Достал его, блин, этот дядя Сэм.

О чем признался искренне и честно,
Сжимая пьяно пятерню в кулак.
Мне на планете с ним не интересно,
Какой-то он не правильный земляк.

В нас Киплинг выявил бы разную породу,
Раскрыл один убийственный секрет.
Мы даже не враги, мы антиподы,
Меж нами миллион световых лет.

* * *

В душе моей не ангелы скорбели,
А сути две как будто спор вели,
Мой долг мужской, едва ль не с колыбели,
И нервы истонченные мои.

И от чужой страдая тяжело боли
Внутри я словно криком исходил,
А внешне все рассчитывал и строил —
Так по-мужски, по расстановке сил.

Часами после перекраивал любое
Словечко, что сказалось невпопад.
Мог вызвать в сердце лихорадочные сбои
Случайно брошенный недружелюбный взгляд.

Но я терпел, носы ребячьи квасил,
Себя от своих нервов отрывал
И там внутри за то себя дубасил,
Что боль чужую так переживал.

Со временем и, каюсь, к сожаленью,
Я внутренний раздор преодолел.
Но мне тогда казалось в нетерпенье,
Что просто в срок мальчишка повзрослел.

* * *

Ф. 3.

Вы мне вопрос задали сами,
Мужской заранее предчувствуя ответ:
Должно ль добро быть с кулаками?
Но я вам отвечаю — нет.

Нет — хитроумному стремленью
Облагородить норы злой
И хлесткой фразой снять сомненья,
Как мускулистою рукой.

Мне, как и вам, совсем не в этих,
В других словах участие есть:
Добро заботится и лечит,
А бьется мужество и честь.

* * *

Водочки принять впору
Под закуску из мухомора
Или еще чего похлеще,
Чтобы голос прорезался вещей
И загудел колоколом,
Чтобы слащавый ор стал в горле колом.
Полундра! Атаc! Свистать всех наверх!
Лопнуло правил дышло.
У договоров, законов, вер
Съехала на бок крыша.
Нечего стало переступать —
Никто по столу не стукнет:
Десяти заповедей священных — тать
Теперь не преступник.

С такими нам не ужиться, никак —
Порваны все завязки —
В сердце которых клубится мрак,
А человеческое — для отмазки.
Видно чертям в этот раз повезло,
Бог бы такого не выдумал сроду,
Это не та пионерка с веслом,
Это совсем другая порода.
Выявлен генетический сдвиг —
В их организме заполнил клетчатку
Вирус смертельный «Аллах велик!»
Плюс килограмм гвоздей и взрывчатки.

* * *

К богам идут, дыша туманами,
Сверкая золотом перстней,
А ты ко мне приходишь пряная
Несытой нежностью своей.

И снова небо нам качается,
Хоть все давно уже не в срок,
И мальчик дерзко улыбается,
Загнувши юбки уголок.

* * *

Сегодня видел я, как вдруг набухли почки.
На улице июнь, здесь средь зимы — звонарь.
Не по календарю в душе родятся строчки,
Взгляд равнодушный им, как для цветов — январь.

ЕВРОПА

Европа-Мать, я пред тобой как сын,
Священна патина твоих изысканных морщин,
Соборов коронованных яйцеобразность
И древних форумов заслуженная праздность.

Склониться на колени я готов
У алтарей твоих замшелых городов,
Когда из каменных порталов
Встают гремучие века
И в щели стрельчатых кварталов
Стекает времени река.

Но блекнет Зигфридова доблесть
Твоих изнеженных мужчин,
Когда-то криком оглашавших
Застылость дикую равнин.

Мне чудится печальный звон
По престарелости твоей.
Как будто точит нож разбойник в темной чаще,
Повсюду взгляд его агатово-блестящий.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ

А Поэты ведь только в стихах небожители,
Им у Оси и Лили хватило б обители.
Там, где жизнь без любви сочетается с прозой,
На заборах рисует училкой венозною.
Где с руки дебоширствовать и хулиганить,
И знакомство водить со шпаною и дрянью.
Где, по правде сказать, не покажется странным,
Что бывает Поэт нетерпимым и пьяным.
Где рифмующий чувств от избытка шизоид
Нагородит с три короба, о чем не стоит.
Где порой, по торжественным дням, величают
Только чаще свои, как врага, убивают.
Это вовсе не то, вы об этом не думали раньше,
И неплохо б держаться от них подальше.
Лучше видеть их так, как показывают с экрана,
В бронзе памятников лучше их вид — подавно.
Когда гладко причесаны они и умыты.
Когда то, что в них общее с вами — скрыто.

Я и ТЫ

Друг другом мы окружены,
Друг в друга мы погружены.
В тебя, нырнувши с головою,
Я чувствую себя тобою,
И, не спросясь, повсюду ты
Мои копируешь черты.

Мы не в родстве между собою
Но ты, как тень, всегда со мною
В каком бы ни было краю,
Себя в тебе я узнаю.
Как разделить меня с тобою —
Ты не один, не оба-двое.
Из множеств множества тебя
Мне нужно отделить себя,
Чтоб получить простой ответ
Я — существую или нет.

ВОРОВКА

На Ваганьковском кладбище тишина,
На Ваганьковском — золотые кресты.
Ночью сторожем ходит по небу луна,
В лунном свете могилы, как в кольцах персты.

Я Володе цветов нанесу, как хочу,
Я Сереже о грусти-тоске пропою,
А туда подойду — постою, помолчу,
Долго думая думу мужскую свою.

Аферистка, воровка, какие дела.
Да в повадке ее словно царская статья.
И Россия молвой, не скупясь, воздала,
Чтобы славе ее, как короне сверкать.

Ей свободу хранить, как маячный фонарь, —
Каждый день, словно в карты играя с судьбой.
И фартовый валет увозил ее вдаль
На несущейся вскачь птице-тройке лихой.

Отчего ж в мое сердце крадется печаль,
Я не вор, не бандит по натуре своей.
Отчего, как сестру, ее искренне жаль,
Почему мне ей хочется доли светлей.

Ей кураж воровской вполовину с бедой,
Беломраморный камень всего только знак —
Стерегут вдалеке ее вечный покой,
Сахалинской глуши смертный холод и мрак.

ИЧУКА

Налево глянь, направо глянь и прямо глянь вперед,
Как будто неожиданно попал в водоворот.
И крутит петли хитрые чертовочка-река,
Являя взору дикие на плесах берега.

А воздух, словно золотом заткали пауки,
А вечер одурманится от запаха ухи,
И все вокруг заполнится ночной тягучей мглой,
И небо опрокинется молочной рекой.

Но прежде чем алмазами усеется декор,
Австралию невидимый покажет режиссер:
Под куполом изменчивых цветов аквамарин
Распишет эвкалиптами багровый шлейф зари.

И только лишь непрочную накинет сон узду,
Тебя уж будит криками строптивый какаду,
И удочки настроены на станцию души,
Такая вот история, ну просто свет туши.

И ВСЕ ЗАБУДЕТСЯ...

И все забудется, забудется, забудется,
Укроет время зыбкой пеленой,
И отделится от меня, спрессуется,
Что было нервами моими, было мной.

Как сладок яд грядущего забвенья.
Вот я распят, стекают кровь и пот,
Но капают и капают мгновенья
На раны мне — и я уже не тот.

И зарастает в грубых струпьях кожа,
Как будто покрывается броней,
И время застилает мягким ложе,
И пережитое становится судьбой.

Но я вернусь туда грабителем незванным,
Наперсником мне станет чистый лист.
Раскроются замки, скрывающие тайны.
И время все назад, что взяло, возвратит.

НЕ ВСЕ ЕВРЕИ МОИСЕИ

Не все евреи Моисеи,
Но доведись мне выбирать,
Я снова выбрал бы еврея,
Его решительную страсть.

Чтобы тщеславье успокоить —
Пройти бы с песней стороной...
Но здесь есть шанс прожить на совесть,
Не отрекаясь быть собой.

Так, чтобы поздно или рано,
О том уже не хлопочу,
Рукою старого *маррана*
Зажечь субботнюю свечу.

* * *

Померкнет святость древней Палестины
Перед Европою бесчисленных Голгоф.
Ее апостолы еще лишь копят силы
Для миллионов будущих крестов.

Пренебрегая чистотою линий,
Восстанут новые еврейские роды.
Из уважения к Цветаевой Марине
Поэты тоже, кажется, жидаы.

И прав окажется Нагибин Юрий,
Наступит время так судить,
Что склонности души важнее, чем де юре —
Евреем станет тот, кто им согласен быть.

Бог даст, жестокостью земля переболеет,
Избавится от самых мрачных пут.
И будет день, когда пойдут в евреи,
Как избранные в рыцари идут.

* * *

Нам не хватало, чтоб мы сами,
Среди других ошибок роковых,
Себя увидели не нашими глазами —
Глазами истых недругов своих.

Но если уж кого-то очень веско
Предубеждение чужое допекло,
Пусть смотрит так, как Достоевский:
Нас человечество еще не превзошло.

* * *

Нам бы с «исторической» в обнимку и вместе
А мы зад об зад и в разные стороны,
Такой уж народец мы неуместный,
Вечно ищем, где попросторней.

Не в смысле, что избегаем пертурбаций,
Их-то как раз нам с избытком хватает.
Мы не в истерике и не в прострации,
Просто жить не умеем в стае.

* * *

Луна накатила необычайной конфигурации,
Словно медный пятак, разрубленный пополам,
А вдруг это вовсе не абберрация,
А вдруг на земле происходит драма.

Может, кто-то лишил ее нежной округлости,
Так что стали черты ее плосковатыми.
А ты звезду зачерпнула в море рукою смуглой,
А ты восхищаешься красками заката.

Стою, потрясенный, неужели катаклизм
Накликали шизики, и это не блажь пустая,
А бриз успокаивает, овевает — подлиза,
И комары отчего-то совсем меня не кусают.

* * *

Возможно, достанься мне примеси хоть на йоту,
Стал бы я своим среди патриотов.
У них там вольготно, закон для таких не писан,
Главное, нутром чуют мировую закулису.
Таскал бы я на досуге двухпудовые гири,
Учился бы «чурок» мочить в сортире.
И, может быть, развесил бы в прихожей
Поясные портреты основоположников
С распаренными, как после бани, лицами
И с орденом Ленина в петлице.

* * *

Ты виновата, что я не ищу
Сокровищ в далеком море.
Ты виновата, что я сам с собой
Больше уже не спорю.

Ты виновата, что не стремлюсь
Мир наш переиначить,
Что все звезды и все фонари —
В складках твоего платья,

Что все оттенки живых цветов
В меди твоего волоса,
Что все мелодии мира звучат
В тихом твоём голосе.

И если идти мне, как знать, по проспектам
К людям с протянутою рукой,
Я буду думать только об этом —
О каждом прожитом дне с тобой.

ГИПЕРБОРЕЯ

В этом городе, будто крестиком помеченном,
Пахнет цикутой и миндалем горьким,
Ночью в небе ни Ковша, ни Пути Млечного,
Словно занесло тебя в Чертовы Задворки.

Здесь не жалеют ладана против чумы и голода,
Ходят гулять на площадь, где четвертуют геев,
Бреют клинками головы, но сохраняют бороды
И выбивают на пряжках: «Мертвые не краснеют!».

Здесь побивают камнями изобретателя пороха —
Убедительнее пороха спайка в стае.
В этом городе женщины в глубоком обмороке,
Оттого, что о любви ничего не знают.

В этом городе, приткнувшемся к потухшему кратеру,
Климат подозрительный — ни зимы, ни лета,
Жители пресыщены боями гладиаторов
И читают запрещенное про Ромео и Джульетту.

ЛЮБЛЮ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ...

Люблю в последний раз,
Хочу сорваться с петель,
Расшевелить листву
До самых корешков,
Взъерошить, а потом,
Как ненасытный ветер,
Лизать, лизать, лизать
Шершавым языком.

Люблю в последний раз,
Хочу морским прибоем
Изнеженных лагун
Округлости ласкать,
Вернувшись вновь и вновь,
Их покрывать собою,
В чреде бесчисленных лун
Желать, желать, желать...

Люблю в последний раз
Гольшиком-младенцем
Хочу прильнуть к груди
Клещом — не оторвать,
Глотая полным ртом
Нагую откровенность —
Люблю, люблю, люблю, —
Как мне шептала мать.

АВТОПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В РАМКЕ

Я приходила к нему убирать квартиру,
Это было не сложно: ванна, кухня, пропылесосить ковер.
Перебросимся фразами, пока я посуду мыла —
Насчет погоды и прочий расхожий вздор.

Чтоб мне не мешать, он включал компьютер,
Говорил, сочиняет стихи, только это не факт.
На пыльных полках книги, книги и книги — круто,
Вот бы проверить, о чем он там пишет, но как?

Его родной язык — русский, в английском, похоже,
Он мультикультурно ни бэ, ни мэ
А я филиппинка, мой *ленгвич* тоже
Ни вашим, ни нашим, *ву компромэ...*

Он всегда предлагал выпить чашечку кофе:
«Ты устала, какой может быть разговор».
А я колебалась, уборщице-профи
Положено строго держать зазор.

Если я соглашалась, мы долго болтали,
(Как — не понятно), но тем замес
Его завораживал микродетальями,
Он мне говорил — в этом весь интерес.

Но однажды на вежливый стук, как учили,
Никакого ответа — молчанье ягнят.
Позже в офисе мне, извинясь, подтвердили:
Что заказ на клиента снят.

НЕКТО КАМОЭНС...

Некто, возможно, Камоэнс
Говорил — в настоящих стихах
Совершается то, чему имени нет
Ни в наречиях, ни в языках.

Некто, возможно, Камоэнс,
Говорил, что в стихах
Плещет вода по пояс:
Все, что имеет имя:
Ритмы, догадки, глянец —
Мимо.
Поэзия — то, что останется.

Некто, но не Камозэнс, которого я не знал
По целому ряду причин,
Пишет стихи, как берут интеграл
От мизерных величин.
С налету покажется — «Ого-го!
Вот пример, так пример!».
Но отчего же при отжиме
В остатке нет ничего...

* * *

Мы совсем не очевидная пара
Повстречались — шагай пошире.
Мне бы подошли времена динозавров,
А тебе — играть Нерону на лире.

Но случилось как раз то, что случилось.
Ну, рулил бы я не «Хонду», а «Ниссан».
Только б жизнь была — при жизни могила,
И стишок бы этот не был написан.

* * *

Гора с горой не сходится, увы,
Рог жизни полон — донышко кривое,
Когда мы в ссоре — оба не правы,
Вина и покаянье — тоже вдвое.

Нам выбор дан, поделенный на двух,
Не легкий, до истерики, не скрою,
Когда решаешь, нужно просто жить
Или жить так, чтоб дух свело — с тобою.

* * *

Говорят, что Муза — ангел с рыжими волосами,
Украшенными венцом.
Мне повезло, посудите сами —
Я точно знаю ее в лицо.

Говорят, что она иногда появляется на пороге,
Не решается заходить.
Моя приходит хозяйкой, моет усталые ноги
И позволяет себя любить.

Моя подбирает гладкие камешки по дороге
И приносит ко мне домой.
И я соглашаюсь, что много чего такого
Лежит под ногами, только согнись дугой.

А то постоит за плечом, усмехнется:
«Зачем так упорно корпеть над строкой?
То, что ты ищешь, само прорастет, пробьется,
Только не дрейфь, оставайся самим собой».

Я спросил у нее: «Отчего ты раньше ходила мимо?»
«Оттого, что раньше ты был как все, —
Отвечала она с безразличной миной, —
Я уж думала безнадежный совсем».

НОСТАЛЬГИЯ

Она слегка приволакивает заднюю лапку,
Считают, что у этой породы собак,
Размером чуть больше медвежьей шапки,
С сильными мира сего до безумия дерзкой —
Это верный генетический знак
Недвусмысленно королевский.

Романтику оставим Вероне,
В собачьих рангах отнюдь не пешка, —
Охотник она ломовой.
Не одна пара наглых, крикливых ворон,
Обманувшись ее добродушной внешностью,
Поплатилась своей головой.

И только глянула — что за чудак,
Когда ты притащила ее в мой дом —
Не заискивала, хоть тресни.
На всякий случай прошлась под столом —
Ясно, — здесь не бывает других собак,
А такие места ей не интересны.

А потом ты ушла, и она легла,
Притулившись ко мне чуть дрожащим боком,
Как ты обещала, вполглаза спала,
Не вникая в драмы телеэкрана,
От меня не ждала никакого прока
В защите маленьких и бесправных.
Ее сердце дрожало от нежности — не ко мне,
Перешла на диванчик, возле которого твои тапочки.
Час за часом валяется пестрой тряпочкой
Там, где запах твой от каждого лоскутка,
И в глазах ее на самом, на самом дне
Человеческая тоска.

* * *

Подошел знакомый Зямыч
В куртке кожаной «реглан», —
На нем не смотрится.
А потом Иван Абрамыч
(У него сейчас роман)
С диабетом и своей пулеметчицей.

Стало, как в «однушке», тесно,
Обсуждается изъян —
Разговор на повышенных.
Дескать, пузо у невесты,
В Ватикане сан
Не прописанный.

Мнений — «Килька в маринаде»
Сомневается народ,
Изнасилованный телеком,
Есть ли шансы у команды
«Киевский хлебозавод»¹
Против «ЦСКА» и «Терека».

* * *

Сколько раз начинаешь плясать от печки —
Две трети жизни это сплошной простой.
И если глазами женщины на тебя смотрит вечность,
Ты понимаешь, какой ты маленький и пустой.

Люди ходят, любят древними видами —
От умиления прольется, порой, слеза.
Но приглядитесь, у сфинкса под пирамидами
Совсем не кошачьи, а женские, с поволокой, глаза.

* * *

Три вещи властвуют над нами
Неумолимо, словно рок.
Я их должник в глубокой яме
Всецело — с головы до ног.

Три вещи, к жалобам глухие,
Мой караулят каждый миг.
Самоуправные стихии,
Диктатор — каждая из них.

Я их лишь подданный ничтожный
Все дни недели из семи.
И свергнуть силой невозможно
Власть Слова, Пола и Семьи.

¹ По легенде, в 1942 году в Киеве состоялся матч между футболистами киевского «Динамо» и сборной «Люфтваффе». Киевляне матч выиграли, за что были расстреляны. Они выступали под именем сборной «Киевского хлебозавода №1»

Но, их высоких напряжений
Ток пропуская сквозь себя,
Я вижу, что они лишь тени
Тебя, Тебя, Тебя, Тебя...

Все каравеллы всех морей, все поцелуи
Дороги, щели и лазы,
Весь жар, испепеленный всуе,
Весь трепет мыслящей лозы,

До истощения, до дрожи,
До хрипоты, до немоты,
Сквозь то, чего и быть не может —
Все это Ты, все это Ты.

ЭСАВ

Я твой, Иуда, нелюбимый сын —
Груб, волосат, пропах мужицким потом.
Встречают взглядом подозрительно косым
Меня брезгливые девчонки дяди Лота.

Мне душно за домашнею стеной —
Люблю простор, размах, уединенье,
Журчанье струй, пустыни быт простой,
И терпкий козий дух и птиц рассветных пенье.

К чему мне от зари и до зари
Дни иссушать свои за пресною молитвой —
Я с детства ненавижу буквари,
Мне по душе погоня, ярость битвы.

Мне гонор братца сроду не понять:
Гордится он общеньем близким с Богом,
Но как хрупка его изнеженная статья,
Как на земле стоят его не прочно ноги.

Я твой, Иуда, нелюбимый сын —
Рожден от страсти с правом первородства.
Корявый, кряжистый простолюдин
Дремучего, незыблемого свойства.

* * *

Ветку распустившейся сирени
Я принес, а ты еще спала,
Добирала сладкие мгновенья,
Я смахнул две крошки со стола

В кухне. На него поставил вазу,
Растворил водою аспирин.
Что-то изменилось в жизни сразу,
Все как есть, ты только посмотри,

Как повеселели даже стены
Тысячью невидимых пружин,
День обычный, буднично-весенний
Всполошился, ожил, закружил,

Завертелся в праздной карусели,
Расстарался из последних сил.
Этот запах веточки сирени,
Этот запах, что он натворил...

* * *

Завелся в моем доме
Забавный старичок.
Усатый, бородатый,
А ростом — с локоток

Загнутые штиблеты,
Тростиночка в руке,
При кожаном жилете
Штанах и колпаке.

Он прибыл ниоткуда —
Напрягся — и возник.
И не такое может
Престраннейший мужик.

Лукав и добродушен
Непрошенный сосед
Должно быть, с Белоснежкой
Водился много лет.

Я полон удивленья
Зачем и почему —
Земные все секреты
Открытые ему.

Кто может поручиться,
Но что за ерунда,
Мне начинают сниться
Цветные города.

Возможно, гномик сослан
Из сказочной страны,
А он только смеется
Спустив свои штаны.

* * *

Б. В.

Говоришь, — неряха жалок,
Нервно прядку теребя.
А мне дорог беспорядок,
Что приходит от тебя.

К черту логику и мненья
Помелом и кочергой,
Все законы притяженья
Отменяются тобой.

Я цепляюсь хваткой грубой,
Ускользает — сущий бред.
Остаются только зубы
Даже те, которых нет.

Нет времен железной связки,
Точку ставит не свинец.
Выясняется, как в сказке,
Что сначала был конец.

Не пойму я, был ли, не был,
И минуты, как года.
Ты со мной и мне до неба
Дотянуться — ерунда.

* * *

И неважно, как — по-мирному,
Или честно — на ножах.
Ах! Какие годы вырваны,
В угол ласково зажав.

Не вернешь, как лысым волосы,
Ни денечка, что ушли,
Когда пелося вполголоса
Напролет весь день внутри.

Где ты, детство в пятнах сумрака,
Приблатненное слегка?
В школе очередь за бубликом
С полстакашком молока.

Где ты, юность беспокойная,
С перестуками колес.
Хорошо, хоть бесконвойная,
Хорошо, что Бог пронес.

Хорошо, что вывел к берегу
Без руля и без ветрил,
Хорошо, что был Он бережен,
Что тебя мне подарил.

Переполнена коробочка —
Каждый выдох, каждый вдох...
Будет встреча, шутки побоку,
Только выйду за порог.

Там узнаю — светом, карой ли —
(Думал — плачено вперед?),
Божий дар дается даром ли, —
Иль земное все не в счёт.

* * *

И все-таки, как здорово,
Что полагают нашими
Картошечку с селедочкой
И гречневую кашу.

И все-таки, как здорово,
Присев за столик с другом,
Закусать стопку водочки
Огурчиком упругим.

И все-таки, как здорово,
Как будто не съезжали,
Выпытывать с пристрастием
«Меня ты уважаешь?»

И все-таки, как здорово,
Гордиться тем отличием,
Что мы больны на голову
Своим русскоязычием.

* * *

Потомок черного раба
Ведет себя как римский император,
Он кормит плебс, когда стране труба
И превращает родину в театр.

Еще не установлена вина —
Америке чужда природа трона,
Но медлит воспрепятствовать сенат
Замашкам современного Нерона.

Как будто демократии оплот,
Забыв урок, себе позволить может
Дух африканский с головы до ног
Проказника с аспидным цветом кожи.

Богов разгневанных вердикт произнесен,
И остается только лишь дожждаться —
Сгорит дотла бедняга Вашингтон,
Если история способна возвращаться.

* * *

Ю. Б.

В формате выверенных ритмов
Клавиатурой дождей
Тебе пишу я, друг мой ситный,
Коллега, ловелас, Орфей.

Приметив чей-то юный локон,
Тоска хватает за кадык
Певца слепых чердачных окон
И коммуналок проходных.

Где эти нежные создания
В обход ячейки и Це Ка
Досрочно богатели знаньем
Откинувшегося Зэ Ка.

Им вслед презрительно хрипело
Из-за плеча, вдогонку — «блядь»
Им так идет сегодня в белом,
Ты в них влюблен — чего скрывать.

Ты их построчно, постепенно
Иконный образ пишешь, как
России лик незамутненный
России выклейменный знак...

Все разошлись, уж скоро утро
У изголовья смятый плед
И льется первый мутный свет
На бледый оттиск Кама-сутры.

Коробка крошащихся спичек
На стул небрежно брошен лифчик
И в голом виде у окна
Она, в себя погружена,

* * *

Инге Д.

Скажи, я услышу, — сквозь шум городской,
Сквозь рокот волны набежавшей морской,

Сквозь рык ядовитой заушной молвы,
Сквозь шелест пробившейся к солнцу травы.

Скажи — я услышу твой шепот сквозь ночь,
Сквозь гул листопада, сквозь морок, сквозь дождь.

Сквозь всю неустроенность, как не итожь,
Сквозь горечь надежды, сквозь слезы, сквозь дрожь.

А если поймешь, что на ухо я туг,
Что я откликаюсь не сразу, не вдруг,

Ты крикни, чтоб дрогнули стекла в домах,
Чтоб замерли стрелки часов на руках.

Чтоб кровь загустевшая кинулась в лоб,
Чтоб сердце рванулось и с места в галоп.

Кричи во весь голос, натужься, не трусь,
Ты крикни, — я эхом тебе отзовусь.

* * *

Каждая женщина — Ева.
Каждый мужчина — Каин.
Если карга и стерва,
Значит, коса на камень.

Значит, напрасно в мире
Летом трава и росы.
Значит, не по ранжиру
Встречали весну и осень.

Значит, даже с увечной
Тебе ничего не светит,
Если у этой женщины
Ты не один на свете.

Мир достается нежным —
Прочее не по чину.
Нет нехороших женщин,
Есть плохие мужчины.

Каждый мужчина мечен.
Снобы, ваш ценник плакал,
Нет некрасивых женщин,
Есть плохой парикмахер.

* * *

Однажды утром я проснусь слепым —
Мир скроется за мутной пеленою.
И я в себе незримый мир открою,
Что был до этого невидимым, немым.

Однажды утром я проснусь слепым,
Чтоб научиться изощренно слушать,
Как шевелятся внутри тела души
И трутся о терновые шипы.

Однажды утром я проснусь слепым,
Чтоб ночь продлить в сиянье ярком света —
Час ворожбы для женщин и поэтов, —
И зов почувствовать нехоженой тропы.

* * *

Я ей говорил — ты ангел,
Не задумавшись, от избытка чувств,
А она мне в ответ — да ладно,
Во мне ангела лишь чуть-чуть.

Я ей говорил — ты дьявол,
И в этом вся твоя суть.
Она, отмахнувшись, вяло
Отвечала мне: «Ну и пусть!»

От нее я в полном отчаянье,
Кто же — ангел она или бес.
Только мир с ней полон нечаянно
Совершающихся чудес.

* * *

Возраст — мундир надрывается куцый;
Возраст — зайдется в истерике глаз;
Возраст — зажившие швы разойдутся;
Возраст — попозже, потом, не сейчас.

Возраст, когда ты все реже и реже
Можешь сказать о себе — повезло.
Возраст, когда ты по-прежнему нежен,
Но поступаешь все чаще назло.

Возраст — не годы, они лишь личина,
Как ночничка чуть струящийся свет.
Возраст, когда от друзей половина,
А от врагов и того даже нет.

Возраст на годы — сплошное расстройство
От незначимого — лучше не трожь.
Возраст, когда места нет для геройства,
И совмещаются правда и ложь.

Возраст, когда все становится пресным, —
Мысль, разговоры, желанья, уют.
Возраст, когда тебе нравятся песни,
Только когда их другие поют.

НОВОРОССИЯ

Сад за тыном, вода в кринице
Да ковыль в степи по край неба.
На майдане смятенье в лицах...
Будут очереди за хлебом.

Там, на Западе, изобилие,
Каждый, кто не поэт — прозаик,
А в Луганске опять избили
То ль хасида, то ль, так — очкарика.

Гей, братва! В голенище ножик!
Гуляй Поле, обрез, тачанка...
Нам Россия, не дрейфь, поможет,
С ватным задом прикатит в танке.

С нами спорить — себе дороже.
Кто упрется, считай, что с грыжей.
Путь знакомый уже исхожен
До Берлина и до Парижа.

Пусть у янки срывает крышу,
Скажем клеркам: сидите тихо.
Грохнем дверью — весь мир услышит,
Как шумит в Украине лихо.

Видно, страсть была безответной,
Без любви ходим с вами парой.
Вы зануды — интеллигенты,
А мы, типа — плохие парни.

* * *

Мною всех не целованных женщин
Я прошу — извините заранее,
Что из большего выберу меньшее,
За мое к вам неприставание.

За мое к вам лишь платонически
Неуемное, нежное чувство.
За отсутствие уз физических
Извиняюсь легко и грустно.

И зачем я прошу прощения —
Вряд ли вам будет интересно
Оголтелое увлечение
Но безадресное, хоть тресни.

Нет достойной альтернативы,
Виртуальной, уж вы поверьте,
Чем вздохнуть: «Как вы все красивы!»
Безответно, зато до смерти.

* * *

И не надо совсем орденов
Золотых или крытых эмалью.
Мне достаточно трех твоих слов,
Что так дороги даже и крохам малым.

Тем, кто их без потерь приберег,
Не забраться в уютную старость.
Если даже минутка осталась,
Ты хозяин ей, барин и Бог.

Трезвомыслию — твердое: «Нет!»
Пусть морщинки торопят итожить,
Никогда не сорвусь, чтоб в ответ
Прошептать безразличное «тоже».

ПАРК ДОМИНИКАНЦЕВ

Сто рулонов осеннего ситца —
Век работы резца и шпателя.
Омут, озеро, белые птицы —
Тени вымерших птеродактилей.

Угрожая громоздким клювом,
Заслоняя крылом полнеба,
Нарезают они круг за кругом,
Нависают справа и слева.

И средь веток, на верхотуре,
В недоступных древесных сводах,
Замирают пернатые фурии,
Стерегут эту мертвую воду.

Взгляд скользит по воде и мимо.
Башни замка, как сахар колотый.
И стеной плакучие ивы
Полыхают сусальным золотом.

* * *

Б. В.

Словно падает снег — снегопадом идет листопад,
И дурман-потаскун очумелыми строчками вторит.
Ты надень для меня свой любимый, парадный наряд.
Календарь, календарь, ты взбесился от праздников что ли.

Провоцируешь, дразнишь своим легковесьем одежд,
Выставляешь на свет все что есть, словно скарб погорельца.
Черт с тобой, я согласен, еще не последний рубеж,
Не война, чтоб декабрь зарядить аргументом для немца.

Мы тебя пригласим, если хочешь, присядем за стол,
Станем шутики шутить, полнить влагой игристой бокалы,
Капать в кофе коньяк, но в умеренной дозе, а то —
Как бы нас не погнали в три шеи из зала.

* * *

А я никогда не отращивал пейсы,
Но бабушка — Йоха, но дедушка — Ейшка...
(Родители — это другая заноза,
Но бабушка с дедушкой религиозные.)
Я жизнь положил, чтобы их не стесняться,
Над ними, чтоб всем угодить, не смеяться,
Чтоб вспомнить, вздохнув, про их «кугел» и «шейку»,
О сладостях праздничных вяжуще-клейких,
Припомнить их вещи с душком довоенным,
Что были на рынке предметом обмена,
Пасхальные рюмки с серебряной вязью,
Когда за столом все — из грязи да в князи,
Машинку с готической надписью «Зингер»,
Где платья тачались для Соньки и Зинки,
Чтоб вспомнить еще, кроме чая под сушку,
Как нежно они обожали друг дружку,
Как множились складки их лиц от такого,
О чем промолчали цека с синагогой.

Как смерть за полшага таскалась за ними,
Косила вокруг, как колхозную ниву,
Как я прогибался, как было мне плохо,
Что дедушка — Ейшка, что бабушка — Йоха,
Как был я скупым на любые усилья,
Чтобы за это меня простили.

* * *

Мы теряем друзей. Не в боях, без торжественных звонов,
Не от грозных недугов, которых врачам не унять.
Замолчали друзья, отключили навек телефоны.
Мы теряем друзей, оттого что не в силах понять.

Мы теряем друзей — не легко, не беспечно, как в детстве,
Собутыльник и тот откровенно пошел «не такой».
И кому-то бы лучше в уютном углу отсидеться,
А он прет на рожон как в последний решительный бой.

Словно снова в атаку пошли конармейские лавы
(Видно, где-то они хоронились в туманах души),
Мы теряем друзей, как в гражданскую — влево и вправо
Разделились, и каждый по правде, по истинной правде решил.

Мы меняли легко долготу, широту и отчизны,
Оставаясь в кругу, не давая его разорвать.
Мы теряем друзей как до срока — куски своей жизни,
Так что нам у черты уже нечего будет терять.

ИСПОВЕДЬ

Душа моя на ветру дрожит,
И строка на бумагу ложится криво.
Верую — Создатель мой грех простит,
Что давно не видел меня счастливым.

Я забыл, когда это было в последний раз.
Может, с той поры как объелся мороженым в детстве,
В день, когда мама сказала: «Факир на час
Ты сегодня. Реформа, сынок — паровоз действий...»

В моей памяти каждый шаг запредельно крут.
Спотыкаясь о корни навязших в зубах березок,
Нарезаю и нарезаю, как скаковая, за кругом круг.
Только и научился, что смеяться сквозь слезы.

Устремления живы — ни дать, ни взять,
Но за счастьем я как за девкой не бегал.
Мне знакомо — и этого уже не отнять —
Только пахнущее чабрецом горьковатое чувство победы.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ XXI

И не верьте, не верьте, что, мол, коммунизм побежден —
Где-то там на полставки устроен в далеком Китае.
Это вовсе не так, не спешите кадить на амвон,
Он живеет всех живых и над миром победно витает.

И не мчитесь тотчас посетить его труп — в мавзолей,
Убедитесь, что там он, еще раз вздохнуть с облегчением.
Поезжайте в Америку — это гораздо верней —
Там блат-хата его, климатрон разноцветных течений.

Все буржуи земли могут не беспокоиться, нет,
Им отсрочка — зигзаг (так бывает нередко в истории).
Отменен неудачный, проваленный русский проект.
Все обкатано, слито и все получилось — в Претории.

Аутсайдеры, лузеры, братья (прошу извинить,
Но хиджабы сестер — не распутство досадной ошибки),
Наше дело святое — по-честному все поделить.
Запад сам виноват, что такой стал дебелый и хлипкий.

НАШЕСТВИЕ

Соседка — вдрызг, без перерыва —
Клиенты, дозы, грязь, шмастье,
Что под опшопами нарыла.
И тараканы — Ё-моё!

Они толпою, как цыгане,
Кочуют от нее ко мне.
Хитиновым покровом в ванной
Шуршат в полночной тишине.

Стремглав в охотничьем запале
Несутся в кухню — им Клондайк.
Не остановишь. Ёлы, палы!
Вали, воруй, не опоздай!

Как понимаю я индусов,
Их сердобольную мораль...
Бесчеловечно — в морду дустом.
Имеет право, хоть и тварь.

Но какова же подоплека,
Каков спасительный резон?
Тут неуместно мекать, бекать
Ты мне сказала: «Гнать их вон!»

И вот, партнер по мирозданию,
Ползет — отравы на устах,
И при последнем издыханье
Хрипит «За Родину! За Ста...!»

* * *

Вован поклялся: «Главное мне — люди,
Для них Россия трудится отныне».
И стало ясно, что с Россией будет.
По фене — «люди», это суть — «блатные»...

Вован сказал: «Мы им устроим блиц
На скоростях в десятки чисел Маха»,
А я смотрел на выражение лиц:
В них отражался зуд в районе паха,

И плотоядность скифских пастухов
С раскосыми и жадными глазами,
И пионерский клич: «Всегда готов!»,
И комиссарское: «Москва за нами!»

* * *

Русь в глуши — мордаленция та еще,
Огородик, колодезь, плетень,
Скол плиты с арматурой зияющей,
Сараюшка, сортир без петель,

Клеть, подклеть, бельецо на веревке,
Дров поленница, пара корыт,
Банки-склянки, бутылки и пробки,
Татарва неумытая. Быт.

Отыщи в таком месиве средство,
Чтоб душе воспарить и запеть.
Вот, найти бы волшебный перстень
Или волку на холку сесть,

Унести на нем в дальние дали,
Где сплошь замки да короли.
Эх! Как смачно в глубинке мечтали,
Пока Запад жирел и гнил.

А Хохляндия — дело другое,
Русь как Русь — даже днем с огнем.
Только хатки там с синевою,
Словно в стопке одной с бельем,

Только дворик под вишней вычищен,
Словно горница к Рождеству,
И хозяин в рубашке с вышивкой,
И кабанчик сопит в хлеву.

И вечерять на летней кухне,
Как стемнеет небесный свод,
Тесной россыпью звезд набухнет,
Все сойдутся, смыв липкий пот.

И лоснящуюся тараньку,
Запивая домашним вином,
Про Марусю да про Иванка
Тихо, тихо споют перед сном.

* * *

Как горки русские — из радостей и боли,
Отмеренные, будто на весах
Качающихся у отметки «вровень»
Ревнивым оком — там, на небесах.

Март и рассеян, и предрасположен
То зноем взъярится, то осенью плеснет,
Заезжий балагур — по самый край заморожен
Изменчивый во всем — седых висков развод.

Тринадцать голов ученых кандидатов,
Страшила, Дровосек в доспехах сверх кальсон —
В зеленых городах волшебные закаты —
На ужин подадут французский круассон.

Изреванный асфальт как будто в каплях крови —
Сквозь мрак и хлад пространств прорвавшийся фотон.
Прости, что загрустил, отставить — хмурить брови.
Искрится изумруд, пролитый на газон.

Зеленый лоск травы — залог успокоенья.
В предчувствии — отсчет пойдет скакать по дням.
А дальше — по часам, минутам и мгновеньям.
А дальше — как всегда, но, только, без меня.

ГРАММАТИК

Овидию изгнанье — катастрофа,
А наш, напротив, в удаленье зрел,
Как скампелем обтесывая строфы,
Над словом чах, над рифмою корпел.

Он и себя поставил вне закона,
Стеною отчужденья окружил,
Чтоб год за годом грубо, испуленно
Тиранить музу, павшую без сил.

Он выжимал пронзительные строки
Из капель прошлогоднего дождя.
В них зелень томно исходила соком
И шмель летал, назойливо гудя.

В них землю черную, сверкнув на солнце, лемех
Расчетливо изрезал на ломти,
Рука размашисто разбрасывала семя,
Зимой несла к губам аперитив...

В них женщина платочек нервно мяла
И пальцем крестики чертила и нули,
Луна взбиралась в небеса устало,
И в темном парке лилии цвели.

А за стеной шла жизнь своим манером,
Просачиваясь в каждую дыру,
По праздникам бесчинствуя в тавернах,
И вытесняя в дебри кенгуру.

* * *

Мне этот мир — любить и не любить,
соткав ковер судьбы за нитью нить.
Есть сто причин его возненавидеть.
И лишь одна, где «быть или не быть»
без колебаний «если да кабы»,
Склонится к «быть» хотя бы в трезвом виде.

С пустой котомкой на привоз
осенних луж, весенних гроз —
Улисс, сошедший с корабля Арго на сушу.
Коснется струн — на это спрос —
копна растрепанных волос
И ворох свежих, солнечных веснушек.

На дальний берег занесло
Не силой ветра, не веслом —
Маяк всех страждущих — где глубже и где лучше.
Где океанское тепло,
И где тогда белым-бело,
Когда в цветенье яблони и груши.

Где б вмиг от слякоти промок
Отчизны хромовый сапог.
Где шепоток одно с другим сцепляет звенья,
Где все сойдется, дайте срок
И где б я дня прожить не смог
Без жара рук и дрожи со-прикосновенья.

По мотивам австралийского фольклора

* * *

Простой холщовый вещмешок
Прислужник мне и друг.
Тот вещмешок да пара ног —
Весь список моих слуг.

Я с ними в гору не пойду,
Мой путь лежит в обход,
Играя с ветром в чехарду,
Вдыхая дикий мед.

Найду местечко на пруду,
И там без лишних слов
Костер веселый разведу
С дымком от комаров.

Сорвется в огненный заряд
Глупышка-мотылек
И, может быть, бродяга-брат
Придет на огонек.

Ягненок — я его украл —
Сегодня ужин мой.
Он утром весело скакал,
Теперь в котле с водой.

И участь горькая его —
Подобная моей.
Нагрянут копы — ого-го!
Ловить плохих парней.

Моя свобода на кону,
Но им меня не взять.
Я с головою в пруд нырну,
Чтоб век на дне лежать.

По мотивам Шеймаса Хини

В ХРОНИКАХ СКАЗАНО...

Ирландские хроники эту историю сохранили,
И около сотни свидетелей поклялись в том,
Держа правую руку на Библии,
И даже соглашаясь пройти испытание водой и огнем,

Что однажды в монастыре Клонмакнойса
Прихожане после вечерней мессы увидели, выйдя во двор,
Отчего лица их приняли цвет купороса,
Огромный чугунный якорь, вцепившийся крепко в створ

Могильного камня, что отец-настоятель взял
с горы Еленойской
В Иерусалиме и замуровал в монастырской стене
Канат, привязанный к якорю, сплетенный из конского волоса,
Тянулся куда-то вверх и терялся во тьме.

И некто, одетый в морские клеши, словно нырнувший в воду,
Вдоль каната спустился и стал раскачивать якорь,
чтобы его сорвать.
И в этом почти преуспел, но прихожане, что были сильны
и молоды,
Схватили его за ворот и даже успели слегка помять.

Но тот задыхался и вдруг прекратил все хлопоты,
Его трясли, но, похоже, моряк был мертв.
А из тьмы кто-то прокричал петушиным клекотом,
И обрубок каната свалился с грохотом, будто летел
несколько верст.

В кармане пришельца, когда его обыскали,
Не обнаружили ничего, кроме кубика
в черном шелковом полотне
И кожаной книжицы со странными квадратными письменами
Таковыми же, как на могильном камне в стене.

Эту историю передают из уст в уста уже восемь столетий,
Нет на свете такой стороны,
Где поэты ее не заметили,
А якорь в монастыре Клонмакнойса до сих пор
торчит из стены.

По мотивам Лея Ханта

АБУ БЕН АДАМ

Стреляя в голову, теперь говорят: «Ничего личного».
Мило, не правда ли, а я расскажу тебе одну притчу.

Однажды проснулся очень набожный Абу Али
Посреди ночи. Пропустим про уличные фонари,

Но лунный свет, просочившись сквозь жалюзи,
Казалось, тянулся к ангелу, который лучиком лазерным

Что-то писал в книге с листами из червонного золота.
Абу Али стало стыдно вида своего голого.

Но, прошептав имя Аллаха и собравшись с силами,
Он спросил: «Что пишешь ты там на золоте с таким пылом?».

«Видишь ли, я пишу имена тех, кто особенно любит Бога —
Отвечал ему ангел — и здесь о тебе ни слога».

Задумался Абу Али и с самым покорным тоном
Говорит: «Я молюсь Аллаху искренне и упорно

Ежедневно по пять раз за день — знают об этом люди
И уверен, что должен быть в списке тех, кого Аллах любит»

Свет померк, видно набежала на луну грозовая туча,
И Абу Али до утра грезил, что дела его теперь пойдут лучше.

Но настала ночь, и вновь появился Ангел
в плаще с красным подбоем
Со списком на листах цвета алой крови
и увел Абу Али за собою,

И сказал ему по дороге, чтоб тот не маялся дурью:
«Знай, Аллах забирает к себе тех, кого любит — пулей.

Ну а тех, с кем готов хоть на кулачках с секундантами,
В наказание обязывает талантом.

Чем отчаянней спор, тем талант покруче,
Чтобы им наделенный — себя, как в преисподней, мучил».

* * *

Н. К.

С первого твоего крика рядом незримо рок —
Мир хреново устроен — где-то всегда течет.
Рвутся тонкие ниточки от головы до ног,
Стоит только расслабиться в надежде, что пронесет.

Я никогда не выясню, есть ли на свете Бог,
Который эмоционален — так же, как ты и я.
Но знаю, что каждый, кому он расщедрился и помог,
На девяносто девять процентов рассчитывал на себя.

* * *

Б. В.

Это было вчера или может два года тому,
Это было в Порт Дагласе или случилось в Кенсе.
Почему твой звонкий голос умолк, в каком песке утонул,
Что ложился под ноги золотом, а теперь не стоит и пенса.

Я теперь редко слышу, как ты поешь,
А о чем молчишь — лучше не касаться,
Словно никаких чудес ты уже не ждешь
И совсем не боишься разочароваться.

* * *

Находясь в глубине колодца,
Что увидишь, кроме пятна.
Выход рядом, но так же недостижим,
Как в небе черные дыры.
Словно кто-то бросает
Клочки разорванной фотографии из окна,
А ты по обрывкам
Строишь картину мира.

Вокруг тебя одна лишь густая тень.
Даже, если солнце
В расщелину так и брызжет.
И собрать по кусочку
Хотя бы один полнокровный день
Тебе не хватает срока обычной жизни.

Ты сложил все иллюзии, слезы,
Сказал про себя — наплевать,
Раз нет сил преодолеть
Каких-то десять саженей,
И в колодце можно
С комфортом существовать
В убеждении твердом, что вне —
Всего лишь плод воображенья.

* * *

Был потоп — всемирная помывка,
Месячник очистки от увечий —
От заслуг, регалий шитых лыком,
Чтоб потом попробовать от печки.

Продвигаться ощупью, по крохам —
Отошли моря, остались лужи.
Жить в грехе — невероятно плохо,
Без грехов — невероятно хуже.

И уж вовсе не было секретом —
Чтобы не погрязнуть в лицемерье,
Тайное должно быть без ответа,
А душа жива, пока в сомненьях.

Но сложилось точно по-земному:
Не любили, ох, как не любили —
Нелюбовь неслась от дома к дому —
Гнали тех, что родились другими,

С внутренним зарядом непокоя.
Говорили, что вам, гады, нужно?
Может быть, и не было потопа,
Выдумки — про море вместо лужи.

* * *

А сегодня прямо с утра — роса.
Поводок упал на траву и сразу промок.
Словно в вату падают голоса,
На Кингстрит резко скрипнул трамвай и тут же умолк.

Прошуршал широкими шинами фо вил драйв.
Впереди разгорается красного неба клоч.
Почему-то с досадой вспомнился рыжий Трамп,
Словно я сижу в школе, не выучивши урок.

В ритме сердца пульсирует краун на казино,
Стоэтажный подрост со вчерашнего на сажень,
И на ум приходит назойливое одно —
Для прикормленных варваров стоящая мишень.

* * *

О нашей говенной, с порога корявой жизни
С придыханием, или никак.
Завидущие — отведи совиные,
Неудачу приму как дорожный знак.

И с азартом, словно снимая пенку,
От карапузства, от первой шкоды
Коллекционирую как нетленку —
Свою несуразность, свои проколы.

Досада пройдет, остаются сюжеты
(Не спотыкнешься — проскочишь мимо),
Как звезды с неба — на эполеты
И как микстура от постной мины.

* * *

Я устал от наплыва сплошного вранья
Левых, правых, проснувшихся русских,
Белокожих, цветных как ночная заря,
Уравнявшихся, сытых и тусклых.

Пошатнулся боец в виртуальной борьбе.
В бога мать, в Моисея и в Иссу!
Я устал с ними спорить до крика — в себе,
С бесконечным количеством истин.

Я в окопе, я полузасыпан во рву,
В небе щерится месяц двурогий.
Мне достался неважный наставник-гуру,
Сам себя предпочел я из многих.

Я разорван на части, меня не собрать.
И мне даже по нраву, мне в радость,
Что молва продолжает меня обвинять,
Где бы что ни случилось, ни сталось.

Я устал возражать, соглашусь, так и быть:
Это я — корень вашей тревоги.
С любопытством прочту, что успел натворить,
Пребывая на должности бога.

* * *

Желтый лист планирует под ноги —
Это осень — в чем ее винить,
Это время выпренинной эклоги,
Время разглагольствовать и пить.

Время перебежек по быломu,
Реконструкций в розовых тонах,
Нежно глядя пасторальным словом
Все, что кануло, с любовью, не за страх.

Это время — быть расслабленно ленивым,
Время жатвы — сытость убедит.
На тарелке яблоки и сливы;
Чайник астматически хрипит.

Чашки, блюда, все как прежде, только
Осень жизни — сладкого ни-ни.
Все по рациону, все по долькам,
Все тесней один к другому дни.

Все длиннее сумерки и ночи,
Все дороже встречное тепло.
Важное приходит между прочим,
А случайность, вроде, поделом.

Все обременительное смылось
Струями прохладного дождя.
Ничего, что главное случилось
Где-то в прошлом, где-то загодя.

ДОРОГА К ХРАМУ

Все начинают с того, что мама
Старательно моет раму,
А Таня — мячик
Роняет в реку в слезах горячих.

А дальше — дорога,
Одна из многих —
То влево, то вправо, то криво, то прямо.
Итог же величественен и прост.
Любая дорога приводит к Храму,
К Храму, который там, где погост.

* * *

Н. Р.

Звезды сбегают от нас по кривой,
Они вовсе не так далеки.
И, может быть, даже рядом с тобой
На расстоянии взмаха руки.

Звезду в бесконечной дали искать —
В том нет никакой нужды,
Если возможно ее достать,
Ковшом зачерпнув воды.

* * *

Когда строка тебя ведет за руку,
Указывая путь в кромешной тьме,
Когда ты чувствуешь, что движешься по кругу,
Стараясь втиснуться в размер,

Когда раздрай невероятных мнений
Тебя поставит к стенке — изнутри,
Поскольку в каждом более, чем менее,
На всю вселенную сияют фонари,

Ты лишь в себе предельно осторожно
Нащупаешь единственный трамплин,
С которого слегка подпрыгнуть можно.
Где приземлишься — не беда, гони!

Под гору, в преисподню, в кратер —
В могилу спекшихся страстей.
И только помни, что читатель
Окажется тебя умней.

* * *

На севере — зябко, на юге — тепло.
Есть определенность — опорная точка.
Но вдруг нас как будто на Марс занесло,
Нас — с чисто земными и сердцем и почками.

Здесь все непривычно, вновинку, врасплох.
Неловкий шажок — и адью, до свидания.
Здесь все наше прошлое — чага, нарост.
На этой твердыне — мы гости незваные.

Здесь вся наша техника — мусор и хлам.
На Марсе летают движением мысли.
Ты только подумал, и ты уже там,
Где в списках нигде, никогда и не числился.

Здесь свет Возрождения — гнусный расизм,
В нем нет ни малейшей искры марсианства.
Все наши вершины для них — это низ,
А наше искусство — зазнайство и хамство.

Здесь климат меняет *ремоутконтрол*.
Нажал — и пустыня сменяется тундрой,
Иль парус пятнит океанский простор.
К такому привыкнуть, конечно же, трудно.

Как наше родное запущено вдрызг —
Вам все объяснят просвещенные гиды.
И только привычный антисемитизм
Здесь тоже присутствует в развитом виде.

ВЕСНА НА ШПРЕЕ

С рассветом — в атаку, вдоль Унтер-ден-Линден.
Последняя ночь беспросветно черна.
Припомнит из Гете комбат Сема Фридман,
А Моня Рецепттер осушит до дна.

С рассветом — в атаку, машины застыли.
Исписана мелом по-свойски броня.
Весна разгулялась с интимным посылом.
Ее и не думал никто отменять.

Как по расписанию — от корки до корки
По всем закоулкам — под стать временам —
Весна на дорогах, весна на задворках,
Весна в поднебесье, повсюду весна.

И в сердце солдатском найдется местечко,
Размякнет в предчувствии майской грозы,
Набухнет слезой — не от страха увечий!..
Его по-пустому, за так — не сразить.

Он горем обучен, за ним — пол-Европы.
У каждого метра — такая цена!
Разменной монетой — окопные хлопоты,
И ночь, эта ночь бесконечно длинна.

С рассветом — в атаку, вдоль Унтер-ден-Линден.
Над струями Шпрее хмельная весна.
Припомнит из Гете комбат Сема Фридман,
А Моня Рецепттер осушит до дна.

* * *

Сосед мой недавно
Ангажировал мне Марь Ванну,
Чтобы жизнь не казалась ковидом изгаженной —

Пару косячков в день и — быт налаженный.
Плюс собака, прогулки туда-сюда,
Глядишь, все срастется. Да вот беда —

Я не курю уже лет шестнадцать.
И раз сто бросал до того, готов поклясться.
Поскольку курение вредно для моего тела.
Накатить — это совершенно другое дело.
Он нес картонку с горячим кофе, едва светало

Все как обычно, и Динка бурно его встречала.
Крутила хвостом, об ноги терлась,
Потом лежала, пока мы терли.
Мы разошлись,
Друг о друге подумавши: «Вот мудило!»
И нашего английского нам хватило.

ДОН РЫЦАРЬ

Быть мужчиной стало неприятно —
Слово грязное как «ниггер» или «жид».
Если белым, то тем более запятнан,
Лучше даже не родиться и не жить.

Это повод — у барьера, ставши в стойку,
Разобраться в этом месте и сейчас.
Если женщине к лицу быть амазонкой,
Ей мужчина — верный рыцарь в самый раз.

И плантации из роз, и гул сражений,
Города, стихи, привязанность по гроб.
Все придумано мужчинами для женщин —
И шалаш и самый-самый небоскреб.

Гонор рыцарский — не майка чемпиона.
Жизнь очертит круг возможностей сполна,
Чтобы даже под удавкой убежденно
Прохрипеть, что все же вертится она.

Быть мужчиной — это надо потрудиться.
Не с железом по утрам и вечерам.
Рыцарь — он и в Африке Дон Рыцарь,
Будь он Дон Кихот иль Дональд Трамп.

* * *

Есть еще бесхозные места
Без компьютера, без электричества.
Мне бы подгадать в такой гектар,
Затаиться, как в коробке спичечной.

Наколоть, сложить в поленницу дрова —
Звонкие, душистые, сосновые,
Завалиться с книгой на диван,
Отрешившись от всего хренового.

А потом заснуть мертвецким сном,
Безмятежным, как бывало в детстве.
Пусть бушует вьюга за окном
И спешит с подарками Сильвестр.

И тебе найдется место здесь —
С пальцами, с семилинейной лампой.
Сладко пахнет дрожжевой замес,
И собака чешет ухо лапой.

Красный угол с чистым полотном —
Рядом с Библией здесь Пастернак и Ницше.
Надо б выбрать что-нибудь одно.
(Попытался — ничего не вышло.)

Двор обветренный на стыке двух эпох.
Я не пьяный, я немного выпимши.
Год как год, он был не так уж плох.
Только в чередѣ других как будто лишний.

LOCKDOWN NON STOP

Летят недели за неделями,
Сегодня — так же, как вчера.
Мы ничего опять не делали,
Казнили дни и вечера.

Хрусталь с фаянсом так бессмысленно
Простаивает за стеклом.
Мы в прошлом пропадаем мыслями,
А в настоящем не живем.

К чему нам мебель, полки с книгами,
Когда-то модный гардероб...
Как нудно празднество голимое,
Переходящее в нон стоп.

Я с радостью крутил шурупы бы,
Бежал с лопатой в огород —
Нас запугали насмерть трупами,
Лишили прав to be, or not...

Смял заключительность забега
Состав, сошедший с колеи.
Вокруг все суетятся, бегают,
А он уперся и стоит.

* * *

Салли — хозяйка в маленьком домике
В дистрикте Эмералд Хилл.
У Салли домик, как будто для гномика,
Если бы он там жил.

Но Салли очень любит возиться
С цветами — хоть день и ночь.
Она мечтает, когда ей не спится,
Что она — садовника дочь.

Другого колбасит с утра без дозы.
Вмазал — защебетал,
А Салли без дела сидеть не может,
Но дворик ее так мал.

И вот, переулочек тихий, безлюдный —
Усугубил ковид —
Она оживила роскошными клумбами
Среди зеленой травы.

Под деревом каждым ею бережно выращен
Цветник — безупречен вкус.
Без Салли — таких не отыщешь тыщи —
Мир неинтересен и пуст.

Салли — хозяйка в маленьком домике
В дистрикте Эмералд Хилл.
Простая хозяйка, но древние стоики
Ей хлопают — из могил.

* * *

Отмечаю в одиночку день рождения.
Впервые. Все закрыто, словно в мертвый для курортников сезон.
Понимаешь, это слишком — *кейф* как мера принужденья,
Будто мы так долговечны, как железо и бетон.

Можно встретиться на зуме, посидеть не без комфорта.
Круг друзей таких же трезвых зарядить через фейсбук.
Можно с Динкой¹ на площадке коллективных видов спорта
День за днем транжирить время. Динка самый трезвый друг.

Выбирать скушно́ и тошно, как меж пулей и петлюю.
Ни того и ни другого! Мне уже неважно.
Что-то будет — это точно. Я заране грязь отмою,
Чтоб отпраздновать победу, если наши подойдут.

¹ Динка, однако, — собака...

* * *

Звени бубенчиками, Тиль,
Светло и громко...

М. Юдовский

Уленшпигель написал на майке:
«Бей жидов!» и вышел на проспект
Он сегодня кликнул десять лайков
Горлопанам самых левых сект.

Пепел преподобного Клааса
Сдал в ломбард — сорвал приличный куш.
Там адепт магометанской расы
Засиял, как будто принял душ.

Руку тряс — «Ты рыцарь самый стойкий!
Божий знак, что мы в одном ряду
И с жидомасонами по-свойски
Разберемся — наши дни грядут!»

Уленшпигель вышел из ломбарда —
Солнце светит, птички голосят,
А душа не слышит — ищет правду.
Точно так, как пять веков назад.

* * *

Броне

Улыбнись — как бывало, приветливо,
Изо всех своих женственных сил.
Вот, беззвучно приветствует ветками
Куст, достойный бутылки чернил.

Дом гудит, сквозняками проветренный,
Где-то лает оставленный пес,
В тесной дружбе с квадратными метрами,
Вихрь листок подхватил и понес.

Улыбнись, я пришлю тебе, может быть,
Прошлогодний засохший цветок
Ходят важно по пандусу голуби,
Делят белого хлеба кусок.

Улыбнись, видишь солнце — прожилками —
Из-за мрачных нахмуренных туч.
Кто-то так накосячил с пробирками —
Не смешно, нереально — аж жуть!

ОСЕННИЙ БЛЮЗ

И вновь опавшею листвой
Плетет узоры на асфальте
Царица Осень. Ей шальной
К услугам ветер — вязь на пальцах.

Снует проказник тут и там,
Шуршит, раскладывает масти —
Вальтов бубей, червовых дам,
Сулит успехи и напасти,

И перемены впереди,
Интриги, дальнюю дорогу
И круг вернувшихся, гляди,
Друзей оставшихся немногих.

И наша суета сует
Иссякла — как иссякло лето.
И нет сомнений, нет как нет —
Проходит все, пройдет и это.

* * *

Я обожаю эту пору
Пусть дождь, прохлада — все равно.
В ней так уместны разговоры,
Воспоминанья и вино,

Обрывки чувственных коллизий,
Зажатых в рифму. Ворох лет
Не тронул магистральных линий,
Мы грезим тем, чего уж нет.

Что прирастет своей ценою
Лишь оттого, что отошло
Взметнулась кисть — мазок, пятно ли —
Наитьем руку повело.

Но кто-то, движимый печалью,
Такой же нежный сумасброд,
Определит мазок случайный
Как самый гениальный ход.

* * *

Ничего для себя не жалея —
Ни суровой Сибири, ни мора,
Ни инфаркта от буйных страстей,
Ни предательства, ни позора,

Ни кайла, ни высокой горы,
Ни глубокой реки, ни лавины,
Ни подлеска, что жарко горит,
Выгоня зверье на равнину,

Ни потухших от голода глаз,
Миражей — изнывая от жажды.
Все пройди, прямо здесь и сейчас,
Обойдя беспристрастных и жадных.

Ничего для себя не жалея —
Ни крутых кулаков, ни заборных
Наговоров — соборных, отборных —
С фараонов до нашеньских дней.

Ничего для себя не жалею —
Пули в сердце в свирепой атаке,
Десяти одоленных смертей,
И клинка под ребро в пьяной драке,

Поцелуя ушедших навек,
Тех, что были бетонной основой.
И оставшихся — даже и тех,
Нежеланных, казалось бы, к слову.

* * *

Мне жаль, но что такое — «фреликс»
Узнал я лишь на склоне лет.
В свой срок родители успели
И сестры тоже, а я — нет.

В советских песнях — отголоски
Слышны — захватывает дух.
Не так уж было все и плоско.
И то, что пелось поутру

Не вызывало подозрений,
Что ритмы связаны с хупой,
Что у «Катюши» корень древний —
Незаурядный, непростой.

Что люди в сюртуках нелепых
По праздникам, в кругу семьи
На всё, на всё дают ответы
Через мелодии свои.

* * *

Мой друг давно уехал в Кармиэль,
Сменил пиджак и галстук на штормовку.
Остряк съязвит — он крепко сел на мель,
По мне — напротив, выплыл очень ловко.

И может разговеться иногда,
Слетать (недорого) — к родному пепелищу,
Там наши с ним запойные года,
Там общепит и смысл (о, Боже!) высший.

Который легче поделить на всех —
И как делили — вместо благ насущных!
(Их вдоволь водится по-прежнему — у тех,
А остальным — вагон кровососущих.)

Но, стоп! — Пороки выжигать огнем,
Бурчать исподтишка — каков сутяга!
И я шифруюсь, словно старый сом,
Что век уж дремлет под большой корягой.

И задвигаюсь в тень от прежних дел, —
Того не зачеркнуть, как с жеребьячьей силой
Я все хотел, хотел, хотел, хотел...
И рад, что ни хрена не получилось.

Что мир остался прежним, как и был,
Что я его на миллиметр не сдвинул,
Как мантру повторял — мы не рабы,
А раб во мне с усердием гнул спину.

Я счастлив, убеждаясь, что вода
Лежачий камень так и не подточит,
Что с безразличьем обойдет беда,
Всех тех, кому ее желал и даже очень...

Я рад, что самый маленький успех
Мой никого на свете не ограбил
И не достал инфарктом бедных тех,
Кого до смерти душит зависть — жаба.

* * *

Поезда моего детства — мерный стук колес на стыках
И гудки, как зверя раненого крики.
Поезда моего детства шли на Запад под брезентом,
А обратно возвращались в белых лентах.

Поезда моего детства — сквозь развалины и пашни,
По мостам и лабиринтам Подмосковья,
Где Маринки и Наташки суп варили из ромашки
И мечтали о бифштексах с кровью.

Всех потерь еще не зная, где — друг друга ободряли
Не пайком американским — крепким матом.
А подачек и не ждали, сами переоткрывали
И пенициллин, и страшный атом.

Зарешеченные окна, а за ними силуэты,
Голоса как будто крошки между пальцев.
Нам, сопливцам невдомек, что это голос того света,
Может, Праги, а, возможно, и Дебальцева.

Поезда моего детства тянут с места и на место
Ломовые — в струях пара, в блеске стали.
И нам, местным, интересно,
Очень даже интересно, если паровоз — «Товарищ Сталин».

КАРАНТИН

1

Никуда не едем, не идем,
Запасаем туалетную бумагу, чиним примусы.
В заточеньи оцетинился геном,
А снаружи — господин коронавирус.

Сядь, не дергайся, авось да пронесет,
Время с Богом пообщаться, хоть по сотовой.

Были массой — так, ни то ни сё.
А теперь с расстрельной каждый сотый.

Судный День перенесен на каждый чих,
Кому-то — в нос, кому-то — в глаз, кому-то — мимо.
Лотерея — реституция с косых.
Бьет вслепую, но расчетливо, без грима.

Вспоминаем Вангу (не к ночи),
Обещала мор — смотри-ка, в точку!
Краткий курс — тот ничему не научил.
А оккультный учит, что есть мочи.

2

По дорогам, по сугробам,
По пустым полям.
Ходит, шастает тревога,
Прочит — быть гостям,
Неожиданным, незванным,
Скрытым за горой.
Вот он скачет бледный всадник
А за ним второй.
Первый всадник — это горе —
Заслоняет свет.
Со вторым хлеб станет горек,
Смолкнет детский смех.
Прекратят струиться реки,
Высохнет исток.
А потом прискачет третий —
Объяснит — за что.

3

Есть героизм обыкновенных буден.
Убрать постель, сварить с утра овсянку
И выгулять собаку. Думать будем
Потом. Привычка жить без нянек.

Сходить на почту — оплатить по счету.
А каждый метр пути грозит бедою —
Он внешне безобиден и причесан,
Но мины впереди и за тобою,

Невидимые глазу. Это наша
Реальность. Все счета (и этот тоже)
Потомки Фауста — для куража, а как же —
Оплачиваем раньше или позже.

Отдушина — звонок к себе подобным.
Там — то же самое. Риск стал, увы, привычен.
Не будем педалировать подробность.
Но временно растет наличие дичи...

СТАРЫЙ СВЕТ

Здесь без конца гремели бури,
Неслись дремучие века.
История, чело нахмутив,
Отсюда смотрит свысока.

Попробуй, встань с такою вровень,
Так удиви весь белый свет —
Сошлись закон и беззаконье
Двух с половиной тысяч лет.

Вязь рукотворных рощ и парков,
Гирлянды выпрених дворцов,
Но тут и там блистает сварка —
Наносит пудру на лицо,

Чтоб скрыть следы морщин почетных
Патриархальной старины,
А молодая поросль глотки
Рвет в предвкушение новизны:

«Долой просроченные корни!»
И словно тужится собой,
Невразумительно, топорно
Засеять перегнутой чужой.

* * *

Мой сосед в автобусе из Оксфорда в Лондон
В пиджаке, застегнутом на пуговички все,
По всему, подосланный к нам конторой знойной,
Мне сказал: «Да Вы расист!». Я прямо так и сел.

В разговор добавила соль Татьяна Снежная:
«Вы такой же эмигрант, точно как они.
Они тоже есть хотят вкусное и свежее,
А кто думает не так — Гитлеру сродни».

Я к Татьяне всей душой, что ж это такое?!
Я, конечно, эмигрант и за «миру — мир».
И готов присесть под куст рядом с ними в поле,
И потом чесать и драть темечко до дыр.

Я ж совсем не сибарит и ничуть не мнительный,
Но зараза — во весь рост, в чем готов на спор.
У китайцев, вон, айкью очень впечатлительный,
Оттого и не бегут в кассу сквозь забор.

Мы, как мягко не стели — в дураках набитых.
Стала география — поперек спины.
Валят тучей сорняки — им столы накрыты,
И за ними на рысях весь клубок родни.

Но попробуй что скажи, тебе враз — «Не мацай!»
(Самую горячую из запретных тем).
Дорогие вы мои, — это ж оккупация.
В партизаны, что ль пойти, довели совсем.

* * *

Дождь, дождь, дождь...
Дождь отвесной стеной
После целой недели пекла,
Какой заводщице даже сверхномерной
Выдал бы на гора подобное чудо века.

Даже навалившись грудью, всем скопом
Трудясь, как трудятся в преисподней черти,
Выдумаем какой-нибудь бронированный стопор,
Пропади оно пропадом,
Чтобы самим испугаться до смерти.

А у природы все просто —
Утром росинка дрожит на листке —
Чистая, чистая...
(А из пробирок прет какая-то дрянь склизкая.)
Катится солнечный лучик,
Играет на рыжем твоём завитке.
Его двойник проспиртованный
Светит сусальным золотом моего виски.

* * *

Хорошо в темноте
И в таинственной праздности ночи
Заблудиться в чужих временах,
Посидеть кое с кем тет-а-тет
Зная все наперед, замирая — а вдруг! — что есть мочи,
Торопясь — без понятий,
Что высветит утренний свет.

Вот, верхом на осле
На пасхальную службу, на гору
Поднимаюсь я вместе с другими
Навстречу встающей заре.
Кто молитву творит, кто запальчиво, истово спорит,
Рассыпаются блики
По красной библейской земле.

Захочу и пойду
С Маймонидом в Египет, в изгнанье,
Поселюсь рядом с городом мертвых —
Не схватят меня, не сожгут
И своим колдовским, потайным,
Исключительным знаниям
Я найду приемененье,
Обучая султана добру.

Хорошо в темноте
И в таинственной праздности ночи
Ворошить, как огонь кочергой,
Вспоминая и этих и тех,
Белоснежных и в чем-то заядло пустых и порочных
Отлетающих в даль,
Не встречая каких-то помех.

* * *

Осень рассыпала капли размером с горошину.
Куртку достать с капюшоном, пока что не ношеную,
Туфли на толстой подошве, упорной к износу,
Пару тетрадей в предчувствии — рифма на сносях,
Пару бутылок пузатых шотландского виски —
Не беспокойся, я без перебора, без риска.
И совершенно не важно — сегодня жара или тучи,
Пасмурность — это на лирику, так даже лучше.
Вот, одиночество, как не крути, не получится —
Рядом такое забавное чудище крутится.
Волчьи глаза меня всюду найдут, даже если прищурены.
Так наблюдал за мной тысячу лет назад пьяненький шурин.
Сам-то он был выпивоха, ходок, каких мало,
Но за сестру его сердце, гляди-ка! — переживало.
Осень рассыпала капли размером с горошину,
Так навалилась, так быстро, так рьяно, непрошено,
Мне от нее никуда не укрыться, не деться,
Разве что в самый глухой закуточек из детства.

* * *

Сорри, я забыл произнести чи-и-з,
Прежде, чем ты успела нажать на *шот*
На *айфоне*, обошлось бы без *пресс-релиз*,
Вышло бы не грустно, а наоборот.

Настроение грузит текущий момент,
Шоколадки хватит на пять минут.
Одолееет горечью — груз измен
Или туфли, которые жмут и жмут.

Я молчу, как нервирует новостной ряд.
Банда черных в Верреби — это шок,
А тебя осудят даже за косой взгляд.
А в Поинт Куке внук — до Верреби один скок.

Впрочем, друг ты мой ситцевый, делай *чи-и-з*
Даже если ты весь обрыдался внутри,
Куртуазность велит говорить врагу *пл-и-и-з*,
Приглашая к барьеру шага на три.

* * *

Русь проснулась — гул пошел, мало не покажется,
Говорили ж — в ней нельзя никого будить,
Хватанет теперь Европа в беззаботной старости,
Мама Кузи прилетит и научит жить.

Там не так, как у других, что с просонья чешутся,
Эта — сразу за рассол — голова гудит.
Станет вам она сулить варианты чешские,
Не надейтесь — там нутро крепче, чем гранит.

Там паскудницу Клио, девицу распутную,
В тарантас и — марш, марш, марш, прямо в Соловки,
У Руси не шее крест, на лице распутица,
За спиною перехлест пальцами руки.

Два на два всегда четыре — веруют наивные.
На Москве ухмылочки — это как считать.
С виду гоголи-орлы, ловкие и сильные.
Но только кто-то высунется — ему в морду хрясть!

Спали себе дрыхли вятские и псковские.
Вова, вдруг, очухался — и давай бузить,
У него на физии корешки чухонские,
Нам наука говорит — так должно и быть.

Будут клясться на крови — мы ж с норманов-викингов,
Только на великую, где ж их столько взять.
Их на родине чуть-чуть, да с полушку киевских.
А тут татары двести лет, мать их перемать.

Детские болячки — скарлатина с коклюшем
Вцепятся, отцепятся и уйдут — привет!
А Москва заражена эрзеею и мокшею,
И зараза эта в ней не пройдет вовек.

* * *

«Они любить умеют только мертвых...»
А.С. Пушкин «Борис Годунов»

Я из страны, где любят только мертвых,
Где мертвых львов пинают сапогами,
Где первым объявляется четвертый
При робком возражении — местами.

Поскольку и двенадцатый и пятый,
Сам полубог, а звездные поэты
Придавлены страны свинцовым скатом
И светят лунным, отраженным светом.

Где грязь и глину месит пяткой осень —
Равнин бескрайних нудный отравитель.
Когда конкистадора в них забросит,
Он от тоски о стену станет биться.

Где вам соврут, что палестинский деспот —
Певец — пастух и скромный пращеносец —
Царям великим (здешним) ходит в предках,
И оттого клеветы — святоносцы.

Я той страны кусочек — тертый — тела,
Такой, как все — не вылез из-за парты.
Все мучаюсь: «Кто виноват? Что делать?»,
Что предпочесть — Афины или Спарту.

Привычка повторяться — возраст, видно,
А, время словно оседлало скутер:
Так что ж — на Фермопилы с Леонидом
Или с Сократом выцедить цикуту?

Тянуть волынку поводочком длинным
Тем не к лицу, кто бросил все на карту.
Случалось, эллины сбегали жить — в Афины,
Но никогда не убегали в Спарту.

И, продолжая дальше в том же тоне
(Такого точно древние не знали),
Потомки Сталина осели на Гудзоне,
Потомки Гиммлера уехали в Израиль.

И смех и грех, чтоб в полном адеквате,
Влететь в финал, который смят и смазан —
Бежал в Афины — очутился в Спарте.
Погода неустойчива — ни разу.

* * *

Что там насчет потом, если меня здесь не будет —
Тянет на перекокс между добром и злом?
Или еще один вывалится из буден
Повод очередной — встретиться за столом.

Кто-то исподтишка станет считаться славой.
Я свою долю забрал, заранее оговорюсь.
Кто-то всплакнет всерьез и будет, конечно, прав он.
Это тоже позиция. Пусть с перебором, пусть!

Поговорят — любил Зяма вино и пиво.
Женщин, добавлю, любил — истово, вдрызг, взасос.
Просто любил и всё, красивых и некрасивых,
Эту любовь на борт в зиму свою пронес.

Не избежать суда — ни добряку, ни цинику.
Но, если выбор есть — с кем там, в конце концов,
Я попрошусь туда, где жарят метафизиков,
Душу продавших за ненависть и любовь.

* * *

Надел кепарь, взял палку и собаку позвал,
И пристегнул за поводок. Не думать про войну
Не выйдет — дулю с маком поймал
В попытке отмахнуться, обминуть...

Какая тишина, как будто грянул мор.
Подъем в шесть тридцать, ни минутой позже.
Не дай мне Бог упасть лицом в минор —
Восходит день, еще один, тревожный.

Буквально рядом с роковой чертой
Нетрудно угадать каким он будет —
До самой до последней запятой,
Расстрелянный из тысячи орудий.

Где ядом брызжет каждый из стволов
День неудачливый, едва успев родиться.
И тысяча воинственных кротов
Грызут под ним, ломая зубы, половицы.

Что толку в доводах — там только белый шум.
Спичрайтер изощрен в лукавстве оголтелом.
Тысячу раз свое «Не верю!» возглашу,
Чтоб сердце безоглядно осмелело.

Пошарить по сетям, уведомить, кто друг,
А кто таким навеки быть не сможет.
Все тоньше ближний теплокровный круг
Соприкасающихся кожей.

Предчувствующих цели и пути
Средь бесконечных намерений,
Чтоб под сурдинку как-то совместить
В них планку низости и высоту паренья.

УТРО

Уползает темнота,
Бронзовеют очертанья —
Органист за тактом такт
Дирижирует вниманьем.

Сотню книжных корешков
Поместили в проявитель —
Катакомбный бард Барков,
Рядом «Пармская обитель».

Папки, диски, словари —
Налетай, подешевело.
Приходи, поговорим
За бутылкой нашей белой.

Колокольчики звенят,
Мне доставка — новый пазл,
И собака на меня
Озорным косится глазом.

Все знакомое до слез
В ожиданье терпеливом —
День вчерашний перенес
На сегодняшний ревниво.

Приходи, поговорим
О делах о наших скорбных
И о том, как третий Рим
Проиграл заморской сборной.

ОПЫТ ПОЛУПРОЗЫ

* * *

Когда Юлий Цезарь
На триумфальной колеснице
Въезжал в Рим,
Впереди кортежа бежал глашатай,
Который необычайно громким голосом
На все лады расхваливал
Великие дела, совершенные триумфатором,
Его невероятные победы над врагами Рима,
Его исключительную скромность
И почтительность к парламенту,
И как заслуженна любовь к нему тех тысяч и тысяч
Мужественных, прошагавших полмира мужчин,
С кем он многие годы делил солдатский котел
И все трудности походной жизни.
Встречавший народ бурно выражал
Свой восторг по этому поводу.
Но сзади, сзади непременно сопровождал
Колесницу маленький, кривоногий шут,
Который, корчась и хихикая,
Рассказывал о триумфаторе жуткие вещи.
О том, что этот, развалившийся на сафьяновых,
Расшитых золотом подушках,
Разжиревший тип на самом деле

Обжора и сладострастник,
Растлитель девушек и юношей,
Бонвиван и педофил,
Алчный узурпатор, ограбивший своих родственников
И единомышленников,
Мстительный тиран, подсылающий
Убийц к своим робким критикам.
Нелегко нарисовать бессмертного героя на все времена.
С легкой руки Гомера портрет будет неполон,
Если из него исключить такой,
Казалось бы, природно низменный элемент, как пятка.

* * *

Так называемая истина, это, как правило,
Всего лишь чья-то отнюдь не бескорыстная позиция.
За открытие Нового Света была обещана
Награда в 10000 мараведисов¹.
Эту награду заслужил простой матрос,
Который нес вахту на мачте.
Но Колумб приписал эту честь себе,
Воспользовавшись своей властью
И нисколько не сомневаясь в своей правоте.
Из-за чего обиженный матрос
Сбежал в Марокко и стал мусульманином.
А в мире долгое время считали по ошибке
Что открытие сделал Америго Веспуччи,
Который, отправившись в уже открытую Америку,
Подсуетился и выпустил книгу воспоминаний,
Где всячески выпячивал собственную персону,
Даже не упомянув первооткрывателя Колумба.
Но, главное, открывать вовсе ничего и не надо было.
Все уже давным-давно было открыто.
И жили там себе поживали всякие
Вполне цивилизованные земледельцы

¹ Мараведи́, также мараведис и маравед (от *исп.* maravedí, *порт.* maravedi) — португальская и испанская монета, первоначально — золотая, затем — медная.

И строители пирамид типа ацтеки, инки и майя,
А еще всякие очень мужественные и достойные
Делавары, симонолы и могикане.

* * *

И спросили мудреца: «Есть ли главное,
Что отличает дурное от хорошего?».
И ответил мудрец: «Нет в мире такого зла,
Которое можно одолеть ожесточением сердца».
«Но тогда зло беспрепятственно распространится
И заполнит весь мир» — возразили ему.
«Это заблуждение. Одолевши зло насилием,
Не уничтожаешь его, но удваиваешь».
«Это что же, значит, если тебя бьют по левой
Щеке, то подставляй правую?»
«Истинно так» — ответил мудрец.
«Но это же невероятно. Никто
Так не поступает из свободных людей.
От такого человека все отвернутся».
И подступившие к мудрецу ушли очень
Разочарованные, полагая, что тот тронулся умом.
И последователи мудреца, и ученики его
Полагали так же, утверждая правоту
Свою огнем и мечом, но сделали мудреца
Знаменем своим и Богом, как будто
Не замечая, что в главном полностью
Расходятся со своим кумиром. И даже
Искренне верят, что он в конце концов
Откажется от своего заблуждения и придет
На землю с неба с огненным мечом,
Чтобы навести на ней порядок.

* * *

Русский с украинцем, конечно же, братья.
Ну, может быть, двоюродные или троюродные.
Это не так уж важно, существенно только то,
Что даже у кровных братьев могут быть очень
Разные характеры, привычки, нравы и взгляды,

Иногда приводящие к трагическим непоняткам,
Как это случилось в известной библейской истории.
Самый верный ориентир, чтобы разобраться
В таких непонятках на народном уровне, это анекдот.
Русская народная традиция рисует хохла очень
Не симпатично, как крайнего тупицу и жадину.
Как-то не похоже на добрую братскую привязанность.
Один и очень характерный анекдотец озвучил
Александр Куприн, чтобы объяснить свою неприязнь
К большевикам и большевизму. В этом анекдотце
Украинец обещает в случае, если его сделают царем,
Наестся от пуза салом, выпасться на нем, а потом
Украсть сто рублей и с ними на фиг сбежать.
А русский мужик при подобных обстоятельствах
Обещает, что он сядет на завалинке и каждому
Проходящему будет безнаказанно бить морду.
Сто лет прошло, а звучит, будто написано наперед,
Вечером. Еврей, как известно, в такой ситуации
Обещает еще немного подрабатывать шитьем.

* * *

Бедному никогда не перехитрит богача.
Я беден, но я богат своею любовью.
Моя любовь — это то существенное,
Чем я безраздельно владею.
Моя нищета — это моя неудовлетворенность.
В поисках призрачного я могу
Ненароком убить свою любовь,
Надеясь, что свобода насытит мою страсть.
Но, убив любовь, я осознаю,
Что теперь уже окончательно стал бедняком.

* * *

Любопытство и любознательность — вещи
не одного порядка, а противоположного.
Первое — это энергетический источник
сплетников и интриганов, неудержимое

любопытство как ничто другое
роднит человека с обезьяной. Второе —
любознание, любомыслие,
любоделие — двигает науку и искусство
и поистине равняет человека с Богом.

* * *

«Дар поэта ласкать и корябать, роковая на нем печать» —
написал Сергей Есенин и повесился на водопроводной
трубе в гостинице «Англетер». Все народы нещадно
гонят своих пророков. «А еще шляпу надел» — общее место
любой народной философии, неприязнь к странным
и непонятым интеллектуалам со стороны
легко воспламеняющейся массы неистребима.
Великого полководца Ганнибала с позором
изгнали из Карфагена. Сократа отравили
цикутой по приговору ареопага в Афинах.
Юлия Цезаря закололи кинжалами его приспешники
на ступенях Сената. Мопассан умер в сумасшедшем доме
всеми покинутый и забытый.
Генералиссимуса Сталина выбросили из Мавзолея.
Демона революции Троцкого изгнали из страны
и убили с помощью ледоруба в Мексике.
Поэта Александра Пушкина застрелили
на Черной Речке в морозное зимнее утро.
Маяковский пустил себе пулю в лоб в маленькой квартирке,
где он жил одной семьей с Лилей и Осей Бриками.
Люди безропотно принимают только
авторитет Бога или Богов на более продолжительный
период, чем продолжительность человеческой жизни.
Прежде, чем их свергнуть.

* * *

Утверждать добро добром — это путь
христианства, утверждать зло злом —
это путь фашизма, любой тотальной системы,
в которой сила становится фетишем;
утверждать добро через зло — это путь иудаизма.

Гуманисты считают, что нет дурных народов, Фашисты, расисты считают, что есть народы великие и низкие. Иудеи через Моисея утверждают, что «хороших» народов нет вовсе, а человек за это изгнан из Рая. Коренная иудейская мысль полагает, что можно увеличивать добро, не переделывая человеческую природу, учитывая его (человека) дурные наклонности. Так, мудрый, опытный боец У-шу использует энергию врага для достижения победы, умея точно и вовремя направить собственную силу. Так можно человека, устремленного к дурному, вынудить делать добро. Например, жадного — трудиться не покладая рук, завистливого — не лениться и проявлять свой характер, лежебоку и лентяя — побуждать к творчеству и изобретательству.

* * *

Мы говорили с ней на разных языках,
Но речь ее казалась мне музыкой,
Которая наполняла мое сердце,
А глаза говорили выразительнее слов, —
В них плескалась страсть.
Но мне хотелось большего.
С каждым днем это желание увеличивалось,
Образуя пустоту, которую нечем было заполнить.
И тогда я сделал попытку понять,
Что она мне говорит.
Я начал потихоньку выпытывать
У нее значение каждого слова.
Это была забавная игра,
И мы предавались ей с живостью
И интересом не меньшим,
Чем к прикосновениям наших рук.
Постепенно я начал понимать,
Что она хочет сказать мне.

И меня поразила будничность
И расхожестъ сказанного ею.
Оно звучало так же избито
И так же изнашивалось от
Неисчислимого количества использований,
Как и на моем языке.
И, когда я однажды повторил
Мои пылкие признания на ее языке,
Она посмотрела на меня с удивлением
И в глазах ее были недоумение и скука.
Вскоре мы расстались.

* * *

«Человек имеет право взглянуть
на другого сверху вниз лишь для того,
чтобы помочь ему встать на ноги».
Этим последним предсмертным
высказыванием Габриэля Гарсиа
Маркеса я бы заменил известное
хрестоматийное определение
иудаизма, сделанное Гиллелем:
«Не делай другому того, чего ты
не желаешь, чтобы делали тебе».

* * *

Русские настойчиво внушают всем,
Что они настоящие европейцы,
Самые последовательные и даже богоносные.
Потому что у русских женщин
Такие чистые белые груди.
Но, присмотритесь к этим женщинам,
Одетым в обтягивающие американские джинсы
И французские мини-юбки.
Обратите внимание на то, как нагло
Выпирают их широкие татарские скулы
И отливают слоновой костью
Их желтые китайские пятки.
Но сами русские внутренне убеждены,

Что русский танк гораздо более действенный аргумент
Для доказательства их безусловного европейства,
Чем чистая белая грудь русской женщины.
Это хорошо, если всё,
что за последние сто лет случилось с Россией
есть результат зловещего
жидомасонского заговора.
Как говорится и у русских есть оправдание
и жидомасонам опять же лестно.
А вдруг никакого заговора не было —
Вот тогда действительно кошмар и ужас.
И не просто ужас, а — ужас, ужас, ужас.
Это какими же тогда надо быть идиотами,
чтобы над собой такое учудить.
Сто миллионов самих себя
известить собственными руками.
Докатались.
Китаизм какой-то планетарного масштаба.
А может быть все-таки того,
может быть, все-таки кто-то со стороны.
Ну, инопланетяне типа
имплантированные в мозги,
мало ли какие у них там
на всяких Альфа Центавра технологии.
И кого ж им в первую очередь кошмарить,
как не надежду и опору всего человечества —
народ богоносец.

* * *

Иудеи отказались от человеческих жертвоприношений около 4 тыс. лет назад. Последним адептом был Авраам. Но остальные народы не присоединились к нам дружно — отнюдь. Англичане повесили (официально) последнего ритуального убийцу в 1882 году в Пенджабе. Но характер происходящих на наших глазах многосерийных убийств по всему миру показывает, что время кровавых ритуалов вовсе не прошло, а даже переживает свой ренессанс. Знамение времени — Холокост и две

пережитые Мировые Войны. Как ни крути — налицо вакханалия грандиознейшего человеческого жертвоприношения. И традиция ритуального обезглавливания словно возродилась и расцвела во время чеченской войны, на излете двадцатого века. И дело вовсе не в свирепости злых чеченов, якобы, примененной в прошлом веке во время Кавказской кампании. Обезглавили прилюдно английского офицера прямо в центре Лондона вовсе не чеченцы. Отрезала голову христианской девочке в Москве мусульманка из Узбекистана. Арабы набрасываются с ритуальной отчаянностью с ножами на евреев чуть не каждый день. Эти дикие, как будто из далекого далека события вовсе не преступления маньяков или сумасшедших, а осознанный оскверненный традицией акт, в чем очень стыдно признаться нынешним либералам, создавшим такую масонскую надмирную организацию как ООН. Почему режут головы? Да потому же, почему Кали (она же Астарта, она же Изида, она же Кибела), древнейшая богиня смерти, которой все эти жертвы приносятся, изображается с отрезанной головой в одной из четырех своих рук. В другой руке ее — кривой тесак. Ислам, который по ошибке полагают чистым монотеизмом, весь насыщен этим людоедским духом. Может быть, Алла, вообще, — эманация Кали? Известно, что Тамерлан выкладывал целые горы из голов поверженных жителей.

Яйцеголовые историки полагают, что для устрашения было достаточно умертвить несколько десятков влиятельных аристократов, но не 40 тысяч обывателей. Устрашать уже некого было. А вот Кали требует много жертв. Об этом знают только посвященные, и эта истина так же страшна, как рожа Кали с высунутым красным языком. Само изображение смерти в европейской традиции — в балахоне с косой и ликом скелета — все та же Кали. В храме на лицо Кали надевали маску с прорезями для глаз, выродившуюся в изображение черепа, так же как и ритуальный огромный нож, похожий на мачете, превратился в более понятную европейскому простолюдину косу. Истинный, отталкивающий лик Кали могли видеть только посвященные.

Бог существует, именно такой, каким его воображают. И до тех пор, пока его воображают. Астарта-Кали, якобы, была изгнана, когда воцарился единый Бог — Адонаи, Господь, Аллах, но она осталась, никуда не делась. В исламе — в виде ее символа, полумесяца, женского цикла, в иудаизме — в субботу, в семисвечнике. Она вовсе не прячется.

Да, простецы ее не видят — по той же причине, почему не замечают отсутствия платья на голом короле. А она проявляет себя откровенным и самым жестоким образом.

В массовых жертвах исламистов.

Или в разрушительных инициативах иудеев, которых называют катализаторами всех социальных процессов современного мира.

ПСАЛМЫ

* * *

И приходят разрушающие, когда время строить,
И приходят строящие, когда время разрушать,
И разрушают строящие, и строят разрушающие,
И великое зло от этого идет по всей земле.

* * *

И мир устанавливают воинственные,
И ходят на войну, склонные к умиротворению,
И говорят воинственные о мире,
А слабые духом произносят воинственное,
И великое лицемерие воцаряется повсеместно.

* * *

И обращается Праведный к Господу:
«Ради врагов моих, выровняй мой путь,
Чтобы ясен был кривой путь нечестивого,

И упадет он в яму, которую приготовил»,
Но закрыты уста у Господа.
И множится число враждующих.

* * *

И многие говорят: «Кто покажет нам благо?»
И приходят лживые и восклицают громко: «Я знаю!»
И закрыты уши у внимающих к голосу сердца своего.
И Бог не говорит более устами Пророков.

* * *

И говорят одни: «Верую в Господа».
И говорят другие: «Служу Господу моему, как раб,
И телом и душой».
А Евреи, обращаясь к Господу, говорили: «Уповаем»,
Что означает: «Успокоились, найдя убежище».
И оттого множится непонимание,
И витают в воздухе тяжкие обвинения,
Как обломки рухнувшей Башни Вавилонской.

* * *

И вот, блуждаю я, нет дома у меня,
Нет нигде на целой земле и некуда приткнуться.
И хожу лишь я путями своими.
Но дороги мои прошли по тучным местам,
И наследие мое дорого для меня,
И не отступлюсь я от наследия моего,
И не прислонюсь я к Богу чужому, ища надежного убежища.
А те, что у чужих ищут, своего лишатся, а чужим не возвысятся.
Исторгнуты они будут,
И скорбь их умножится.

* * *

И стал мой народ текучим, как вода, заполняющая сосуды,
И нет в нем силы камня, разбивающего кувшин.
Не сказано ли: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог»,

Отчего замкнулись уста пророков наших, изрекавших мудрое,
Отчего не слышно их голоса?
Не оттого ль пали мы, что озаботились низким.
Кому назначено быть пастырем у народов земли,
Не пристало слыть приживальщиком у недругов своих.

* * *

И вот она Жизнь, и вот она Смерть.
И нет ничего, за что можно было бы зацепиться,
И нет ничего, что заслуживает исключения из череды дней.
И малое и большое в одном ряду,
И ничем нельзя поступиться.
И все проходит.
Лишь Слово, выбитое на камне, живет вечно.

* * *

И говорят одни: «Преступлю через праведность
Во имя Народа моего, во имя Дома моего,
Во имя Семени моего». И делают так и тем гордятся.
И говорят другие: «Нет благословения идущему
По кривому пути. Ни в большом, ни в малом.
И ныне, и присно, и во веки веков».
И нет согласия между теми и другими.
И не празднует победу чистый в сердце своем
Над силой, хитростью и обманом,
Но записаны Правила его на сапфировых скрижалях,
Свернутых в свиток,
Чтобы продлились дни на земле для тех и других.

* * *

И наступает час,
Когда над мудрыми смеются и перемигиваются,
А глупый в праздности своей изрекает известное.
Когда преступающий взыскует у Суда,
А невинному нет защиты от лжесвидетельства.
Когда пиршествуют перед лицом у голодного,
И веселятся за столом поминовения.
И ждут праведные Конца Дней и не приходит он.

* * *

И неважно преступил ты в малом или большом,
И нет утешения в том, что другой преступил более.
И не в том преткновение, что нанес урон ближнему,
А в том, что умалил себя безвозвратно.
И язва внутренняя не видна, скрыта она и не саднит.
И зверь поселился внутри и пожирает невидимо.
Глянь на себя и видишь — взгляд твой дикий.
Это зверь поселившийся
Смотрит из тебя через глазницы твои.
И не справиться тебе с ним
Ибо стал он совладельцем тела твоего и души.

* * *

И вот стоим мы в Конце Дней — Ты и Я
Перед лицом Господа, как обещали Пророки.
И нет страха и смятения, только горечь и сомнения
В том, чему поклонялись столь долго и кроваво,
И семя свое обрекали на скитания и муки,
И при коленях чужих, униженные,
Продолжали служить с усердием.
И сосредоточились ненавидящие нас во всех концах:
И амаликитяне, и исмаилтяне, и эдомиты,
И народы Гога и Магога, и идут несчетно,
И восклицают сладострастно: «Во имя Господа
Милостивого и Милосердного уничтожим народ сей
Жестоковыйный, уберем его с лица земли,
Нет ему места среди нас».
И нет нам защиты, кроме нас самих.
Молчит Господь, замкнуты уста его,
Нет его руки над врагами нашими,
Воспрянули они и злорадствуют, и выжидают
Сочувствующие нам, отвернувшись в страхе.

* * *

И не держу я камень за пазухой для народов земли,
И не виновен я перед хулителями своими, лишь старателен
В своем усердии. Но ревнуют они к усердию моему,

И ненавистна им служба моя, как служба пришельца.
И готовы они разрушить все мои Устроения для них,
Чтобы не было места в том Устроении для
Моих наследующих вместе с ихними.

* * *

И сказано у Экклезиаста: «Время тому и тому...»,
И приходят другие, согбенные возле книг,
И указуют перстом: «Так говорил...»,
И стоят на том твердо. Начетчики они.
И внимают им робкие умом,
Полагая вызнать сокровенное,
А мудрые учатся у жизни для продления ее,
Ибо у покушающихся на жизнь и слово,
Словно камень, пущенный из пращи.

* * *

И не ревную я к злодеям моим,
Ибо знаю, что не их царство на земле.
И вот грызет червь цветущее дерево, иссушает его,
Но упадет дерево, и погибнет убийца его,
Ибо нет в нем силы самосуществования, пуст он.
И встану я двумя ногами на Востоке и на Западе,
Чтобы не торжествовали транжиры наследия моего,
Чтобы не могли возглашать, пресытившись:
«Вот теперь хорошо, по душе нашей!»

* * *

И говорят одни: «И волос не упадет с головы
Без воли Господа. И судьба каждого предопределена,
И нельзя сделать жизнь ни короче,
Ни длиннее ни на один день».
И говорят другие: «Не караулит Господь ревниво
Каждое мгновение жизни, и не волен он
Над страстями человеческими, иначе не было бы на земле
Ни праведников, ни злодеев и ходили бы люди по путям

Своим одинаково, от рождения до смерти,
Как это водится на земле у зверей лесных и у рыб
Морских, и у птиц, летающих в поднебесье».
И не знает человек часа своего, и живет он по воле своей,
И достигает всего трудом своим.
И ни один не может уйти от Судьбы своей.

* * *

И говорят Оберегающие Жизнь: «Давайте устроим мир,
Чтобы всем хорошо было. А земля — тучная она,
И всего на ней вдоволь и всем хватит».
И садятся за стол согласия с Восхваляющими Смерть,
И всячески ублажают их, и елейно рассуждают о Благостном.
И слушают Любящие Смерть, и презируют в душе своей
Тех, кто Жизнь у них выторговывает,
И кивают головой лицемерно.
Но пестуют детей своих, как воинов, чтобы
Легко одолеть было миролюбцев расслабленных в городах
Их цветущих и жен их взять, и детей их сделать
Своими прислужниками и чтобы пролилась кровь
И возрадовалась душа воинственная опустошению.

* * *

И в прежние времена, когда Слово Господа
Звучало в устах Пророков, те, что были до нас,
Почитали древность и произносили выпспренно:
«Наши предки...»
И Иосиф, ходатай за народ мой, честь его защищая,
Говорил о древности путей наших, и звучало веско,
Ибо Слово Древности вес имело перед всеми другими,
И искали в нем откровения.
И был порядок, и ходили народы путями своими,
И сменяли друг друга в урочное время,
Чтобы не прервалась жизнь.
Но пришел Магомет и велел приспешникам своим
Чтить Его слово перед всеми другими,
Как слово Последнее.

И распространились приспешники, и стали чтить
Слово Последнее перед всеми другими,
Словно торговки из рыбных рядов.
И прервалась связь времен. И молчит Господь
Великим молчанием, и не говорит более
Устами Пророков.

* * *

И говорил Моисей: «Не ждите голосов с неба
Или из Морских глубин, ищите внутри себя —
Там вещатель Ваш».
И говорил Иисус, сын Иосифа: «Слушайте голос
Сердца своего, там ваше сокровище, с избытком
Его для жизни земной».
Но не того ищут сыны человеческие,
Во все концы отряжают они Героев своих.
И отворяется не ими накопленное перед упорством
Ненасытных, тщеславных и алчных
И в глубинах земных, и в глубинах морских,
И на высотах, где жертвенники.
И умаляется земля на глазах,
И умаляется вместе с ней душа человеческая.
Сморщиваются они, как шагреновая кожа,
И уходит из них сила, сохраняющая жизнь.

* * *

И многие возвышают голос, сотрясая воздух,
А истина открывается избранным.
И речь их тиха и невнятна, косноязычны они
И говорят неприятное.
И проходят мимо, не ведающие пути своего,
И смотрят на них с высокомерием и презрением.
Но восходят дни потрясений и те, что были
Заносчивы от неведения своего, униженно
Склоняются перед провидцем, воскурят ему,

Как Тельцу и ласкательствуют перед ним,
Ровняя его с собой.
И падают семена истины в каменистую почву,
И растет из них лишь горькая трава забвения.

* * *

И было так, когда Господь из ревности
Простирал тяжко руку свою над нами
И приходили Временные и говорили глумливо:
«Вот, нету защиты у них, слабы они перед нами,
Уничтожим их, чтобы не осталось памяти на земле»,
И убивали без надобности не одних воинов с мечами,
Но и стариков беспомощных, и детей малых
С матерями их, и женщин с детьми не родившимися.
И, видя дела такие беспримерные среди всего живого
На земле, некоторые из мужей наших становились,
Как безумные, и глаза их застилало кровью и,
Дикие в безумии своем, хватались они за меч,
И, поощряемые насмешками насильников наших,
Становились рядом с теми, и убивали братьев своих,
И родителей своих, и жен с детьми. И рубили неутомимо
И неистово, пока не падали замертво, покрытые
Проливой кровью родной.
И вот, тех уж нет, нет никого, а мы стоим,
Опоясанные мечом, перед Последними Днями.
И вновь подступили Временные и пугают, и бряцают,
И подбадривают себя криками: «Вот теперь будет не так,
Как прежде. Теперь вы уйдете, а мы останемся». И некоторые
Из мужей наших, одних только криков тех напугавшись,
В диком безумии своем возвышают вместе с Временными
Голос на братьев своих, ставших стеной с мечом в руке.

* * *

И ныне не достаточно уже сказать: «Я верую...»,
Чтобы и другие поверили. Ибо относятся с предубеждением

К Вере предков своих и глубоко проникли
В суть вещей и остерегаются доверяться простому.
И мало сказать: «Я знаю...», — многие говорят.
Но отстоять убедительно, напрягая ум свой,
И описать пространно знаками, словно гвоздями к бумаге
Приколоченными, как Древние записывали Слова Веры
Тайными Иероглифами и тогда поверят.
И много копий поломано между тем и другим и вот то,
Что с Верой, от ума бесхитростного — держится стойко,
Умалилось, но живо и далее мясом обрастает,
А то, что от Знания произошло, рушится, едва возникнув,
От прикосновения, как выстроенное на песке.
Легковесна вера, происшедшая от Знания,
Как привязанность развратника — сегодня одна,
Завтра другая. Прельстительна она для смелых умом.
Но срываются Следующие за ней с лица земли,
как листья засохшие, гонимые ветром.
И сладок плод Знания, но ядовит, будто прокляты
Семена его, тайно вынесенные из сада Господнего
От плода с дерева запретного.
И говорят, обремененные трудом умственным:
«Нет длиннее пути к Господу, чем путь через Знание».
И ненавистна такая Вера Господу и не прощает он ее,
Как не прощает Грех первородный.

* * *

И всякий, взявший в руки перо, под рукой Господа,
Ибо тем, которые грамоте обучены,
Пристало писать умное. Но не все понимают,
Как начать и как закончить.
И многие, чванясь в душе своей, начинают бойко
Да иссякают тотчас. А конец и мудрецу не всякому
Открывается, ибо от Бога положено,
Что в начале — слово, а в конце — прозрение.

* * *

И не ищи доказательств промысла Божьего.
Не Судья ты ему.
Но делай бескорыстно милосердное на земле
И откроется тебе, что есть Бог на небе.

* * *

И сказал Всевышний устами Пророков:
«Имя мое — Милосердие».
И возопит безумный в сердце своем:
«Нет Бога, нет делающего Добра, нет Охранителя!»
И вот, все уклоняются, и нет делающего Добра,
Нет ни одного. И насмеваются над мыслью ущербного,
Что Господь — упование его. И похваляются мышцей
Своей, и мощной своей, и неверием своим.
И слышны лишь плач, да хруст костей,
Да чавканье плотоядное, как в лесу диком.
И некому отвратить от зла, ибо зло, как болезнь,
И нет ему врачевателя, и нет хуже зла,
Чем отворотившийся от Бога в душе своей,
Свидетельствующий от его имени.

* * *

И говорят: «Вот, предал один из народа ближнего своего,
Единокровного на муку и смерть за тридцать серебрянников,
И проклят он навеки, и семя его проклято, и весь народ его».
Да найдется ли народ, хоть один на целом свете,
Из наименьших, в котором бы не предавали.
Да что народ, хотя бы десять праведников из народа
По Божьему промыслу, чтобы ни один с яростью
Не предал и не проклял ближнего своего.
И не за серебрянники полновесные, а по-пустому,
Из ревности одной к тому, к чему у самого сердце глухо.

* * *

И потешаются некоторые над теми, кто чурается убоины
Запретной. Дескать, предрассудок это, невежественны они.
Нет души у животного, невинно и чисто оно перед Богом,
Как младенец человеческий.

Но говорим мы, когда молимся: «Барух, ата Адонаи...»

Что означает: «Всевышний, Ты наш Господь...».

И древние, что были до нас, так же говорили,
Обращаясь к Богу, которого называли именем Адонис,
Что означает Повелитель, Господь.

И устраивали торжества каждый год в знак гибели

Его от кабана, посланника смерти и воскресения

Его на третий день «смертию смерть поправ»

В знак спасения народа. А евреи называли его Таммуз,

И оплакивали его женщины в месяц Таммуз у Северных

Ворот Храма Господня в Иерусалиме. И оттого не

Едят Евреи оскверненное мясо убийцы Бога,

Как воплощенного Зла.

* * *

И вот ты смотришь на себя,

И ты видишь, что ты есть,

И вот ты смотришь на себя глазами других,

Которые утверждают, что тебя нет,

И вот есть Бог, который смотрит на тебя

И на тех, других и в его глазах

И ты и те, другие — это все Он, сам Бог,

И нельзя без него, невозможно понять себя.

ΠΡΟΖΑ

АВТОПОРТРЕТ НА ФОНЕ

Родился я в белорусском и очень еврейском городе Витебске. Это событие было изначально отягощено некими символами, которые ни мне, ни моим близким долгое время не раскрывались. Будучи единственным мальчиком в семье и получив в наследство от своего деда очень своеобразное имя, имея среди ближайших родственников коэнов, левитов и отца, получившего свое полное образование в хедере, я, тем не менее, не был подвергнут обрезанию. Так что процесс моего прихода в мир как бы ни был завершен, а двойственность, возникшая из этой многозначительной ситуации, стала чертой характера и сопровождает меня всю жизнь. В отношении обретенного имени через 60 с лишним лет я писал в стихотворении «Зяма»:

Мне имя с рожденья дано, как клеймо
По паспорту Залман, возможно, Шломо.
Красивое имя, высокая честь,
Всего-то еврейства, чего во мне есть.
Его я полжизни носил, как ярмо,
На мне как колода висело оно,
Как платье изгоя, как кличка раба,
С рожденья — заплатата, с рожденья — судьба.
И каждый с издевкой, какой только мог,
Его мне подвешивал, словно плевок.
Я тщетно боролся, я тщетно зывал,
Я небу проклятья свои посылал,
Но кинул однажды я взгляд на себя
И понял, что имя мое — это Я.
Мы с ним нераздельны, мы с ним заодно
И это мой разум пьянит как вино.

Свою родословную я знаю больше по разговорам, чем по каким-то серьезным документам. Тем не менее, собрав вместе семейные предания, некоторые популярные сведения по истории евреев в России, в которых упоминался купец Бенцион Шмерлинг (именно эту, позже деформированную фамилию я впервые услышал от своих родственников во время похорон отца в Ленинграде в 1972 году), а также записки моей двоюродной сестры Майи, родившейся 82 года назад в Невеле, а ныне живущей в Димоне, на краю пустыни Нэгев, вывел для себя, что прадед мой был известным поставщиком царской армии во время Крымской кампании 1853–1855 гг., нажил на этом немалое состояние, кое и прокутил в своей большей части в Риге, в домах с сомнительной репутацией и гостиницах, развлекая местных красоток и устраивая для них ванны с шампанским. Пришел он в Россию из-под Львова, юношей, после разделов Польши и Наполеоновских войн и почти сразу попал под Указ 1827 года о рекрутском наборе среди евреев и прослужил в Николаевской армии более 25 лет (так в записках). Он некоторое время пребывал в кантонистах, но иудейство свое сохранил. По окончании Крымской кампании, будучи уже в годах (полагаю лет 46), он женился. В браке у него было три сына, старший из которых — Залман Шмейлин рождения 1856 г. — был моим дедом, а, кроме него, — Мендель и Бейнеш. Сам он поселился в Невеле, под Полоцком, но предварительно удачливый и расторопный купец, каким он представлялся своим потомкам, купил неподалеку землю в размере 40 десятин (43,6 га) в селе Томчино, недалеко от железнодорожной станции Полота. На эту землю он и посадил подросших своих детей. Он также построил там деревообделочную фабрику, с которой был связан мой дед, обеспечивая ее лесом. В деревне, ставшей гнездовьем для большой семьи, родился и мой отец в 1900 году. Отец в своих рассказах упоминал о своем деревенском детстве и о бурной купеческой жизни своего деда, но никогда — о его годах солдатчины. Полагаю, что бывших кантонистов в еврейской среде не жаловали, и было отчего. И Бенцион, хотя и остался правоверным иудеем, за более, чем четверть века, вполне нахватался «русского»

духа, потому и понуждал своих детей крестьянствовать, то есть добывать свой хлеб потом, и этот хлеб был горький, т.к. у братьев жизнь на земле не задалась. Были тяжбы из-за земли и из-за фабрики, особенно с братом Бейнешем. Разрешились они не в пользу моего деда. Он разорился, и семья бедствовала. Дед был женат дважды. Его первая жена рано умерла, оставив ему двоих детей, и он, как это было принято, взял в жены ее родную сестру Нехаму, мою бабушку, с которой прижил еще пятерых. Особым коммерческим или земледельческим талантом дед не обладал, от отца своего в наследство, кроме земли, ничего не получил, занимаясь торговлей лесом, постоянно находился в отъезде, был очень набожен и, страшась в поездках нарушить кашрут, питался одной селедкой, отчего и умер в 54 года от мочекаменной болезни в Питере, в больнице им. Боткина, когда отцу моему не было и 10 лет. Семья осталась без кормильца, и через год отец со своим сводным братом Борисом, которому стукнуло 16, зимой ушел из дома пешком с обозом — наниматься в ученики к часовщику в Питер, где он в 17 лет и встретил Революцию.

Отец не рассказывал пространно о годах, проведенных им в Северной Пальмире. Часовщиком он так и не стал, но когда хотел похвалить какие-либо часы, он прикладывал их к уху, долго слушал и загадочно изрекал: «Анкерный ход». И это все. Другой его страстью, оставшейся с того времени, была классическая, «французская» борьба, но не нынешняя, а та, дореволюционная, цирковая. Какие-то брошюры, книги постоянно гостевали в нашем доме с портретами усатых богатырей русского разлива. Иван Заикин, Иван Поддубный — эти имена он приносил с великим уважением. По его признанию, он не пропускал ни одного серьезного соревнования, а они всегда подавались густо, с эпитетами «мировые», «вселенские», он рассказывал о романтических героях цирковой арены в борцовских трико, выступавших под загадочными масками, о трюках с оливковым маслом, которым по специальной технологии смазывались борцовские торсы, о сломанных ушах, стертых до толщины бумажного листа. В нашем доме всем мужчинам он давал оценку по двум критериям — по весу и по

способности потягаться с ним «на уголке». Вес меньше 80 кг он не признавал, а «на уголке» с ним мог тягаться только «дядя Ваня», директор спортивного магазина «Динамо», бывший борец и тоже любитель цирка.

Р-революционные идеи моего родителя в его петербургский период сильно не увлекли, в Гражданской войне он не участвовал и уже после ее окончания был призван на военную службу, от которой осталась какая-то песенка с терпким запахом солдатской казармы, которую он иногда напевал: «Как ты смел исчадьде ада, жалкий идиот...» и т.д.

Регулярного образования ни отец, ни его братья не получали. Все они закончили, по выражению их матери Нехамы, Академию в Скоброво, то есть хедер в соседнем местечке, где был свой раввин.

А родовое Томчино после революции опустело. Молодежь не хотела там оставаться и постепенно разъезжалась. В достопамятном июне 1941-го в Томчино жил только старый Мендель с женой. Его пятеро детей к тому времени осели в Москве и Ленинграде. Отпрыски Бейнеша, крепкие хозяева, в 1933-м году попали под раскулачивание и были высланы в Сибирь, а вдовствующая бабка моя Нехама вместе с последышем — Лелей в начале 30-х перебралась к дочери Рае в Москву, куда пригласили на работу ее мужа. Менделю было 72 года, когда в поселок пришли немцы. События развивались очень быстро. Его сын попытался вывезти родителей, но дороги были уже перерезаны. Старики стали одной из бесчисленных жертв тотального антисемитского террора — их расстреляли прямо на пепелище собственного дома.

Дорога на Петербург, по которой отец мой ушел из дома «в люди» в 11 лет, была для молодых амбициозных евреев делом обычным. Часто, не добившись больших успехов, они возвращались обратно. Так случилось и с моим отцом, который в 20-е годы уже работал приказчиком в Витебске. И в 1926 г. произошла его встреча с моей матерью Елизаветой Самуиловной Левинсон. Мать моя родилась в Витебске, в 1903 г. Отец ее, Самуил Левинсон, умер, когда она была ребенком и ее воспитывал отчим, но для меня дед, Меир Липкин, хасид и ко-

эн. С дедом Меиром косвенно связана история моей эмиграции в Австралию. В своей ранней молодости Меир работал коммивояжером, много ездил, в том числе и по еврейским местечкам Белоруссии. Был он человеком очень живым и остроумным (в его почтенной старости в Москве он подрабатывал ночным сторожем, но имел видное место в синагоге и многие добивались доверительной беседы с ним, чтобы получить дельный совет и консультацию в житейских вопросах) и присмотрел в своих поездках себе невесту. Как это тогда бывало, родители быстро сговорились и поставили молодых под хупу. Однако, утром Меир имел определенный «цорес». Ибо невесту на свадьбе подменили. Его возмущение было гласом вопиющего в пустыне. «В еврейских семьях младшая не выходит замуж раньше старшей», — таков был окончательный вердикт. Что, очевидно, соответствовало нравам. Зато младшая могла стать преемницей старшей при форс-мажорных обстоятельствах, как это случилось с другим моим дедом. Меир пожил некоторое время в семье, в результате чего появилось двое детей — мальчик и девочка, а потом развелся. Его усеченная семья в 1918 году эмигрировала в Австралию. С ней и связался мой кузен Аркадий Липкин, когда в течение 7 лет ходил в отказниках в Москве. За ним потянулась и наша семья Шмейлиных.

Меиру пришлось немало постараться, чтобы убедить мою бабушку Йоху Фейгу Риву, тогда молодую вдову, на повторный брак. Она была красива, эффектна и пользовалась успехом. Это оказался счастливый брак. Они воспитывали семерых детей, всех поставили на ноги, все, как говорится, вышли в люди исключительно силой собственных способностей и воспитанных добродетелей. С матерью моей и ее родителями связана некая туманная, романтическая история, фрагменты которой у меня сохранились с детства, хотя о ней только шептались. Якобы случилась у моей мамы Лизы в 17 лет большая любовь, да жених родителям не показался — не был достаточно состоятельным, что не соответствовало их представлениям о прочной семье. Жених с горя уехал в Москву добиваться успеха, а возлюбленной обещал вызвать ее, как только устроится.

Невеста ждала писем, а дед Меир их перехватывал и аккуратно отправлял в печку. В результате мать моя, отчаявшись ждать, слегла в горячке и серьезно заболела. Едва поставив Лизу на ноги, родители отправили ее в лес лечиться смоляным воздухом, а по возвращении определили работать счетоводом — чтобы мысли занять. Там она и встретилась с моим отцом, работавшим по соседству приказчиком.

Мать всю жизнь зачитывалась любовными романами и напевала песенки из известных еврейских оперетт, оттого, очевидно, что в Витебске Еврейский Театр был главным очагом культуры: «Ким, ким, ким цу мир...» или: «Мухатенесте майне, мухатенесте гетрайе...»

Они западали в мою детскую, восприимчивую душу, как нечто утаенное, ибо нам, последышам, уже ничего не оставалось — ни языка, ни обычаев, ни аромата особых отношений. Разве только то, что еврейская мама, она и в Африке и в России — «аидише мама».

Моя мать, как и отец, воспитывалась в многодетной семье. У нее было два брата от первого брака бабушки Йохы и два брата и две сестры от второго брака. Семья довольно благополучно угнездилась в Витебске. Но в 30-е годы ее брат Аркадий Левинсон закончил военное училище, специализируясь в области строительства военных аэродромов. Авиация бурно развивалась, и он так же стремительно рос по службе. В 1939 году он окончил Академию Генштаба и уже в звании полковника в тридцатитрехлетнем возрасте был взят на службу в это высшее ведомство Красной Армии, что немедленно сказалось на его социальном и материальном положении. В его квартире, окнами выходящей на таганские дворы, которую он получил, разменявшись с будущим маршалом Тимошенко, я провел много времени из моего босоногого детства. После войны она стала, как маяк, на который слеталась в Москву вся, разбросанная как взрывом, семья моей матери. Там поселились ее родители и оттуда как бы распространялись флюиды, влияя определенным образом на судьбу ее братьев и сестер и на нашу собственную.

Этот дом на Гончарной Набережной пережил свои бури и тоже знал ночные наезды черных воронок. Его знание сохранилось в почти гробовой тишине подъездов, в дежурных вахтершах с вязаньем в руках, острым взглядом ошупывающих каждого входящего, в подчеркнутой высокомерности лифтов, никогда не оскверненных легкомысленными и грязными надписями. Но дядя туда перебрался в конце 1939-го, когда массовые репрессии военных уже прекратились.

Нашу семью война застала в Витебске. Нас было у матери четверо: две сестры — Софа и Зина, близнецы, подростки по 14 лет, сестра Анна 8 лет и я, единственный ребенок мужского пола неполных 3-х лет. Отца призвали на второй день войны. В эвакуацию собрались очень спешно, навсегда оставив уютный домик под красной черепичной крышей на самом берегу Западной Двины. Брали самое необходимое, то, что вся семья могла унести в руках. Ехали мы вместе с трикотажной фабрикой, на которой мать работала бухгалтером. Сразу после отправки эшелон стали бомбить. Когда начиналась атака, поезд останавливался, все выбегали из вагонов. Одни бежали как можно дальше в поле, другие лезли под вагоны. Мать боялась нас растерять, поэтому прятались между рельсами. Было много убитых, раненых. Но мы все-таки продвигались и приехали в какой-то поселок на Урале. Там нас высадили и разместили по домам. Было очень тесно и голодно. Хозяева смотрели косо и недовольно. Им казалось, что слишком много евреев. Там я впервые, несмотря на крайне малый возраст, почувствовал отчужденность от окружающих меня людей за пределами семьи. Матери удалось связаться с Лелей, братом отца, и мы поселились у него в Чердыни. Согласно документам, это произошло 5 июля 1941 г., т.е. через две недели после начала войны. Леля (Израиль Шмейлин) был незадолго до этого направлен служить на Северный Урал. Его жена Зина там заведовала местной больницей. Туда же в Чердынь вскоре прибыли мать Лели, бабушка Нехама и его сестра Рая с дочерью Майей. Учитывая, что нас с матерью было пятеро, в доме стало тесно и напряженно. Там мы прожили первую военную зиму. Потом мать забрала нас и перебралась в пос. Шеманиху,

той же Молотовской области, куда эвакуировались ее родители вместе с предприятием деда Меера. Это место как-то выпало из моей памяти. Помню только чувство голода и как я выпрашивал у деда кусочек черного хлеба, и ощущение какой-то неизбывной постыдности этого.

Старшим сестрам исполнилось уже по 15 лет, и осенью 1942 года мать отправила их в город Дзержинск Горьковской обл., где ее сестра Маня в качестве молодого специалиста после окончания Харьковского института участвовала в строительстве сверхсекретного химкомбината. Сестры поступили там в химический техникум. В свободное от учебы время они работали на заводе по производству артиллерийских снарядов — делали зачистку резьбы взрывателей. Работа была опасная. При неосторожном обращении снаряды взрывались. Поэтому каждый оператор помещался в отдельную бронированную кабину. Большую часть операторов составляли подростки — девочки и мальчики, ровесники моих сестер. Через несколько месяцев в Дзержинск перебралась и моя мать вместе со мной и сестрой Анной. Мне было уже четыре года, и Дзержинск сохранился в моей памяти со своим молодым сквером в центре города, где пышно расцветали летом желтые акации. Через этот сквер я ходил на службу к матери — она работала бухгалтером в горисполкоме и была членом этого исполкома — в петлице ее жакета рубиново мерцал депутатский флажок. Воспитательница детского сада иногда водила нас в лес. Идти нужно было далеко, но в лесу становилось очень интересно. Среди деревьев стояли замаскированные танки, которые иногда выпускали струи ядовитого, вонючего дыма, рядом танкисты, темные, измазанные, в черных, вызывающих неистовую зависть шлемах, солдаты со снятыми ремнями, расположившиеся на «солнечной поляночке», звуки гармошки, смех — и все молодые, здоровые, сильные. Там я впервые приобщился к русской народной лексике, там впервые услышал от проходившей мимо колонны: «Вставай, страна огромная!». Песня завораживала, потрясала, я стоял как оглушенный и каждая жилка во мне трепетала от ужаса и восторга. Дзержинск по ночам бомбили. Все начиналось с леде-

нящего воя сирены. Окна занавешивались, включался синий свет и все бежали в бомбоубежище. Пока добирались до бомбоубежища, успевали высмотреть небо все в лучах прожекторов, иногда они высвечивали серебристые силуэты самолетов или сигарообразные тела аэростатов. Гул самолетов сливался с зенитной канонадой. Утром я жадно высматривал осколки бомб. Синие, рваные кусочки металла были у малышни разменной монетой. Как-то мать во время воздушной тревоги в темноте зацепилась за ящик с песком и слегла с сердечным приступом. Помню запах валерьянки и тревожную суету вокруг. С этого дня этот запах прочно поселился в нашем доме.

Осенью 1943-го наша семья получила пропуск на право въезда в Московскую область, где в это время находился на военной службе отец. Мы поселились в Расторгуево, рядом с его воинской частью. Дом, где мы остановились, был когда-то усадьбой. При нем находился большой парк с высокими, в обхват березами и небольшой пруд, наполовину покрытый ряской. В ту зиму я впервые пристрастился к чтению. Сидя около сестры, я быстро усвоил азы, а вскоре начал осваивать имевшуюся в доме библиотеку. Самое большое впечатление оставил у меня огромный однотомник А.С.Пушкина, с массой иллюстраций, переложенных тонкой папиросной бумагой. Сказки были очаровательны и поселились где-то в глубине навсегда. Но самым волнующим в течение многих лет оставались для меня «Песни южных славян». Наверное, они соответствовали общему воинственному духу, пронизывающему все вокруг.

Война уже подходила к концу. Иногда мы посещали Москву, и тогда по дороге я замечал ее мрачные следы — оставшиеся «ежи» из скрепленных, сваренных металлических балок, зияющие оконные проемы полуразрушенных домов, свалки битой техники.

Но уже нужно было думать о будущей мирной жизни. Старшие сестры сменили профиль и продолжили обучение в только что открывшемся техникуме при Министерстве финансов по специальности «Драгоценные металлы». Это был элитарный набор для единой системы фискального надзора в преддверии больших потоков золота, серебра,

платины и драгоценных камней после войны. Жизнь в режимном городе Москве сулила свои проблемы, которые не заставили себя ждать.

Карьера отца, как это часто бывало во время войны, неожиданно круто пошла вверх. Его призвали немедленно после ее начала и отправили на фронт рядовым солдатом. Ему был тогда 41 год. Их часть попала в котел под Оршей, буквально сразу после формирования. Отец рассказывал, что они долго, несколько недель, выходили из окружения. Шли втроем, с ним был еще милиционер и некто в штатском, по его предположению, политработник. Шли очень осторожно, постоянно прятались, своих боялись не меньше, чем немцев.

Когда вышли из окружения, отца направили на переформирование в Молотов (ныне Пермь), неподалеку от Чердыни. И отец появился у нас — очень худой, потемневший, завшивевший — ему дали отпуск. Через две недели пришла повестка — снова на фронт. Отец оказался под Москвой, там как раз намечались самые серьезные события. Он попал в войска противовоздушной обороны столицы. Поэтому, когда фронт откатился на Запад, их часть осталась на месте. Учитывая его профессию, (до войны отец работал приказчиком и товароведом), отца направили в хозяйственную роту. Командир роты оказался жидоедом, отец ему очень не пришелся. Возник конфликт, и отец признавался мне, что был на грани самоубийства. И здесь он сделал ход, который определил всю его дальнейшую жизнь, да и нашу тоже. В штабе дивизиона он приметил офицера, майора, который предположительно мог быть евреем и, решившись, однажды подошел к нему и объяснил ситуацию. Шаг был очень рискованный. Это было нарушение устава, субординации и неписаных правил поведения. В условиях войны дело могло кончиться трибуналом, даже, если предположение отца было верно. Многие евреи как огня боялись таких ситуаций и энергично открепщивались от своих соплеменников, тщательно оберегая собственное достигнутое положение. Но в этот раз отцу повезло, майор оказался не из трусливых, сидел крепко и не собирался потакать антисемиту. Тем более, что в штабе нуждались в опытном снабженце. В ус-

ловиях военной неразберихи ловкие и смысленные хозяйственники были на вес золота. И к 1943 году отец уже ведал снабжением дивизии и носил в кармане партбилет. Это была высокая должность, хотя он продолжал оставаться со старшинскими погонами. В особенностях сложившейся системы это означало попасть в обойму непотопляемых советских ответработников. И отец ниже уже никогда не опускался.

Пока он был в армии, ему постоянно напоминали о его не соответствующем для должности звании и подстрекали сменить старшинские погоны на золотые офицерские (для этого он должен был пройти спецкурс обучения), но отец постоянно отказывался, понимая, что это уже навсегда свяжет его с воинской службой, а ему уже было 43 года. Ситуация была необычная. И полковникам приходилось тянуться перед дивизионным начальством с солдатскими, в сущности, погонами. Мать моя постоянно над этим подтрунивала. Случившееся с отцом стало для меня уроком и примером. Отец достиг определенного положения, но всегда оставался в этих специфических сферах белой вороной, старшиной среди офицеров, не в силу звания, а в силу особенностей еврейского характера, ментальности. Распространенный миф, якобы, после революции евреи овладели Россией. Процент участия их в управлении и в составе интеллигенции действительно впечатляет, но здесь есть некоторая особенность, которую невозможно не заметить. Особенность, которую честный русский писатель и националист Н. Лесков назвал «умный еврей при губернаторе». Эта традиция глубоко исторична и присуща нашему народу в диаспоре с древнейших времен, многократно повторяя сюжет Иосифа Прекрасного в Древнем Египте. Эта главная, прекрасно освоенная, чисто национальная роль осталась за евреями и после революции, когда снята была черта оседлости, когда евреи почти беспрепятственно заполнили студенческие аудитории, а позже и институтские кафедры, и конструкторские бюро, и редакции газет и радио. И при этом они всегда обслуживали вельможные фигуры, независимо от того, был на них расшитый мундир дипломата или помятый пиджак младшего научного сотрудника.

Мой отец не исключение. Несмотря на огромные возможности, ничего, кроме скромной официальной зарплаты чиновника среднего звена, домой не приходило. Пока я жил в семье, у нас никогда не было своего жилья, нормальной мебели, никаких предметов роскоши или художественных ценностей — ничего, кроме самого необходимого. А, учитывая, что мать последние 10 лет жизни не работала — по состоянию здоровья, — то быт был аскетически скромным. Более того, старшие сестры, которые вынуждены были подрабатывать, еще учась в техникуме, начав работать, постоянно что-либо подбрасывали: то посылки, то денег. Свое жилье у отца появилось только, когда он оказался вдовцом и пошел, как говорится, в «приймаки» к новой супруге во Львове. Подобные вещи, вопреки бытующей молве, явно преувеличивающей материальный достаток и чуть ли не барство евреев в стране Советов, мне приходилось с удивлением наблюдать неоднократно.

И уж, поскольку вопрос коснулся некоторых устойчивых мифов, следует заметить, что все боеспособные члены нашей большой семьи и по материнской и по отцовской линии, принимали самое активное участие в войне, которую у нас было принято называть Отечественной, а во всем остальном мире — Второй Мировой. Они закончили ее в Берлине, Праге, Прибалтике и, когда летом 1945-го года собрались за большим столом в гостиную у Аркадия Левинсона на Гончарной Набережной, все сияло от золота погон. Это сидели победители, и они завоевали свое право на праздничное застолье.

По счастливому стечению обстоятельств большинство уцелело. Но были и потери. Одной из самых горьких была гибель Гени Липкиной, самой младшей сестры матери, всеобщей любимицы. Летом 1941-го она окончила четвертый курс мединститута и была направлена в Минск на практику. Жила у дальних родственников по фамилии Басс. Немцы очень быстро оказались в Минске, так что не все учреждения успели эвакуироваться. Уезжали спешно, родственникам выделили даже спецмашину. Но немцы оказались проворнее. Машину остановили и, быстро разобравшись, что к чему, начали грубо и оскорбительно кричать. Немецкий офицер схватил Геню за

руку и, обозвав «жидовкой», стал вытаскивать ее из машины. Сохраняя остатки достоинства, она плюнула ему в лицо и тут же, на глазах у всех, была застрелена.

Отца демобилизовали сразу после окончания военных действий и направили работать коммерческим директором тароремонтного завода, расположенного на окраине столицы, вблизи Катуаровского шоссе. Мы поселились в барачном поселке, построенном для работников этого завода. В послевоенной Москве люди застревали там надолго. В голодные 1946–1947 годы, когда не хватало ни пищи, ни топлива, в одном из барачных сооружений соорудили общественную кухню с одной длинной на все помещение плитой. Любой желающий мог прийти туда готовить. Одновременно набивались десятки домохозяек со своими кастрюльками, сковородками, огромными чанами, в которых варилось белье, с непрерывным гвалтом, сплетнями, скандалами, драками и удивительной готовностью прийти на помощь. Дети крутились тут же со своими интересами. Основной пищей была картошка. Ею весной в эти два послевоенных года засаживали все незастроенное пространство — скверы, пустыри, палисадники. На непаханой земле клубни вырастали крупные, рассыпчатые. Детям доставались очистки. Мы собирали и поджаривали их тут же на плите, проталкиваясь между горластыми барачницами, получался деликатес. Осенью совершали набеги на близкие плантации Подмосковья. Особенно ценилась репа. Нашей семье, в соответствии с должностью отца, выделили в бараке довольно большую комнату. В ней мы жили вшестером. Старшие сестры, которым было уже по 18 лет, вполне взрослые и обневестившиеся, спали на одном матрасе, «валетом».

Голод нас не коснулся, но он был очень близко, рядом и это соприкосновение ощущалось в глухой неприязни, сочлененной со зрелой, набухшей племенной враждой. Враг был побежден, но ненависть и жестокость, взлелеянные оголтелой пропагандой, беспросветной нуждой и лопнувшими надеждами на немедленное счастье после войны, не находили выхода и канализировались в определенном направлении. И, что характерно, рядом с барачным поселком располагалось произ-

водство асфальта для московских, разбитых дорог. Там работали военнопленные немцы. Они были практически расконвоированы и регулярно приходили в поселок с мелкими поделками — кошельки, сумочки, сделанные из дерматина и клеенки, обычно тщательно, очень аккуратно выделанные, с художественной прошивкой, чаще в виде сердца или с какими-то мудреватými вензелями пользовались спросом. Жители их охотно выменивали, делаясь собственной лимитированной едой. Немцы были все крупные, белозубые, трезвые, внешне они выигрывали рядом со вчерашними советскими солдатами, и я ни разу не видел проявления к ним живой, эмоциональной вражды. А ведь именно с ними четыре года велась война, в которой мало у кого из окружающих не осталось кровотокающих ран. Зато эта живая неприязнь по отношению к евреям прямо пронизывала всю атмосферу. Я ее чувствовал в школе, в том числе со стороны учителей, но во дворе, со сверстниками, с товарищами по играм и дворовым забавам этот момент как-то сглаживался. Жестокость была нормой жизни и проникала в детскую среду, сказываясь на характере игр и интересах. Заводилами крупных мероприятий были ребята постарше. Чаще всего развлекались изготовлением карбидных «бомб». Где-то раздобывался карбид, который заливался водой в специально вырытом углублении, сверху плотно закреплялась банка. Скопившиеся газы поджигались и с грохотом уносились вместе с банкой в поднебесье. Забава была опасная, банку иногда разрывало. Но опасным было все, что окружало нас в это время — неразорвавшиеся снаряды, трофейное оружие, которое подростки воровали у своих родителей после их возвращения, ракеты и ракетницы и многое другое. Еще большей популярностью пользовалось хождение «стенка на стенку» на соседний жилой район с метанием камней, с мордобоем, с кровью. Впереди шла малышня с плетеными корзинками вместо щитов, в задней линии уже взрослые парни лет по 15–17, а то и мужики. После таких батальей пройти через тот район было не просто, даже в школу. Меня выручала четырнадцатилетняя сестра. Этот угол Москвы пользовался дурной славой, не столько криминальной, сколь-

ко хулиганской, разбойной. Но сестра среди этого отчаянного, бесшабашного сброда пользовалась каким-то необъяснимым авторитетом и симпатией. С ней были в приятельских отношениях самые крутые главари, и она без проблем могла появляться в любом месте, в любое время дня и ночи. На ней лежало и выстаивание в очередях и отоваривание семейных карточек. С ней связаны и некоторые светлые моменты того времени. В 15 лет она с подружкой — певуньей с подобающей фамилией Соловей, пошла на Мосфильм пробиваться в актрисы (насмотревшись трофейных фильмов с Диной Дурбан). Там отметили у сестры хорошие данные и посоветовали воспользоваться вакансией в танцевальном коллективе только что восстановленного Дома Союзов. Для нее это стало увлечением на долгие годы, а для меня открылся сказочный мир, в который превращался Дом Союзов во время новогодних каникул. Я мог увязаться за сестрой и крутиться там целыми днями, когда она была занята на сцене. Лицедейство происходило на всех этажах, перед детьми выступали самые знаменитые артисты, певцы, детские писатели. Была общая атмосфера какой-то нереальной фантастической жизни — пестрые костюмы, маски, феерия, сверкающие звезды и, наконец, огромная, на всю высоту Колонного зала, вращающаяся елка с разноцветными мерцающими шарами размером с футбольный мяч. Говорили, что на первый утренник приходили члены правительства, но я этого не видел. Как всегда, за кулисами было гораздо интересней, чем в зале. И хотя билетов у меня, естественно, не было и подарков мне не доставалось, чувство праздника сохранилось навсегда.

Будни были несколько иные. В барачных дворах созревание шло быстро. Родителей мы не видели. Они уходили на работу рано, а возвращались затемно. Если мне после школы нечем было заняться, я оправлялся к матери на работу, через всю Москву, добираясь на подножках трамваев. О религии в нашей семье никогда не говорилось. Еврейские праздники не отмечались, и понятия о них я получил только в очень зрелом возрасте. Два характерных запрета, как бы взаимно исключющие друг друга, тем не менее, присутствовали в нашей

жизни. Нас не учили родному языку и редко использовали его в общении между собой. Старшие сестры успели воспринять идиш до войны, но после войны он возникал только, если что-то хотели скрыть от нас, младших. Я его начал понимать частично, когда пришлось учить немецкий язык в школе. Второй запрет касался употребления свинины. Нет, она иногда присутствовала в доме, но как бы негласно, в обход и в обман отца, который, якобы, как-то объелся ее в голодной юности.

Как-то отец сводил меня на первомайскую демонстрацию. Мы добирались двумя трамваями. Шел третий послевоенный год. Вокруг было очень празднично, много физкультурников — в белых майках и белых обтягивающих трико. Уже загорелые, с рельефной мускулатурой, они выглядели как ожившие античные скульптуры. Когда добрались до Красной Площади, отец присоединился к своей колонне, и нас начали сбивать в несколько потоков, между которыми стояли шеренги милиции, а когда вышли на саму площадь, заставили практически бежать. Отец посадил меня на плечи и понесся галопом вместе со всеми. А я смотрел во все глаза на трибуну с вождями. Сначала я ничего не понял, а потом почувствовал какое-то разочарование и недоумение. Сталин оказался неожиданно старый и маленький, совсем не похожий на парадные портреты. Вожди стояли по ранжиру — самые низкорослые посредине, возвышаясь по краям. Эта уловка сразу бросалась в глаза и превращала все священнодействие в какой-то постыдный фарс. В следующий раз я увидел Сталина в Мавзолее, в тот короткий промежуток времени, что он лежал рядом со своим, тогда еще неподсудным, предшественником. Меня поразило, как за эти несколько лет изменилось, набрякло и распухло его лицо.

Летом 1948-го тароремонтный завод сгорел. Отец к тому времени уже на заводе не работал, а вел бесплодную изнурительную переписку с приемной Ворошилова, Калинина, еще каких-то чиновников за право остаться жить в нашем ведомственном бараке. Мы перебрались в Подмосковье, на Лосиный Остров, а старшие сестры, как раз окончившие техникум, уехали по месту работы в республиканских Инспекциях: одна —

в Баку, другая — в Ригу. Мы поселились в двухэтажном, на несколько семей, доме со своим двором и совершенно иной атмосферой. Одним из соседей был известный московский журналист Аграновский. Вообще, в доме жило несколько еврейских семей, так что для детей как-то во дворе построили шалаш — очевидно на Суккот, но никаких разговоров на эту тему не было, все были интеллигентные советские служащие, главным развлечением которых были шахматы и разговоры о футболе. Репортажи Синявского неслись из всех окон (через пару десятков лет их заменят песни Высоцкого). Им болели не только взрослые. Вся окрестная ребятня сбивалась в дворовые футбольные команды. А в школе воздух густел от истощаемой юдофобии. Начиналась компания травли «космополитов». Докатилась она и до нашей семьи. Мать на службе стала жертвой провокации и на несколько недель попала в следственный изолятор Таганской тюрьмы. В доме установилась могильная тишина. Отец не спал ночами, простаивая у окна. С ее больным сердцем мать долго бы не выдержала. Где-то крутились шестеренки в высоких сферах, абсурдность обвинений была очевидна, но опыт 30-х годов доказывал, что это не имеет значения. Все обошлось, но это стало последней каплей. Отец не стал ждать, когда очередь дойдет до него и при первой же возможности, по совету друзей, увез нас в глубинку, в Удмуртию, в глухой районный поселок Чур, куда получил назначение на место начальника Отдела Рабочего Снабжения огромного леспромхоза.

Это была по сути дела большая деревня с раздутым лесопромышленным комплексом. Директор леспромхоза являлся по определению местным царьком, все было в его ведении, все было в его власти. Неограниченная власть создавала иллюзию безнаказанности, и эти царьки как-то быстро сменялись — через каждые год-два, ибо, только прикоснувшись к креслу, начинали обреченно и бесшабашно воровать, вовлекая в этот порочный круг и своих подчиненных. Отец по иерархии был вторым человеком. Мы жили в домике со своей банькой, со своим огородом, с удобствами во дворе и с речкой, которая протекала прямо за грядками. Привязав вилку к ка-

кому-нибудь дрючку, я делал острогу и охотился за пескариками и юркими, липкими вьюнками, которых скармливал потом нашему коту. За околицей поселка начинались лесные дебри, с грибами, малинниками, с болотистыми низинами, покрытыми папоротником, рыжим мхом и густо усеянные брусникой. Неподалеку находился бобровый заповедник. Я учился уже в 5-м классе. Осенью школу привлекали к полевым работам. Дети занимались уборкой картошки. Это был тяжелый, неблагоприятный труд. Клубни нужно было очищать от вязкой, влажной земли. Работать приходилось, все время согнувшись, и таскать тяжелые корзины. Я постоянно чувствовал к себе повышенное внимание. Положение обязывало, но деревенский труд требует особой привычки, ловкости, сноровки, практических навыков. Так что чувствовал я себя неловко, и это чувство изменило мое отношение к учебе. Я стал уделять ей больше внимания, завел некоторую систему и постепенно вошел во вкус. И этот вкус к учебе сохранился у меня на всю жизнь. По вечерам на селе гремели застолья с рыбным пирогом, с шаньгами, с брагой и самогоном. Отец этого терпеть не мог, но и отказаться было нельзя. Дело в том, что он не пил, да и не умел. Он страдал головными болями и от стакана вина отключался на целый день — с холодными примочками и чуть ли не с постельным режимом. Не желая более усугублять сложившееся двусмысленное положение, отец перевелся на такую же должность в город Воткинск, расположенный неподалеку от столицы Удмуртии.

К тому времени я с родителями остался один. Сестра поступила на учебу в Ижевский библиотечный техникум. Воткинску, родине П.И.Чайковского, предстояло еще добавить себе известности баллистическими ракетами СС-20, наводившими страх на всю Европу, пока в перестроечное время их не уничтожили. Но тогда, в начале 50-х, это был обычный уральский городок, выросший из рабочего поселка вокруг завода, одним из управляющих которого был в свое время отец будущего знаменитого композитора. Их дом-усадебка с прилегающим парком на берегу большого пруда, образованного плотиной, сохранялся как музей в прекрасном состоянии. Пруд, вер-

нее искусственное озеро, тянулся на много километров, создавая вместе с начинающимся предгорьем иллюзию швейцарских пейзажей. Его берег был излюбленным местом отдыха, а поверхность бороздили парусные шлюпки и рыбацкие лодки. Но центральным местом, средоточием, смыслом был Завод. На Заводе работало около одной трети всего населения — 25 тыс. человек. Официально завод изготовлял паровозы. Но иногда над удаленной его частью начинали активно летать самолеты и слышалась орудийная канонада — это шло испытание другой, истинной и важнейшей продукцией — самонаводящихся зенитных установок. Город жил в ритме Завода — «по гудку». Гудком обозначали начало смен — отдельно для рабочих и ИТР. Квалификация кадров была высочайшая, потомственная, в чистых традициях Урала. Воткинский Завод — одно из начинаний питомцев Петра Великого, мне еще предстояло с ним близко познакомиться. Здоровье матери ухудшалось, работать она уже не могла и я, после окончания 7-го класса, поступил в местный машиностроительный техникум. Профессия меня не увлекала, но и альтернативы, то есть сильного устремления к чему-либо иному я в себе не обнаруживал.

Компенсацией были книги. К моим услугам была богатая леспромхозовская библиотека, где я имел обыкновение рыться на полках и набирать охапки книг, которые не читал, а глотал. В то время я очень увлекался «историческими» романами, полагаю, что в них все-таки было больше от реальности, чем в официальных изданиях. Сестра уже заканчивала учебу в Ижевске и вскоре стала заведовать в нашем городе центральной детской библиотекой. Это значило, что я был в курсе самой свежей периодики и всех литературных скандалов. Главным сигналом о них были списки изъятий в библиотеке — цензура не дремала. А между тем, учиться было сложно. Важнейшей дисциплиной было черчение. Требования выдвигали очень высокие, гораздо выше моих навыков. Мне приходилось засиживаться над чертежами до глубокой ночи. Это дело во все не отвечало моей не склонной к педантизму натуре. Но постепенно навыки пришли, и рука уже привычно выводила ненавистный шрифт.

Техникум принадлежал к оборонной промышленности, об этом говорили пушки, разместившиеся в аудиториях последнего этажа, где занимались старшекурсники, и включение в программу некоторых специальных технологий, например, изготовления и обработки оружейных стволов. Были и некоторые традиционные наработки, апробированные временем, ибо техникум уже имел Историю. Например, очень сильный курс математики, который немногим уступал институтскому, это и привело к тому, что и работать я начал, как расчетчик-баллистик, и позже, во время учебы в институте во Львове, поминал добрым словом своих наставников.

В принципе, предположения отца оказались верными. До провинции волны столичных баталий с «космополитами» докатывались уже на излете. На заводе, да и в городе среди врачей, адвокатов, торговых работников, ремесленников случались специалисты евреи и они по-прежнему пользовались авторитетом и уважением. Центральная печать шельмовала фамилии, вызывающие тревогу и страх, но практического развития на месте, по крайней мере, у нас, они получить не успели. Смерть Сталина и последующее разоблачение «культы» произвели впечатление, как будто что-то огромное шлепнулось в наше провинциальное болото. Начались громкие разговоры, доходящие до откровенной бузы в студенческих аудиториях. Было общее недовольство, но его еще среди нас никто не сформулировал. Между тем, крылатая фраза: «Комсомол — это форточка, в которую дуют вышестоящие организации», вышедшая из свердловского УПИ, пошла уже гулять по стране. Если не с авторами, то с их поделщиками, отчисленными из института и раскиданными по различным районам Урала, мне через год предстояло познакомиться.

Я уже плохо вписывался в рамки семьи. Наш быт как-то сильно не гармонировал с тем, что меня окружало за пределами дома. Мы по-прежнему скитались по съемным квартирам, не имея своего угла. Отец уходил на работу, как это было и в Москве, с раннего утра, почти по гудку, а возвращался часов в 9–10 вечера. Поздний ужин заканчивался чаепитием, превратившимся в ритуал. На стол ставился трехлитровый чайник

кипятка, заварка, молоко и варенье и отец начинал пить чай, постепенно раздеваясь до пояса, в конце концов он сидел весь потный, распаренный, с полотенцем на шее, рассказывая всякие байки, на которые был большой мастер. Это чаепитие как-то связывало его со всей той жизнью, которая для меня уже была только историей. Я пытался ее примерять на себя, но ничего не получалось, слишком глубокий был разрыв.

Я выбрал себе местом работы овейанный легендами город Златоуст, известный как родина возрожденного русского булата, где работал знаменитый металлург Амосов. Тому были свои причины, которым обязаны первые стихи, появившиеся тогда в моей записной книжке. Я покидал город, в который мне уже практически не суждено было вернуться. Мне не исполнилось еще 18 лет, в чемодане у меня был диплом, как свидетельство моей квалификации, в кармане подъемные, как символ самостоятельности, а впереди туманное будущее. Этот город дал мне профессию, научил настойчивости в делах, он оставил глубокие зарубки на моем сердце. Это город, где осталась могила моей матери, это город моей первой любви.

* * *

Это был мой первый в жизни отпуск и мое последнее мальчишеское лето. Осенью мне предстояло отправиться служить в армию. И я приехал домой, к родителям.

Мама как-то странно предупредительно ходила вокруг меня. Я еще не знал, что вижу ее в последний раз. Она открыла 10-литровую бутылку с вишневой наливкой и сказала:

— Пей лучше дома, чем всякую дрянь с твоими приятелями.

Ей было невдомек, что там, откуда я приехал через год после окончания техникума, пили в основном чистый спирт, который наши коллеги таскали из источника, бывшего

фонтаном на полигоне, что располагался в нескольких сотнях метров от нашего массивного, в классическом стиле, 3-х этажного здания СКБ. Там, на полигоне регулярно, иногда по

несколько раз в сутки, раздавался чудовищный рев, длящийся около полутора минут. Это было время стартового разгона нашего основного изделия, клона от фашистского ФАУ-2.

Родители очень не хотели меня отпускать в большой мир. Мне было всего 17. Но я бежал от их опеки и из неких романтических побуждений в маленький спецпоселок на Южном Урале, в 120 км от Челябинска. Через полгода я переманил к себе и сестру, 6-ю годами старше меня, девушку живую, артистичную, в свое время она танцевала в хореографическом Ансамбле московского Дома Союзов и нравы, бытовавшие там, таскала потом за собой всю жизнь. Она уже успела не совсем удачно сбежать замуж. Так что родители остались одни, вернее с моим надежным наперсником, сибирским котом Васькой, белоснежным пушистым гигантом с двумя черными пятнами — на голове и на кончике хвоста.

Время мое отпускное сразу после приезда понеслось вскачь. Дома я почти не бывал. Днем я встречался со старыми приятелями, сокурсниками, с теми немногими, кто еще оставался из большой веселой нашей компании.

А долгие летние вечера, до первых петухов, проводил с Валей Пьянковой, местной красавицей с пшеничной косой до пояса, только что закончившей медучилище. Это была моя бывшая пассия, с которой я познакомился год назад, незадолго до отъезда из города и держал это знакомство в большом секрете. Отношения наши тогда были легкими, приятельскими. мы даже и не переписывались. Я неожиданно встретил ее в первый же отпускной вечер на танцплощадке в городском саду, и мы уже не расставались. Девушка она была строгая, в старых традициях, всяких нежностей сторожилась, мы и целовались-то редко. Она говорила:

— И чего мужики в этом находят, как будто мы медом намазаны. Какие-то они все липучие.

Женщина еще в ней не проснулась. Мне было очень приятно находиться в ее обществе, она вся была, как будто пропитана свежестью и чистотой. Мы исходили с ней весь наш небольшой городок и прилегающие рощи, развлекаясь бесконечными разговорами. По большей части тема обсуждалась

одна. Я имел неосторожность рассказать Вале Пьянковой в виде анекдота, что наш комендант, когда я пришел к нему просить отдельную комнату в общежитии для нас с сестрой, рассмеялся и сказал:

— Не морочь мне голову насчет сестры, принеси документ из загса и сразу получите комнату в малосемейке или даже квартиру, как раз дом сдается. И не тяни резину. Сейчас самый удачный момент. Твоим бытом интересовался уже сам Серов.

Серов был зам. Генерального Конструктора. Чтобы он обратил внимание на одного из 500 работников СКБ — должен быть повод. И повод был. Генерального мы видели по большим праздникам в президиуме. Еще бы. Как никак — зять самого министра оборонной промышленности Устинова. А Серов иногда проходил по нашим зеркально отполированным паркетным полам. И останавливался перед кульманом, за спиной у какого-нибудь конструктора. Это что-то да значило. У меня, кроме штатного кульмана, был еще электромеханический арифмометр на столе. Агрегат был из новых, здоровенный, шумный и не очень надежный. И как-то, проходя мимо, этот важный научный муж обратил внимание, что на моей расчетной простыне, длиной метра два с половиной, в которой пошагово просчитывалось перемещение центра тяжести во время полета ракеты, добрая треть полей остается не заполненной. Серов вдруг очень заволновался, спросил, что это означает. И я объяснил, что эти поля лишние, можно легко совместить несколько операций, выделив общий множитель для суммы. Идея была понятна, но железная последовательность шагов явно нарушалась. К тому же в простыне рассчитывался пошагово некий интеграл, а, как известно, с помощью этого математического действия легко можно доказать, что дважды два — пять. Серов оказался мужиком дотошным. Он залюбопытствовал и вместо того, чтобы впасть мне выговор за преступное самовольство, отзвонился в соседний отдел. Оттуда, минут через пять заявился местный математический гений, выпускник МГУ, метр двадцать с кепкой, с огромным шнобелем и десятком диоптрий в очках. Он как-то неодобрительно крякнул, но поставленную задачу просек моменталь-

но, с полчаса поколдовал в прошнурованной тетрадке, а потом, даже не глядя в мою сторону, показал вывод Серову. Оказалось: во-первых, результат был в мою пользу, во-вторых, в нашей продвинутой конторе здоровую инициативу реально поощряли. К вечеру уже был подписан приказ. Я получил прибавку в 150 руб. к зарплате (к моим 1200), дополнительные 6 дней отпуска к моим 18 и спецпитание — ежедневную бутылку молока (которого не пил) за вредность. Серов лично услышал, как грохочет наше новейшее кибернетическое чудо.

— Как вы это выдерживаете — повел он плечами, когда я при нем еще принялся добивать свою расчетную простыню.

Но Валя Пьянкова этот анекдот поняла по-своему. У нее были две проблемы. Обе — с мужиками. Одна — с ее собственным отцом-алкоголиком. После смерти Валиной матери, он не просыхал уже который год — пил горькую. И требовал от дочери, чтобы она добывала водку — где хочет, или спирт, как медик. И чуть что, хватался за топор и гонялся за ней по двору. Протрезвев на короткое время, валялся в ногах и калялся. Там был еще и братик, которому она была и мамка, и нянька, и все, все, все. Второй проблемой был приклатненный сосед, всплывший к ней невиданной страстью. И грозивший ее зарезать, если увидит с кем то. Она уже подумывала, не переселиться ли ей на самом деле к этому постылому соседу, чтобы защититься от отца. И тут появился я со своим анекдотом. И все наши разговоры сводились к тому, что мы должны уехать вместе. И пожениться. И по моему желанию — этот брак будет нормальный или фиктивный.

— Получим квартиру, и у тебя будет свой угол, когда вернешься из армии. Работу я найду. Легко. Медики везде нужны. И если хочешь, я тебя буду ждать. Я человек верный.

Я в этом не сомневался. Репутация в городе у девочки, несмотря на такого родителя, была безупречная.

Возможно, так бы оно и случилось. Но за нами начал таскаться ее ревнивый сосед. И однажды глубокой ночью он вылез из подполья. Мы как раз были на плотине. Ревнивец набросился на меня сзади и, дыхнув перегаром, начал душить, выкрикивая что-то бессвязное и злобное. Но со мной

были полгода занятий во Дворце Культуры с приехавшим из Москвы продвинутым энтузиастом по борьбе самбо. Я резко присел, уцепил его за голову и, перекатив через свою спину, шмякнул во весь рост об асфальт. Потом еще в первый и последний раз в жизни засадил лежащему в скулу носком ботинка. И тут увидел, что он откуда-то потянул нож. Я продолжал действовать точно, как меня учили — резко долбанул каблуком по костяшкам пальцев и подобрал выпавший воровской самодел, тщательно отполированный с аляповатой наборной рукояткой. Я видел подобные у нас в общежитии — и не мудрено. Вход в зону, окруженную колючей проволокой, был буквально за углом, метрах в 50. По утрам, едва забрезжит рассвет, из окна можно было наблюдать, как зеков поотрядно выводили на работу.

У меня возникло острое желание пырнуть поднятой гадостью во что-нибудь унизительно мягкое. Но я удержался и зашвырнул клинок куда подальше, в темную воду. Он как-то утробно булькнул, скрываясь навсегда — говорили, что здесь, у самой плотины, была многометровая гибельная глубина. И тут случилось неожиданное. Валя Пьянкова, вмиг потерявшая всю свою неизбывную девичью нежность, злой фурией налетела на меня:

— За что ты его избил, дурак, что он тебе плохого сделал! Ну ходит он за нами и что. Он давно ходит, я знаю. Ты бессердечный человек. У тебя глаза злые. Бедный Витек, надо отвести его домой...

И пошла его поднимать. Русская сердобольная душа. Такая музыка на троих в моей программе не была предусмотрена. Я развернулся и ушел. Через три дня я уехал к себе в Златоуст. Один.

БЕРДЯНСКИЕ БЫЛИ

Записки провинциала

МОРЕ

эюд

Я не люблю море. Не то, чтобы какая-то неприязнь или недоразумение. Нет. Просто нет некой взаимной доверительности. Оно само по себе, я сам по себе.

Возможно, здесь какое-то онтологическое начало, сложившееся из наших отношений, некий фрейдистский комплекс. Но я вроде не боюсь воды (чур меня, чур — я как и многие рефлектирующие интеллигенты в достаточной степени суеверен) за исключением тех случаев, когда мать принималась мыть мне голову и непременно с большим количеством мыльной пены, забивающей глаза и уши. Никакие увещевания, уговоры, запугивания и даже анекдоты о предстоящем приезде тети Сары не могли примирить меня с этим адским произволом.

Первое ощущение большой воды у меня осталось с того времени, как мы семьей плыли из Дзержинска в Москву на большом санитарном транспорте по Волге, летом 1943 года после двухлетней эвакуации. Мне было тогда четыре года. В памяти остались не чайки за кормой и не волжская ширь, а запах карболки и грязных бинтов, длинные узкие проходы между палубами, красные спасательные круги с какими-то белыми надписями по бортам и как ухало и куда-то уходило сердечко, когда я со страхом всматривался в бурлящий след за кормой где-то далеко внизу. Подобные ощущения возникали у меня позже на балконе большого «генеральского» дома, куда я иногда приезжал к бабке, бездельничая после уроков. Со страхом и упоением я смотрел вниз, прокручивая в воображе-

нии картину возможного краткого безумного полета. В этом воображении было что-то ужасное и в то же время неудержимо заманчивое. Соединив полоски бумаги колечком, я пускал парашютики, которые, стремительно вращаясь, планировали на землю или залетали на близлежащие крыши. Деловые отношения с пугающей высотой снимали все страхи.

Следующий контакт с водной стихией не замедлил иметь место той же осенью в подмосковном Расторгуево, где мы тогда жили, по всей вероятности в бывшей усадьбе, потому что при доме был небольшой парк со старыми высокими деревьями и пруд. Вот около этого пруда я как-то и застыл, глядя на шквальную зыбь под пронизывающим осенним сырым ветром, сдувающим с деревьев пожухлые листья, которые покрыли уже желтым ковром всю водную поверхность. От вида этих колышущихся ярких пятнышек на темной, почти черной воде мне становилось еще зябче. Во всей картине была какая-то неизбывная грусть и безнадежность, было очевидно, что этот нутряной холод будет расти и бог знает, чем кончится. Из оцепенения меня вывел только встревоженный голос матери.

Мое изначальное утверждение не связано с боязнью утонуть или каким-либо многозначительным предсказанием вездесущей цыганки. Вовсе нет. Плавать я научился рано и совершенно самостоятельно, ибо главным моим наставником в детстве была босяцкая улица. Не скажу, что я от нее был в восторге, многое вызывало во мне тошнотворное чувство, но там была ключом настоящая жизнь, независимо от того, был ты еще несмышленный карапуз или обремененный немислимыми знаниями ветеран подворотен. Из барачных задворков тароремонтного завода, что боком притулился к Катуровскому шоссе на окраине быстро расстраивающейся послевоенной Москвы, мы плотной босоногой оравой в жаркие дни перемещались в район ближайшего засиженного водоема. Это не были Патриаршие или Лефортовские пруды, но я не помню удовольствия большего в ту пору, чем окунуться в эту переполненную клоаку, наполовину покрытую ряской, с вязким глинистым дном и, не продвигаясь, не дай бог, никуда от берега, хлопнуть в упоении ногами, перебирая в то же время руками по илистому дну, наполненному корягами, битым стек-

лом и еще черт знает чем склизким, на что лучше не смотреть. Какая-нибудь современная мать при виде своего сокровища, по большей части и единственного, погружающегося в такую антисанитарию, зашла бы в истерику, но вряд ли ее чадо во вполне благоустроенном и с водяными аттракционами бассейне испытает ту полноту детского счастья, как мы в ту пору. Но впервые я оторвался от дна уже совсем в другом месте, в станционном поселке Чур, в удмуртском захолустье, куда завез нас отец, от греха подальше, спасая от начавшейся компании травли «космополитов». У нас был свой домик, с загаженным голубями большим и темным чердаком, на котором я как-то в течение нескольких недель в тайне от всех откармливал хлебом выпавшего из гнезда горластого и прожорливого вороненка. Речка, глубиной мне по колено, текла прямо за грядами, во дворе, я ловил там на вилку пескарей, которых скармливал потом нашему сибирскому, мохнатому, черному, с белыми подпалинами на голове и хвосте, коту. Но купаться мы с ребятней ходили в другое место, возле тихого, бездонного омута. Кое-кто с криками, чтобы отогнать охватившую робость, перемахивал его саженками, ожидая ежесекундно, что в пятку вцепится хозяин, стокилограммовый сом, непременный атрибут таких мест. Но большинство держалось подальше, на песчаной отмели. Однажды, заигравшись, я вдруг почувствовал, что под руками у меня уже нет опоры и, осознав, что это значит, в отчаянии заколотил по воде руками и ногами. Через несколько страшно долгих секунд моя нога неожиданно коснулась дна — я был уже на противоположном берегу. И назад уже возвращался, не торопясь, выгребая «пособачьи», полный ощущением сделанного значительного шага — посвящение состоялось. А плавание подлинное, стилем я с восхищением наблюдал много позже, в фильме «Тарзан», и стиль не простой, а от Генри Вейсмюллера, который не мог не покорить. Мы до одури пытались его копировать в выгороженном летнем бассейне Воткинского пруда, я уже был студентом техникума и был рад, если меня брали в экипаж парусной шлюпки-восьмерки, очень модной в то время, в этом большом, раскинувшимся на несколько километров бассейне. Это было уже предчувствие моря.

А знакомство с морем произошло как-то само собой и очень уж буднично.

В то лето после летней сессии я поехал знакомиться с родителями моей жены-сокурсницы в Город у Моря. Как всякий нормальный житель континентальной России я подспудно носил в себе мечту о такой встрече. Эта несколько отвлеченная мечта подогревалась уже и вполне конкретной направленностью — как-то на загородном пикнике на даче у моего короткого приятеля с подготовительных курсов, объявилась неожиданно на столе азовская вяленая тарань и вмиг покорила мое невзыскательное сердце. Икраяная рыбка, только что доставленная самолетом, лоснилась жиром и просвечивала насквозь. Она была наполнена щедрым южным солнцем и пахла морем. Это был совершенно откровенный намек судьбы, но я его тогда не понял.

Мы с женой прибыли утреним поездом, проехали по пыльным, разморенным жаром улочкам прямо к застолью и только уже к вечеру, когда жара начала спадать, тесть повез нас на своем ухоженном «москвичке» на Верховую вдоль добротных, скроенных на века домов немецкой «Колонии», мимо обихоженных с исключительной, как в собственной квартире, украинской основательностью виноградников, и, наконец, за песчаными дюнами мелькнула полоска бирюзы. Но прежде в открытые окна ворвался и по хозяйски устроился стойкий и совершенно для меня неожиданный запах тухлых яиц. Я сначала даже не понял, что это такое, потом подумал, что так удобряют виноградники, но, наконец, тесть сообразил, что меня смущает, рассмеялся и объяснил — так пахнут лиманы, главное богатство и непреходящая привлекательность курортного города. Мечта оказалась с запашком. Так юнец, грезивший с детства кораблями, став моряком и выйдя в свое первое настоящее плавание, сразу убеждается, что море — это тяжкий труд, качка, морская болезнь, узкий душный кубрик, длительное отсутствие женщин, гнетущая атмосфера замкнутого пространства и многое, многое другое, все, кроме романтики. И все же... все же...

Я еще не знал, что около этого моря мне предстоит провести почти три десятилетия.

Привыкание к морю проходило тяжело. Моя чисто городская натура с трудом уживалась с почти деревенской размеренностью провинциальной Малороссии. Внутренняя суть того, что было берегом и ощущало себя, как берег, как граница двух столь разных стихий мне далась не сразу. Я понимал, что эта особенность проявляется в каждом движении окружающего пространства, но не мог перевести ее на язык будничных отношений. Наверное, этот язык самое свое глубинное гнездовище имел в местном фольклоре, но и он воспринимался мной как испорченный русский вперемежку с малороссийским. Не происходило погружения в среду. Каждый день я проходил по узкой кромке обрыва над плещущимися внизу волнами свои несколько километров по пути на работу. Это было время откровения. Между мной и морем не было ничего, кроме колышущегося марева. Но озарения не наступало. Иногда жара была чрезмерной, пот заливал глаза, но даже в такое время у меня не возникало нестерпимого желания спуститься вниз и погрузиться в соленую волну и я спешил домой чтобы тривиально залезть под душ. Витя Картофлицкий, внешне сильно напоминавший молодого Маслякова, шесть лет проведший в Казани, изучая математику в местном университете, будущий руководитель городского вычислительного центра, собравшего под своей крышей весь цвет местной компьютерной инженерии, смотрел в корень. Он говаривал мне: «Ты не понимаешь, это лучший город в мире». Да, Вите было здесь очень уютно, это чувствовалось в каждом его жесте, в каждом слове. Через несколько лет мне в руки попала книга ростовского писателя Сергея Званцева «Таганрогские были», в которой он утверждал, что Чехов страдал болезненной привязанностью к этому провинциальному городку и при всякой возможности туда убегал. Как-то по дороге в Ростов я специально подправил маршрут и заглянул в Таганрог, чтобы понять причину такой привязанности. Я как будто ступил на улице все того же Города у Моря. Единственное, что нарушало знакомую идиллию, был старый расхлябанный дребезжащий трамвайчик, явно чеховского возраста, который как-то странно смотрелся на тех, почти деревенских, улицах. Видимо прав

был Генри Миллер, утверждавший, что каждый в состоянии создать вокруг себя «необитаемый остров» и быть на нем счастливым, как Робинзон Крузо.

Я осваивал местные технологии, брал резиновую лодку и выходил на ней в море, запасшись полудюжиной удочек-закидушек и коробкой вонючих лиманских червей. Ловить было не интересно. Было такое ощущение, что бычки лезут на крючки даже без наживки. Они обсаживали закидушку гроздьями, только успевай снимать, за час можно было набрать с ведро. Говорят, что сейчас все совсем, совсем не так, но я еще застал то обильное время. Многие начинали общение с морем с самого раннего утра, устраивали пробежки и купания до завтрака и ухода на работу. Я тоже, удлинив свое утро, спускался иногда на Лиски, это занимало не более семи минут, но бегать как-то не хотелось, и я усаживался, прислонясь спиной к какому-нибудь баркасу и опустив ноги в лениво плещущую волну. Монотонность процесса вытесняла из головы всякое присутствие мысли. Покой был слишком совершенен, чтобы его чем-нибудь нарушать.

Как-то уже в заматерелые годы мой приятель, используя все свое влияние главного городского газовщика, раздобыл пару алюминиевых подвесных баков на соседнем аэродроме. Баки представляли собой длинные серебристые сигары из алюминия. Соединив их перекладинами и установив сверху сварной каркас, мы получили прекрасное плавсредство типа катамаран с игривым названием: «Полный пиздец». Это сооружение базировалось у знакомых на огороде в районе Средней Косы. На пике лета, на зорьке, едва небо начинало светлеть, мы отплывали на этом сооружении в поисках клева и часов через пять возвращались, нагруженные серебристой снедью. При хорошем раскладе здесь были и тарань и бычки, а иногда и добротные судачки. К тому времени женщины уже ждали нас со всей приправой для уха. Теплый спирт под горячую уху при температуре под 30, а то и под 40 погружал в нирвану. Эти летние дни были особыми, в эти дни обо мне вспоминали все родственники и близкие и дальние знакомые в разных концах тогда еще необъятной страны. И это умиляло. Будней уже не было. Они отменялись. Летние дни пред-

ставлялись одним большим многомесячным приемом, растянувшимся на весь курортный сезон, а он в Городе у Моря, слава богу, длился едва ли не полгода. Гости сменялись с калейдоскопической быстротой. Главное, было быстро их пристроить на какой-либо береговой точке.

Однажды, выйдя на «Полном Пиздеце» в море, мы пересеклись с встречной баржей, направлявшейся на Дальнюю Косу, полной людей в самой немыслимой одежде. Это снимали фильм «Остров погибших кораблей». На острове со звонким названием Дзензик, где гнездилась бесчисленная колония чаек, собрали весь обветшалый корабельный хлам и с утра до вечера вели съемки. Любопытство взяло верх, и на следующее утро я плыл на этой барже рядом с К. Райкиным, сосредоточенным и молчаливым. В этот день снимали кадры зажигательной пиратской джиги. Меня нарядили в безразмерные парусиновые штаны, и именно эти пляшущие грязноватые штаны, как бы оторвавшиеся от остального туловища и головы, я увидел при просмотре фильма спустя несколько месяцев. Непременный атрибут дальних походов и открытий — матросские клеши, отплясывающие бешенный пиратский танец, они возникали, как призрак того, что мы всегда втайне ждали от моря — наш личный «остров сокровищ», который, слившись в бесконечности с необитаемым островом Робинзона Крузо, и есть Земля Обетованная.

Обволакивающее очарование Средней Косы — Песчаный Брег с редкими посадками кустарника, плавно, но решительно уходящий в теплую, ласковую слегка соленую бирюзовую воду, которая по ночам бывает теплее воздуха, а в темные августовские ночи фосфоресцирует мириадами разлагающихся микроорганизмов, закончивших свой сезонный жизненный путь и оставляющими яркий огненный след за каждым движением рук и ног. И ночной браконьерский лов в сговоре со сторожем и его сетью, когда с одного стремительного пиратского захода вытаскивался полновесный улов серебристой, сверкающей в лунном свете, трепыхающейся в последних пароксизмах рыбы и креветок и редкие незваные свидетели из отдыхающих-полуночников, невольно разделяющие с тобой эту краткую запретную радость.

Но море всегда на чеку. Однажды я заснул на песке у кромки воды, глядя прямо на опрокинутое небо, чистое, без единого облачка, усеянное звездными блестками, словно кем-то намеренно декорированное. Жена и дочь копошились в десятке метров в освещенном проеме двери, выгоняя на ночь комаров и мошек из очередной пансионатной клетушки. Проснулся я уже глубокой ночью от какого-то странного щекотания, словно кто-то глубоко внутри перышком провел.

Краткая ночь наедине с морем была, как интимная встреча с глубоко порочной женщиной и стоила многих лет упорного выкарабкивания из хронического недуга, потребовавшего углубления во все тонкости нетрадиционной медицины. Это была хорошая школа, школа лечения духа, не тела.

Мне предстояло увидеть еще всякие разные моря, вернее берега, ибо Море — одно.

На Балтике, рукотворные пляжи Куржской косы, тянущиеся на добрую сотню километров, широкая, ровная полоса дисперсных, «поющих» песков — подпираются скосами, засаженными хвойными деревьями, которые за полторы сотни лет превратили эти насыпные дамбы в дремучий лес. Вода же здесь стылая, не приветливая, сродни суровым витязям, прокладывавшим дорогу своим боевым стругам из этих мест в Испанию и даже, скрытно, в Америку, а дно сплошь каменисто.

В Афинах море лениво ворочалось — густо синее, аквамаминое с золотом от разбегающихся по поверхности солнечных бликов, словно отвергнутый, забытый языческий бог, пережевывающий время, медленно и тягуче стекающее с холмов, от развалин Парфенона и Акрополя. Его алчный язык периодически набегал на берег, слизывая мгновения. Рядом, совершенно неожиданно и как-то очень по-домашнему примостилась полянка, сплошь усеянная знакомыми, непритязательными ромашками.

В Тель-Авиве, куда я впервые попал с группой энтузиастов сионизма, Средиземное море встретило нас привычным волнением. Мы приехали под вечер и пока разместились в гостинице на знаменитой улице Дизенгоф, наступила ночь. Но избежать визита на пляж после раскаленного дня, было не возможно. Особо отчаянные заходили в море, держась за на-

тянутые вдоль мостков канаты — иначе волны сразу сбивали с ног. Рев пенящейся воды стоял неумолчный. В кабинах для раздевания спали бездомные. Все было неожиданно и непривычно. А в Ашкелоне по пляжу разъезжала шумная молодежь на каких-то громко рычащих монстрах, поставленных на высокие, тракторные колеса. Они стремительно с гиком носились вдоль кромки воды, спугивая редкие парочки, без стеснения предающиеся любви прямо под открытым небом. Вода плескалась как расплавленный свинец, темная и пресыщенно соленая. В глубине скрывались опасные ребристые валуны — в этом месте сбрасывали суда балласт во времена Птолемеев и римских легионов.

За несколько недель до исхода из страны, я принимал гостью из Киева, официального сохнутовского функционера с ревизией. Перед отъездом она попросила показать что-нибудь запоминающееся, пригодное для камеры. У нее была машина с личным шофером и рано утром, еще не всходило солнце, я повез их на Косу. Была зима и необычно холодная, так что море местами замерзло. Но то, что мы увидели, потрясало своим величием. Солнце только-только показало свой край из-за окоема, как будто выплывало прямо из жерла, из центра безбрежного морского пространства. Оно осветило своими первыми, еще тусклыми лучами песчаный берег, по краю которого, сколько было видно, тянулись ледяные торосы, нагромождения льдин, которые сдвинула, сбросила с себя, как ненужное покрывало, норовистая вода, не привыкшая к ледяному плену. Это было незабываемо — желтый песок, сгрудившиеся на берегу льдины, достигавшие кое-где метровой высоты и неудержимо поднимающееся солнце, в лучах которого берег со всеми его земными заботами становился все меньше и меньше.

Как далека ты сегодня от меня, песчаная Бердянская Коса, столь уютная и ласковая, с таким длинным, жарким, насыщенным, пьяным летом, окруженная со всех сторон соленой морской водой, состав которой почти такой же, как состав моей собственной крови.

02.01.07

ЮАБОВИЧ

— Идеальному городу подобает состоять из красивых, подлинно архитектурных построек, в том числе и для бедняков.

— Но, в таком случае кто будет за них платить?

— Правитель, если он не хочет, чтобы его считали нищим. В идеальном городе должен быть очень богатый правитель.

Джузеппе Д'Агата

Моя умная совсем не задним умом теща всегда с удовольствием вспоминала свое первое впечатление от встречи с этим городом, как бы прикорнувшем на песчаном берегу между степью и морем, продуваемым насквозь ветрами этих двух стихий под неумолчный гул морского прибоя и соленый терпкий говорок южного украинского базара. Она тогда впервые, отряхнувшись от тяжких военных и не менее тяжких послевоенных забот, предприняла семейную длительную поездку на мотоцикле с коляской — свидетельстве начавшегося материального восхождения. Только-только закончив мединститут, с мужем, еще не оклемавшимся от жестокой контузии и двумя малолетками на руках, молодая, полная сил женщина не вынесла голодных буден родного Ростова, когда единственной пищей за столом, зачастую, на всю огромную семью был котелок каши, полученный ее тестем в качестве пайка в пожарной охране, где он служил. И отказавшись от научной карьеры, которую ей прочили, от протекции ее зятя, ставшего вскоре ректором Ростовского мединститута, уехала на годы в казацкую станицу, добровольно запрягшись в упряжку сельского участкового лекаря. А были, были задатки. И через десяток лет, уже пребывая в маститых медицинских админист-

раторах, она иногда делала уникальные пластические операции, изменяя форму носа, губ, ушей, что стало так сейчас популярно, а тогда воспринималось, как чудо, способное изменить капризную человеческую судьбу. Ее врожденный такт, умение легко сходиться с людьми, держа, одновременно, дистанцию, не допускающую даже мысли о панибратстве, сломили, в конечном счете, лед отчуждения — жить рядом с казаками оказалось вовсе не просто — и в дом пришел достаток. Люди расплачивались за ее необычную для села квалификацию натурой — яйцами, медом, свиными окороками, куриными тушками, о чем в Ростове они и мечтать не могли. Но через несколько лет станичные границы показались ей узки, купленный по случаю и ухоженный сноровистыми руками мужа, работавшего до войны шофером, мотоцикл породил желания и они, очертя голову, понеслись на нем к морю. Их открытый всем ветрам экипаж проскочил, не задерживаясь, загазованный металлургами Мариуполь и через какой-то час уже въезжал в Бердянск.

Подъехав к длинному, колдобистому спуску с Горы в Город, они с удивлением остановились прямо напротив городского кладбища, заросшего пышными кустами сирени и акций. Навстречу им медленно тащилась телега, наполненная рыбой, сверкающей на солнце разноцветной, перламутровой чешуей. Улов был свежий и еще продолжал время от времени вспучиваться выгнутыми темными спинками. Самая большая не помещалась на телеге, и хвост ее тяжело волочился по земле. Но главное, что никого больше эта идиллическая картина не трогала, а значит, была привычна. Это так поразило вчерашних ростовских голодальцев, что они не сговариваясь, про себя решили — вот место, где люди никогда не будут знать истинную цену куску хлеба. Место это им показалось заповедным, и остались они в этом убеждении навсегда. И оттуда уже больше никуда не двигались, разве что в отпуск. Мне это всегда казалось мифом, придуманным для собственных детей, проявлявших в молодости стремление поскорей покинуть провинциальную глушь и каждый раз с какой-то фатальной неизбежностью возвращавшихся обратно. Я лично таких телег

не встречал. Видимо, опоздал. Не случайно в конце 70-х Институт Черного и Азовского Морей в Ростове был переименован в институт Индийского Океана. Но это не значило, что туда, на чужой юг сразу направились вереницы алчных рыболовецких шхун из приазовских совхозов. Совсем даже наоборот. О, этот великолепный византийский стиль, так легко и с некоторой небрежностью усвоенный еще со времен Киевской Руси, когда истинный смысл нужно читать между строк. Для тех, кто был в курсе дела, так прозвучал приговор обреченному водоему, до войны считавшемуся сказочно богатым, где с гектара снимали рыбный урожай в десяток раз больше, чем где-либо еще на морях и океанах. Теперь на светофоре зажегся мигающий желтый свет, призывающий не зевать, пока не поздно.

Зато я наблюдал возрождение неисчерпаемых богатств другой стихии Древней Таврии. В те годы, насыщенные тревожным ожиданием перемен, власти, проявив неожиданную прозорливость, наделили всех желающих вождеденными шестью сотками (интересно, кто придумал такую норму, мой прадед, например, когда решил разжиться землей, прикупил порядка 40 гектаров, видно люди тогда были иных масштабов), которые очень скоро для многих и многих буквально стали последним аргументом в борьбе за выживание. Мне достался тогда кусочек степной земли в 20-ти километрах от города, сплошь заросший бурьяном, поднявшимся в человеческий рост рядом с узенькой, в три шага, речушкой с жесткой водой, мало пригодной даже для полива. Кругом под ногами валялись вывороченные с корнем, древовидные, в руку толщиной стволы подсолнечника с малюсенькими, дистрофическими, выродившимися головками, совершенно истощившие почву, много лет не знавшую отдыха. Земля спеклась в буре, как будто цементированные глыбы, которые впору было разбивать отбойным молотком. Я стоял в одиночестве, не зная, как к этому подступиться, предстоящий труд казался огромным и бессмысленным.

Как удивился бы посторонний человек, оказавшийся на этих делянках годика, эдак, через два. Ухоженная неумными руками вчерашних выходцев из окрестных сел — украинских,

русских, болгарских, греческих — земля воздавала сторицею. Эти сёла, ожерельем рассыпанные по степи вокруг Города и были настоящими, не бутафорскими потемкинскими деревнями, созданными переселенцами на землях, оттяпанных у Оттоманской Империи удачливыми екатерининскими генералами, среди которых и генералиссимус Суворов. Остатки ногайской Орды, кочевавшей по ковыльному бездорожью Приазовья и охотившейся на бесчисленную живность в плавнях мелководной Берды, около устья которой и заложили Город, окончательно рассеялись уже в советское время.

Впрочем и заезжая, по-преимуществу, интеллигенция, знакомая с сельским трудом разве только по ежегодным бесплатным выездам на дармовую прополку в колхоз проявляла завидную и неожиданную прыть. Вскоре микрохуторки покрыли все видимое пространство. Как грибы после дождя вырастали хатки, домики и хоромы. Возрожденная к жизни, любовно перелопаченная, удобренная земля оказалась лучшим в мире черноземом. Темно-бурая, обнажающая в каждом вывороченном лопатой ломте расползающихся жирных дождевых червей, лоснящаяся, разъезжающаяся на гранулы — ее хотелось мазать на хлеб и есть. Культурный слой почвы здесь достигал невиданной толщины — чуть не пол метра. Говаривали, что во время войны практичные и завистливые немцы вынашивали несбыточные планы вывезти весь этот чернозем в обделенную таким божественным вниманием Германию, вместе с удивительным, нигде более не произрастающим местным сортом мускатного белого винограда с романтическим названием «Березка». По этому поводу в городских архивах хранится запись, свидетельствующая о личной заинтересованности главного бандфюрера — Гитлера. Этими землями интересовался и ошельмованный в памяти людей Трофим Лысенко. Видно не по Сеньке оказалась ему шапка академика, а мужик был хваткий и практику земли понимал. До войны в этих местах картошка числилась в деликатесах и была гораздо дороже яблок из-за сухого, без дождей лета. Чужие сорта здесь упорно не приживались и вырождались за один сезон. Трофим Денисович экспериментировал несколько лет и

предложил решение, которое умельцы до сих пор эффективно используют — сажать корнеплоды очень рано весной в еще холодную, но обильную влагой почву и собирать незначительный, но очень нужный урожай в июне (так называемая и хорошо известная местным жителям «июнька»), ее же сразу высаживать и получать второй, богатый, полновесный приплод поздней осенью, попадающей в период созревания на самый сезон дождей. Такой вот гонитель продвинутых морганистов. Кстати те, оправившись после преследований, принялись травить своих бывших оппонентов с не меньшей изобретательностью и злобой. И, как свидетельство тому, упоминание об этих работах опального агронома я нашел только в брошюрке, выпущенной еще до войны.

Впрочем, рыбным изобилием и я, нельзя сказать, чтобы был так уж обделен. А однажды даже оказался в сходных обстоятельствах и, странным образом, в районе того же Спуска. Тогда довольно уже поздним осенним вечером позвонила сослуживица моей жены и предложила по очень сходной цене красную рыбу (красной, как и повсеместно в России у нас называли рыбу осетровых пород, запрещенную к лову). Правда тут же с завидной прямоотой она заявила, что на одного здесь будет многовато, а надо забрать непременно все. Я тогда еще не понимал, в чем дело, но на всякий случай подписал своего приятеля, тот был заядлый рыбоед и рыболов. Только приехав на велосипеде по указанному адресу, я понял, во что вляпался, но отступать уже было «западло». Передо мной лежала огромная, рыбина, длиной чуть не в полтора метра, едва прикрытая ветошью, как оказалось, молодая белуга. Весы показали больше 20 килограмм. Для белуги, которая в Азовском море нагуливает аж до 400 кг, это было пустяком. Но я такой огромной морской твари еще не видывал. Невольно вспомнился хемингуэевский «Старик и море». Хуже было то, что здесь наличествовал очевидный криминал. Вот-вот должны были нагрянуть с обыском. Информация, как это часто бывает, работала на обе стороны. Счет шел уже на минуты. Я кое-как взвалил необычную добычу на багажник, закрепил, как мог и закрытил педалями. По дороге меня разобрал жуткий смех, я как

раз пересекал спуск в том же самом месте, о котором рассказывала теща, — товарищ жил в частном доме, точно напротив кладбища — и хвост, выпроставшись из креплений, волочился по земле. В доме заранее предприняли все меры маскировки и затемнения — плотно зашторили окна и притушили свет. Рыбину поместил на полу белым брюхом кверху. Разложенная в длину, в небольшой горнице, она производила прямо-таки чудовищное впечатление. Приятель острым ножом сделал в центре крестообразный надрез — и произошло чудо — изнутри неудержимо полезло что-то абсолютно черное, перемешанное со слизью. Я еще никогда, ни до, ни после, не видел такого невероятного количества черной икры. Ее набралось тогда около 5 кг. Но технологию превращения сплошь укутанной пленкой белужьей икры в продукт, пригодный для употребления не знали ни я, ни мой, хоть и уроженец этих мест, рыболов приятель. Пришлось интересоваться у знатоков и какие-то волны разошлись. Много бы дала та тетка-сослуживица за эту информацию тогда, несколько десятилетий назад. Она поняла, что в панике сильно продешевила, и пару раз звонила, интересовалась, но мы молчали — риск оказался на самом деле несравненно больше. А сын мой еще долго после этого убежал из-за стола, едва завидев «черное пюре» — картошку, заправленную натуральной паюсной икрой.

Этот спуск с Горы, на которой расположились основные предприятия Города, как сказали бы на развитом Западе — «промзона», вообще примечателен и его превращения определяют некие вехи в жизни горожан. Там, на самом склоне еще в конце 60-х стоял известный всему городу ларек. Уж очень у него была удобная дислокация, Туда скатывался весь транспорт из промзоны, с трассы Москва — Симферополь, из соседнего Запорожья, Донецка, сонмы автомобильных «дикарей» со всего Союза, жаждающие беззаботного, хмельного отдыха, мимо него возвращался народ после рабочей смены. Хозяйкой ларька состояла приземистая, белобрысая баба очень уж российской наружности и манер — дочь мордовских лесов, бог знает какими ветрами занесенная в приазовскую степь. В ларьке гнездилась разная мелкая снедь, но главным ходо-

вым товаром, завлекалочкой служило простое виноградное вино местного разлива по 18 коп. за стакан. Но еще больше, чем вино любопытный люд привлекал партнер ларечницы, часто замещавший ее на рабочем месте, бухарский еврей Михаил Юабович, простым народом просто и бесхитростно прозываемый Ебовичем, личность колоритная и примечательная. Как многие евреи из низов, он источал многозначительную меланхолию и склонность к мелкой житейской философии, не забывая наполнять стаканы — контроль со стороны хозяйки был жесткий. На все запросы в отношении закуски Ебович неизменно глубокомысленно изрекал: «Пей, пей, там все есть» — вера его в это была неколебима... Впрочем, не только в это. Дом их находился прямо напротив ларька, там, где начинался пользующийся недоброй браконьерской славой район Лисок. С ними в доме проживала девушка Лена Яковлева, дочь ларечницы, уже закончившая учебу в институте и влившаяся в дружный заводской коллектив, где работала и моя жена. Поэтому в этот, оказавшийся гостеприимным, дом мы иногда заходили. Хозяин любил гостей, особенно молодежь, которую так легко было «развести» на умные разговоры. Слегка приняв на грудь, он непременно извлекал на свет старенькую радиолу и такие же ветхие, заезженные пластинки с заунывными, однообразными для нечуткого европейского уха мелодиями. Подняв руки и закатив глаза, он начинал подпевать и медленно, словно в трансе, перемещаться, плавно раскачиваясь. Во время праздников к радиоле и пластинкам добавлялся ритуальный, синий, бостоновый пиджак с рядами орденов и медалей. Это были отнюдь не бутафорские побрякушки, выдаваемые ветеранам к определенным датам, а настоящие боевые награды в несколько этажей — в том числе ордена Красного Знамени и Отечественной Войны. Так что пиджак этот казался мне боевой кольчугой, и нужно было иметь честные мужские руки, чтобы позволять себе к нему прикасаться. Михаил Юабович во время войны служил в полковой разведке в звании старшего лейтенанта. Иногда к нему в гости приезжал его брат, полковник милиции из Душанбе. Тогда во дворе сооружался дастрахан с разбросанными по не-

му подушками, и двор превращался в кусочек Средней Азии. Но утреннюю молитву они неизменно совершали вдвоем, как иудеи. Соседи и прохожие недоуменно заглядывали через забор — в городе единственную синагогу сожгли во время войны, это было одно из немногих пострадавших зданий, а оставшихся евреев, числом около девятисот, всех, кого выловили оккупанты — румыны или сдали добрые соседи, расстреляли в Мерликовой балке. Возможно, они были тогда едва ли не единственными реликтовыми евреями в этом городе, имевшими понятие о том, как одеть талес и прочитать молитву.

В середине 70-х примечательный ларек вместе с привычным глазу неухоженным Спуском исчезли. В город как-то проездом заглянул всеильный в то время украинский партийный вождь Шелест. Но ошарашенный видом серых однообразных бетонных застроек нагорной части, которыми преимущественно и прирастал в последние годы этот курортный полис, он доехал только до Спуска, развернулся и велел погонять обратно, бросив историческую фразу: «Засрала такую жемчужину». Чуть не на следующий день начались работы, длившиеся много месяцев и окончательно лишившие город его патриархального своеобразия, выстелив дорогу бетонными плитами и возведя сбоку аляповатый, невыразительный, зато столь расплодившийся монумент Воинской Славы и Вечный огонь в пятиконечной звезде. Вместе с ларьком вскоре исчез и Михаил Юабович. Они вернулись в Душанбе, прихватив с собой и девушку Лену Яковлеву. Несколько лет она еще писала оттуда грустные письма и поздравления.

КАК Я НЕ СТАЛ МИЛЛИОНЕРОМ

— Ты счастливый человек, ты всю жизнь занимался любимым делом — говорит мне иногда жена.

Я легко соглашаюсь, но думаю с грустью про себя, что в густой траве моего «зеленого луга, по которому ходят женщины и кони» водятся ядовитые змеи.

— Ты счастливчик, ты единственный из нас занимаешься настоящим делом, — услышал я у костра в Высоких Карпатах, куда забрались мы с бывшими сокурсниками через 15 лет после окончания института и где каждый рассказывал откровенно, чего он достиг. Я не возражал. Им виднее.

Они — это мои соученики, сотрапезники, сожительники, сомученики. Они остались, по большей части, во Львове, городе, в котором до сих пор сохранился средневековый школярский дух и к которому я прикипел всем сердцем, глубинной сущностью (только через 40 лет я узнал, что отсюда, со Львовщины, почти 200 лет назад безусым мальчишкой ушел мой предок на Русь, чтобы попасть там в кантонисты, а потом на 25 лет в солдатчину).

Они не стали выдающимися лидерами нэньки Украины, но среди них был уже и Главный Конструктор знаменитого Автобусного завода и маститый партийный функционер и крутой администратор с Николаевского Судостроительного, но, по большому счету, все это были добротные специалисты-электронщики, трудяги, кое-кто не раз побывал уже на пусках в Байконуре.

В нашей группе я шел номером первым и, тем не менее, неожиданно для всех, окопался в глубинке, в провинциальном городке, в Тмутаракани. Вынужденное по началу сидельство превратилось в осознанную и добровольную ссылку. Но у меня была своя Лаборатория, были абсолютно развязаны руки в

выборе тем, было не очень доброжелательное, но полное доверие руководства и, как следствие, все ресурсы крупного, очень крупного по европейским меркам предприятия. Мне нечего было выложить на стол в качестве «успеха», кроме дюжины осуществленных, доведенных «до кассы» заветных задумок, защищенных Авторскими свидетельствами. Я не был уверен в соответствии эпитета — «счастливчик» — меня всегда сопровождало ощущение, что я хожу по лезвию бритвы, но менять в своей жизни я ничего бы не захотел.

Среди разнообразных чувств и страстей, овладевавших мною в разное время, я не припомню горячего намерения стать по-настоящему богатым человеком. Из моих наивных детских желаний два были наиболее постоянны и знаковы. Я хотел быть одновременно и летчиком и лихим наездником. Прочие, менее значительные облетали постепенно, как палая листва (естественная и ранняя тяга к противоположному полу — не в счет). Но эти держались прочно, грозя превратиться в жизненную программу. Мечта подержать штурвал настоящего самолета и, непременно, истребителя отпала сама собой на выходе из отрочества в результате дикой, зубодробительной драки, навсегда подпортившей мне зрение. Что же касается второго глубинного вожделения, то оно как-то завяло, когда появились и так стремительно размножились чешские «Явы», сверкающие хромом, красным лаком и голыми коленками умопомрачительных герлиц. Но окончательно оно умерло при очередном выезде на полевые работы, когда колхозному бригадиру неожиданно понадобилась какая-то мелочь на центральной усадьбе и, не мудрствуя лукаво, он выпряг из телеги одра совершенно неопределенной масти, помог мне на него взобраться и на мой недоуменный вопрос относительно уздечки (об остальном я еще не догадывался) привязал с левой стороны к удилам обрывок какой-то веревки и всунул мне в руку хворостину, чтобы направлять, если понадобится, вправо. Не понадобилось. Ни одного, ни другого. Явный потомок Росинанта хорошо знал дорогу сам и понес меня галопом прямо на конюшню, оказавшуюся на приличном удалении от правления. Эта дорога, исчезающе ничтожная, если измерять

ее в парсеках, показалась мне бесконечно длинной во времени. Я проклинал того придурочного гомоида, которому первому пришло в голову прокатиться на лошадином хребте. Легче было скакать на комод, поставив его на ребро. Пару дней я еще ходил потом, выкручивая ноги бубликом, и чистил во все корки чертову казацко-ковбойскую романтику.

Странно, но я действительно никогда даже не мечтал стать миллионером. Может быть, это синдром не очень обеспеченного, военного детства и вечно тощей юности. В потрясающем своим натурализмом диалоге между Шурой Балагановым и Остапом Бендером мне понятней, скорей, позиция Балаганова. Это только на первый взгляд любой знает, что делать с деньгами. Смотря ведь, что под этим подразумевать. Как-то в поезде, на перегоне Запорожье — Киев я оказался в одном купе с таким бедолагой, который не имел представления об этой проблеме. Его тетка, вполне зажиточная дама из перемещенных лиц скончалась в одночасье в Швейцарии где-то в середине 70-х, как раз на пике застоя, оставив своему незадачливому племяннику из Полог довольно солидную сумму. Здоровенный сельский мужик, годов 30, одуревший от свалившейся на него напасти и запуганный до полусмерти советскими органами, согласился на выплату ему ежемесячной ренты в размере что-то около 1000 рублей, бросил работу и начал курсировать в поезде из Полог в Киев и обратно. Он покупал вино, обычно дешевенькую, пузатую, плетеную, 2-х литровую бутылку болгарской «Гамзы» (все-таки давила жаба, давила...), легкую, нехитрую привокзальную снедь и угощал всех желающих выпить на халяву и выслушать его страшную историю. Это его монотонное, как маятник, непрерывное движение продолжалось уже несколько месяцев, и конца-края ему не было, ибо рента, похоже была обеспечена пожизненно. Желающих, кстати, присоединиться было, на удивление, ничтожно мало — то, что произошло в поезде с Бендером на закате НЭПа, повторялось у меня на глазах в виде фарса через 50 лет. Оказывается, большими деньгами нужно еще уметь распорядиться. И к этому нужен несомненный талант. Кстати, сам Великий Комбинатор таким талантом явно не обладал.

Оттого-то и убеждал себя, что сможет по-настоящему развернуться лишь в мифическом Рио-де-Жанейро.

Сколько наших отечественных нуворишей вскоре оказались в таком положении — не счесть. Кто-то подумает, что я, как и большинство прочих в те времена, никогда не держал в руках одновременно более двух-трех сотен отечественных деревянных. И ошибется.

Расплата за первое же крупное «внедрение» (каково выражение! — от него за версту несет агрессивностью и заговором) наступила неожиданно и неотвратимо.

С какими-то загадочными интонациями нас тогда вместе с моим незабвенным соавтором Васей Верижниковым вызвали в бухгалтерию. Там, ни слова не говоря, буквально задохнулись в пустую комнату рядом с кассой и приказали ждать. Потом появилась кассирша, заперла изнутри дверь и нервно начала отстегивать нам необычно крупную сумму. Чувствовалось, что в одни руки таких денег она никогда не выдавала. Она по несколько раз пересчитывала пачки, наконец перед каждым вывалила груды ассигнаций, как-то неодобрительно-молчаливо «отобрала» подписи в ведомости, хмыкнула и исчезла. Сказать, что мы к такому обороту были совершенно не готовы, это значит не сказать ничего. Каждый держал в руках более, чем годовую зарплату и не знал, что со всем этим делать. У нас и сумки-то какой-никакой с собой не было, никто даже и не озаботился. Наконец, справившись со ступором, начали запихивать пачки за рубашку, за майку, на голое тело. Уйти просто вот так домой со всем этим добром я как-то себе позволить не мог, нужно было слегка привыкнуть. Вася же, как сторона здравомыслящая и критическая в нашем тандеме, именно такой вариант и считал единственно верным и быстро смотался, отказавшись от любых торжеств, пока не снесет добычу к себе в норку. Вася есть Вася. А я, не долго думая, зазвал в свой кабинетик военпреда Юру Боброва (внедрение как раз было в его компетенции) и мы с ним квасили казенный спирт, закусывая рукавом, до позднего вечера, после чего я, отказавшись от эскорта, и напевая что-то под нос, поплелся домой, набитый пачками с «капустой», как азовский бычок

икрой, по буеракам, по кочкам, вдоль забора солидолового завода. Мне и в голову не приходило, что, если в тот день кто-то и поджидает меня с кистенем, то уж как раз в этих, заросших бурьяном потемках, как будто специально приспособленных для таких нехороших дел.

Но даже такие солидные «бабки» не идут ни в какое сравнение с тем, что может называться Деньгами с большой буквы. И когда такой шанс вдруг забрезжил перед глазами, ничего, кроме любопытства и охотничьего азарта я не испытал.

Все началось с длинного ночного разговора по телефону с сестрой. Мой племянник, такой же лобастый и круглоглазый, как сестра и такой же неразборчивый пожиратель книг, как я сам, похоже, уже вырос. Еще пару лет назад этот непризнанный чемпион Уральского Политехнического Института по преферансу находил свое Эльдorado здесь, на берегу Азовского моря, среди безмятежных курортников. Невысокого роста, хрупкий, как подросток и до неприличия общительный, он вызывал у местных поклонников этого чисто мужского вида спорта только снисходительные улыбки, когда делал вроде бы робкие попытки затесаться в уже сложившуюся, солидную компанию. Хуже было потом, если они пропускали внедрение потенциального лоха в их мастерский круг. Их оплошность выяснялась обычно очень быстро. Поэтому племянничек барражировал вдоль курортного побережья, забираясь от греха подальше даже на дальнюю косу, пока не нарвался на местного шулера, и по совместительству сексота, по кличке «Бес». Когда он понял, что крупно влетел, было уже поздно, за спиной азартно дышали в затылок темные личности с хищным и недвусмысленным выражением на порочных лицах. Невероятным кулбитом ему как-то удалось тогда перевести игру на своего случайного партнера, тоже студента на приработках, въехавшего в ситуацию на пару минут позже, и избежать полного разорения и даже вполне возможного увечья, но домой он пришел в тот день необычайно поздно, какой-то весь бледный, напуганный и к картам в тот сезон больше не прикасался. Возможно, в его рассказе отсутствовали некие существенные, нелицеприятные моменты. И вот теперь, после

окончания института, он отказался тянуть ляжку сменного инженера, а вырыл окоп, конечно, не без помощи связей своей многомудрой мамочки, в окружении ближайшего помощника Росселя, тоже немца, имеющего доступ к бездонным ресурсам Среднего Урала.

Шли 90-е, самый разгар передела собственности.

Поначалу я просто намеревался помочь родному предприятию, где еще недавно добывали свой хлеб насущный около 6000 человек. Я знал, отчего стоит производство — не было медной «катанки», толстой, в палец толщиной проволоки, свернутой в громоздкие, отливающие тусклым красным светом бухты, из которой изготавливают проводники для кабеля. Государство прекратило выполнять свои функции, а потом еще и разделилось. Украина меди практически не имела. Теперь кабель заказывали, как у портного — из материала заказчика. А на Урале меди было выше крыши.

Но первый же поход в отдел снабжения разочаровал. Еще недавно здесь хозяйствовал Сеня, бывший директорский водила, поднявшийся наверх исключительно благодаря своей неумной, врожденной предприимчивости и проницательности. Для окружающих он как-то был неотделим от своего новенького «Москвича» комби, на котором по надобности забирался в самые глухие уголки Украины. За рулем Сеня неожиданно проявлял замашки заядлого гонщика. Ездить с ним по городу было страшно. Он признавал только одну полосу движения — встречную и при этом цедил свозь зубы: «Терпеть не могу видеть впереди себя чужой багажник». Надо полагать, у него с ГАИ были оч-чень доверительные отношения. Впрочем, у меня с ним тоже. Сеня даже как-то презентовал мне свой собственный, кровный наряд на кирпич для дачи, что само по себе говорило о многом. Но теперь все изменилось. Передо мной открылась бездна. Хлопцы мышей не ловили. Они там здорово устроились. В цехах стояла гулкая, кладбищенская тишина. Только по углам кое-что крутилось и кое-куда капало. А здесь было людей набито, как сельдей в бочке. Суетливая деловитость напоминала скорее кагал, чем украинский майдан, что было бы уместней. Здесь не работали, здесь делали бизнес,

бабки. Теперь снабжением по взаимному согласию занималась частная фирма. Выменяв медь по бартеру, она вовсе не спешила передать ее на завод в производство. Вокруг завода расплодилось туча семейных ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью), кровно повязанных с администрацией. Как в средневековье там практиковались даже династические браки. Добытый материал начинал перелетать из одной фирмы в другую, непрерывно трансформируясь, вырастая в цене раз в пять-шесть, пока не шлепнется на заводской склад. Здесь помогать уже никому было не надо, надо было подумать о себе.

Поразмыслив над открывшимися перспективами, я сделал единственно возможный вывод: нужно извлечь из Росселевских заводов несколько вагонов «катанки» и обойти алчных прилипал. По всему выходило, что этого добра там хватит еще лет на сто, цена вполне приемлемая и в нее уже входят требуемые комиссионные, племянник вполне должен справиться, но как использовать буквально свалившийся на голову шанс?

Я прикинул свои ограниченные возможности и решил посвятить в дело Шустрика. Этот парень когда-то попал на завод по распределению, после окончания института на Северном Урале и был фигурой в этих местах необычной, своеобразной, я покровительствовал молодому специалисту на первых шагах, отметив неординарную ретивость и поспешность, с какой тот стремился себя проявить, явно не довольствуясь одним только исполнением обязанностей, и с интересом и любопытством консультировал того при оформлении первых заявок на изобретения.

В конце концов парень дорос до Главного технолога, но неожиданно для всех, очевидно во время уловив, куда поворачивает страна, ушел в Институт, там через два года защитился и вернулся на завод уже в роли директора-учредителя частной лавочки, где соучредителями оказалась все та же заводская головка с очень неуклюжим намерением присвоить предприятие. Это было нелегко, потому что на завод уже целилась солидная и богатая немецкая фирма и шла нелегкая подковерная возня с накоплением капитала и с желанием не-

медленно прожить наворованное. Несмотря на остепененность и добротную инженерную подготовку, Шустрик в делах сильно напоминал молодых купчиков из «Жесточкого романа» — своей прижимистостью, хваткой, циничной беспринципностью, граничащей с жестокостью, интеллигентностью здесь и не пахло, но национальный колорит присутствовал, причем вовсе не южно-русского свойства и он как-то чувствовал свою нерастворимость в местном ландшафте и, возможно, потому мы находили точки соприкосновения.

Шустрик идею просек сразу и тут же подвел под нее практический фундамент, начисто отвергая возможность любого сотрудничества с родным коллективом, а, напротив, сохраняя режим полной конспирации. Он как раз собирался в командировку на кабельный завод в Комсомольск-на-Амуре и там это все взялся проверить. Состав дернулся всеми сочленениями и начал набирать скорость. Шустрик появился через неделю и положил на стол оформленный договор. С той стороны соглашение подписал их Главный Специалист. Первая партия составляла три вагона катанки. Предоплата гарантировалась немедленно, достаточно было подтвердить хотя бы по факсу, что отправитель этот заказ принял.

Комиссионные, т.е. моя с Шустриком доля, составляла 10 миллионов. Нужно было только указать счет и адрес. Это тоже обсуждалось заранее. Счет открывали в Рязани. Туда, к родителям с год назад уехала и увезла двух своих детей после неприятного бракоразводного процесса наша короткая приятельница Наташа.

Наташа была технологом и соседкой по дачному участку, очень компанейской, общительной, заводной, она не редко сживала в моем кабинетике, у нее любили собираться дома, дом был хлебосольный, открытый. На заводе у нее хватало и доброжелателей и поклонников. Тем более что семья казалась самой что ни на есть благополучной. Муж ее, былинного вида молодец, дослужился уже до главного энергетика и оставлял о себе впечатление ничем не омраченное. Гром грянул среди ясного неба, когда внезапно обнаружилась 18-летняя пассия. Муж выказал строптивый характер бунтаря и диссидента, не

задумываясь, пожертвовал карьерой и ушел на другое производство, чуть не рядовым инженером, оставив жене все нажитое, квартиру и детей. Он тоже сживал здесь, в кабинетике, заставляя задумываться о превратностях судьбы и безотнотительной ценности нравственных установок. Несмотря на всеобщую симпатию и сочувствие, Наташе роль покинутой жены показалась нестерпимой и, несмотря на уговоры, на внимание и помощь со стороны свекрови и свекра, она не осталась и уже заново обжилась в своем родном городе, где мы и надумали пристроить будущий Капитал.

Теперь оставалось только ждать. В пятницу, с утра Главному в Комсомольске предстояло позвонить по заветному телефону в Свердловск и все должно было прийти в движение. Два дня прошло как в лихорадке, уже ощущался хруст новеньких купюр, мерещились томные блюзы южных ночей и звук вращающейся рулетки. Но утро понедельника принесло разочарование. В пятницу из Комсомольска со Свердловском соединиться не удалось, в субботу Главный засел прямо на городском узле связи, но связи не было. В понедельник связь восстановилась, но медь в спешке уже ушла по другому адресу — ждали перемен. А к середине недели цены уже были совершенно иные. Объяснения произошедшему я так и не нашел. Это была одна из бурь, предшествующих великому половодью 98-го года, получившему имя «Русский дефолт», что означает несостоятельность.

У меня все-таки оставалось подозрение, что тут не черт прокрутил, не случайность это. Но здесь был заложен первый кирпич предстоящей эмиграции и я никогда не жалел сильно, что тогда сорвалось, может быть как раз ангел жизни прошлелестел крылом, ибо на деньги эти планировалось потом приобрести в том же Комсомольске партию японских внедорожников через Китай. А вот этого никакая крыша на месте бы не прошляпила, как я потом отчетливо понял, когда при отъезде моего друга в Израиль, того предварительно выпотрошили до подштанников, оставив в качестве утешительного приза только близкую его сердцу библиотеку.

ПАНТАГРЮЭЛЛА ИЗ-ПОД ПОЛТАВЫ

Чудесная эта вещь для автовладельца — объездные дороги. Помаячат слева или справа кургузые, незамысловатые силуэты провинциальных украинских «хмарочесов», меченых оспой времени, да заводские трубы с бесстыдными шлейфами ядовитого дыма, грязными кляксами пятнающими буколическую панораму, и снова во все стороны разляжется слегка холмистая степь. Здесь когда-то под напором ветра, набегающего со стороны Черного и Азовского морей колыхалось зеленое безбрежье ковыля, шли обозы с рыбой и солью, а в смутные времена сторожко пробирались местного разлива «лыцари», перепоясанные кривыми, на азиатский манер, мечами.

Но теперь все пространство, словно на гигантской карте, расписано разноцветными прямоугольниками и квадратами полей, отграниченных пунктирами лесопосадок, чаще всего из пирамидальных тополей, которые очень неприхотливы, радуют глаз своей естественной природной стройностью и, что немаловажно, по-южному быстро созревают. Правда, и быстро, лет в двадцать, стареют да еще на излете весны каждый год заполняют все округ неистребимым тополиным пухом, давая простор поэтическим версификациям, повод для ворчания славящимся своей исключительной чистоплотностью местным домохозяйкам и пищу для ума философам, видящим во всем этом многозначительную победу текущего момента над вечным и устойчивым.

Но Полтаву мы не объезжали. Путь наш лежал через Киев на Черниговщину, в затишной районный центр на берегу Припяти, славящийся своими богатыми россыпями ягодных мест. Теща моя ежегодно отправлялась туда в сопровождении мужа, чтобы, как она выражалась, очистить душу и тело от скверны. Механизм очистки был прост, завлекателен и аппетитен. Они снимали угол и находили поставщиков двух глав-

ных ингредиентов: лесной земляники ведрами и свежей, от домашнего сепаратора, сметаны. Этой восхитительной смесью, так знакомой мне с подмосковного детства, но современному исключающей какие — либо присадки, как то: хлеб, мясо и т. п., они питались в течение месяца, после чего ехали заполировать все минеральными водами на Кавказское побережье в Очамчиру. Тесть несколько переутомился от всех этих энергичных ежегодных процедур, имеющих целью достичь безоблачного долголетия, и я взялся в очередной раз оттранспортировать их в заветные места и заодно обкатать недавно приобретенную «Волгу».

Мы еще не знали, что эта поездка будет последней, что, как говорится, «Аннушка уже разлила масло», что вот-вот гряхнет нуклеидом Чернобыль, превратив земляничные поляны в Сталкерскую Зону, в заповедник мутантов с кирпичом на въезде на ближайшие три сотни лет.

Полтавская остановка планировалась как долг вежливости. Уж очень приглашала навестить ее по пути давняя знакомая моей тещи, Мария Степановна. Она регулярно приезжала на грязи в наш курортный городок.

Не из страсти к безмятежному отдыху под жарким солнцем на рассыпчатых желтых песчаных пляжах, а по нужде. Теща не раз поминала эту свою постоянную пациентку, мучимую несносными болями в суставах рук, которая, после бесчисленных консультаций и экспериментов, стала ей доброй приятельницей. Причиной недуга полагали мясную пищу, от которой та категорически и решительно не соглашалась отказываться. Но истинный масштаб катастрофы мы уяснили себе только на месте, увидев причину такого зядлого упорства.

Приехали мы под вечер, когда на небосклоне высветились уже мириады звезд под присмотром серебряного слитка ущербной луны и, недолго поплутав по пустынным улочкам пригорода, уперлись в тын, украшенный дырjавыми глечиками, архитектура которого неизменна со времен ярмарки в Сорочинцах, да и оттуда, возможно, тянется в непроглядную глубь времен.

Приняли нас чрезвычайно приветливо, как принимают в украинском доме уважаемых, заможных персон.

Мария Степановна оказалась женщиной средних лет, внешне ничем не примечательной, возможно, несколько увеличенных габаритов, что не сразу бросалось в глаза, поскольку для этих мест полновесная зрелость форм Солохи более привычна глазу, чем нарочитая, быстро исчезающая, недолговечная художность какой-нибудь юной, очаровательной Ганночки.

Ее крупно вылепленные, монументальные черты, тем не менее, выдавали породу, особенно густые, сросшиеся на переносице, почти брежневские брови.

Впрочем, все эти мелкие особенности как-то быстро стусевались, мы видели просто одинокую, но очень живую, брызжущую житейским юмором ее бесчисленных историй женщину, привыкшую самостоятельно решать свои, как выяснилось, немалые и необычные проблемы, утяжеленные быстрым взрослением ее единственного, недавно отслужившего армию, сына.

Несколько бьющая в глаза порода была ее главной проблемой. Она выросла в семье потомственных силачей, отличающихся совершенно незаурядной физической мощью. Всего лишь поколение тому они жили бок о бок с семьей Поддубных. Да, да, тех самых, что подарили России одного из самых знаменитых атлетов за всю ее историю. Ее двоюродные деды и дядья легко гнули пальцами пятаки, играючись, могли завязать узлом кочергу, вынести на плечах из миргородской лужи телегу, доверху груженую зерном, или вытащить руками корову, свалившуюся в колодезный сруб. Они запросто тягались с Иваном Поддубным силой, а его увлечение цирком считали городской блажью, меркантильностью, сродни фольклорной жидовской тяге к мелкому торгашеству и мошенничеству.

Она рассказывала, что женщин в ее роду эта физическая мощь как-то обходила стороной. Но вот ей досталась полной мерой, и силы она была поистине непомерной, чем всегда стеснялась перед мужчинами и крайне тяготилась, ибо эта сила, как дракон, требовала ежедневных жертв. Пусть не невинных девушек, но баранов, гусей, кур — уж точно. Всего, что бляело, мычало, хрюкало, кукарекало.

Мария Степановна, чтобы как-то ублажить ненасытного дракона, поселившегося в ее утробе, устроилась работать в

пельменную, кассиром. Слава богу, напротив пельменной располагалась еще рабочая столовая, харчевня, где в обмен на пельмени, а также самые разнообразные вареники — с вишнями, с картошкой, с жареным луком, с капустой, с грибочками, с творогом — можно было раздобыть настоящие, полноценные котлеты, сделанные «для себя» и наполненные не подгоревшими хлебными крошками, а настоящим, сочным, свежим фаршем и луком.

За один присест Марии Степановне требовалось не менее десятка таких котлеток. Борщ она ела не тарелками, а кастрюлями, хлеб не кусками, а караваем. На стол ставилась обычно эдакая семи-восьми литровая эмалированная посуда, в которой ложка стояла торчком. Половины хватало на нас — гостей из пяти персон и ее сына Витю. Вторая половина сходила Марии Степановне за первое блюдо. Наши нормальные мужские потребности казались ей смехотворными.

— Что от вас ожидать в жизни? Что поешь, то и наработаешь — смеялась она. — И это мужики? Да раньше умный хозяин на селе, когда нанимал батрака, перво-наперво в рот ему заглядывал, приглядывался, как он ест. Вот и волк, если его кормить объедками со стола, превращается в дворовую жучку. У вас не желудок маленький, у вас нутро выродилось, хотелка. Оттого в старину женщины, случалось, рожали героев, а нынче — все больше «деловых».

Возможно, Мария Степановна что-то слышала, а, может быть, и точно знала о древней легенде, намекающей на то, что на заре истории земные женщины погуливали налево от своих земных мужчин с титанами, рождая потом богатырей, таких как Геракл, или Ахиллес, или Самсон.

Сама Мария Степановна весила килограммов сто двадцать и, случайно налетев на нее, можно было повредиться, так как это было равносильно тому, как бы с разгону стукнуться о чугунную тумбу.

Сына, который ничем от своих сверстников не отличался и проводил первое студенческое лето с матерью, затеявшей ремонт дома, помогая ей, чем можно, Полтавская Пантагрюэлла не особо жаловала, добродушно обнаруживая в нем все

признаки сформулированного ею вырождения. Витя был страстный рыбак, все свое свободное время либо плел сети, либо готовил снасти, ибо река была тут же, недалеко, только спуститься с крутого обрыва. От матери ему передалась любовь к побасенкам, в том числе и рыбацким. Ничуть в том не сомневаясь, он убеждал нас в преимуществах пресноводной рыбы перед морской. Это нас-то, жителей пропитанного вялеными бычками и таранью Бердянска! Он таки приготовил как-то рыбный суп из выловленной на зорьке, топорщащейся острыми плавниками мелочевки, и дождался вежливой, искренней похвалы. И все ж таки он так же отличался от своих богатырских предков, как суп из ершей от тройной осетровой ухи. Моя тринадцатилетняя дочь ревниво караулила, когда Витя, стройный, как тополек, почти прозрачный в своей, едва начавшей обростать мясом юности, усаживался со своей снастью на крыльцо. Она располагалась рядом, у его ног, и слушала бесконечные байки.

Иногда она проявляла чисто женскую настойчивость и, не слушая никаких возражений, увязывалась за ним на рыбалку.

Мария Степановна грустно смотрела на них и говорила:

— Эта девочка — бриллиант. Она из тех, из старых, настоящих. Я бы не хотела лучшей невестки. Жаль, у них ничего не выйдет.

У нее были задатки прорицательницы, у этой великанши. Она терпеть не могла алкоголя. Практически, она и не употребляла ни чай, ни кофе. Но компоты, фруктовые отвары — все это шло в невероятных количествах. Ее не замусоренные ничем возбуждающим мозги работали безотказно. Раза три в неделю она собирала на работе полную сумку продуктов, килограммов эдак на двадцать. Руки ее постоянно беспокоили из-за сильнейшего артрита — огромное количество перерабатываемого белка не проходило бесследно. Вите было неудобно, но он помогал матери тащить эту сумку, сгибаясь в три погибели от непомерной тяжести и стыда. Это был один из моментов их серьезных разногласий.

Я никогда не видел эту женщину беспричинно праздной. Она постоянно что-то делала — мыла, стирала, убирала, краси-

ла, готовила, стучала молотком или топором. Она ложилась позже всех и вставала на зорьке, едва начинало светать. Когда она мыла пол во всем доме, она сдвигала всю мебель, не оставляя не выдраенным до костяного блеска ни одного уголка, ни одной щелки. Она никому не позволяла себе помогать. Еще она очень не любила шума или разговоров на высоких тонах. От этого у нее начиналась головная боль и портилось настроение.

Природная мощь выработала у нее добродушное снисхождение ко всему происходящему, но она знала, что такое зло, и остро чувствовала его расползание в пространстве.

Я задумывался о природе ее феномена и о том, какие фантастические формы принимает порой вырождение. Я вспоминал давнюю, забавную историю из моего студенческого далека. Я тогда увлекался вольной борьбой. Тренировки проводились днем и заканчивались как раз перед парой по математической практике. Я едва успевал добраться из Стрыйского парка, где в одном из самых живописных уголков прижился наш спорткомплекс, до аудитории в центральном корпусе. Иногда я оказывался перед закрытой дверью. Приходилось извиняться и с побитым видом искать свободное место. Наша гримза очень неодобрительно относилась к таким вещам, не слушала никаких оправданий — на факультете автоматика спорт не был среди приоритетных дисциплин. Она некоторое время сверлила меня взглядом очковой змеи, а потом громко требовала предъявить разложенный «многочлен». Тем не менее, я продолжал посещать тренировки, совершенно отказался от первых блюд, а по воскресеньям сгонял с утра в парилке вес и шел на квалификационные соревнования, постепенно поднимаясь по лестнице спортивных разрядов. Тренировки у нас проводил не очень обремененный интеллектом выпускник института физкультуры по кличке «Шея» — то ли оттого, что у него эта весьма пассивная часть тела каким-то невероятным образом управляла головой, то ли оттого, что едва ли не половину времени на тренировке он отводил процессу «накачки» этой самой шеи. Для чего — было не совсем понятно. У «классиков», там совсем другое дело, там вообще соперники прово-

дят схватку, вцепившись друг другу в загривок, кружась по ковру и слегка попердывая от напряжения. Но у «вольников» исход решается чаще всего молниеносным, змеиным движением, а вовсе не напряжением мышц, что и показал описываемый эпизод.

Тем не менее, Шея — это было наше все. И тут подоспели какие-то республиканские соревнования. И надо было выступать во всех весовых категориях, чтобы избежать откровенных «баранок» за отсутствие. Где же нам в институте, на члах тридцатикопеечных обедах, вырастить тяжеловесов. Задача даже для Шеи неподъемная. И тут в голову кому-то приходит гениальная мысль:

— А давайте Васю задействуем.

Последовала немая сцена. Вася был не из наших, но классово близкий. По духу. Они тренировались рядом, таская штангу и тоже слегка попердывая от напряжения. Вася был там на пределе полутяжа. В общем, если его слегка откормить, мог сойти и за тяжа. Хотя внешне был парень, как парень, ничего особенного, просто природно крупный, он даже и мышцами приличных не накачал. Но шея у него была, нормальная шея, борцовская. Видимо, для нашего тренера это послужило аргументом. И он отправился на переговоры.

Вася поначалу и слушать не хотел:

— Какая, на фиг, борьба! Я и приема-то ни одного не знаю, а тут еще соперник — тяжеловес, он же меня раздавит, как клопа. Да еще по жребью первая встреча с профи из института физкультуры. Нет, нет, и не проси, Шея.

Ну, этот случай вообще особый. У нас складывали руку в кулак и говорили — это студент политеха, кулак — голова, а запястье — плечи. А потом просовывали большой палец посредине между четырьмя другими и говорили — а это студент инфиза, большой палец — голова, а кулак — плечи. Грубо, но наглядно.

Шея успокаивал Васю:

— Ты, главное, не волнуйся. У тяжеловесов все проще. У них один прием решает все. Я тебя одному приему и обучу. Об остальном забудь.

Васю долго обрабатывали, подключили профком, комитет комсомола, пообещали бесплатные путевки, зимой — на Говерлу, летом — в Алупку.

Дали талоны на питание. Вася уминал за раз по три обеда и отрабатывал бросок в ноги, входя постепенно во вкус.

Действительность оказалась гораздо хуже, чем мы могли предположить. Это же надо, в инфизе тоже не оказалось у вольников ни одного тяжеловеса. И они пошли по тому же неверному пути Паниковакого. То есть нашли себе фигуру среди штангистов. Притом такую колоритную, что посчитали совершенно излишним ее чему-нибудь учить.

Да, там мать-природа расстаралась вовсю. Когда я увидел этого Васиного соперника, я крепко ему, т.е. Васе, посочувствовал. Это был человек-гора, ну, тот персонаж из «Козленка за два гроша» мог отдыхать. Ростом под два метра, издали он казался приземистым, как Ричард Львиное Сердце. Голова размера восьмидесятого, не меньше, таких противогазов не бывает, челюсть в полнопрофильный кирпич, руки его без всякого преувеличения были толще моих ног в самом интимном месте. О ягодицах я вообще молчу. Я обходил его с открытым ртом вокруг, наверное, минут пять. Такое чудо могло вырасти только на тучном, как шоколадное масло, украинском черноземе, на каком-нибудь забытом богом и людьми хуторке с вишневым садочком, счастливо обойденном колючими плевелами цивилизации. Он приковал всеобщее внимание и, чувствуя этот интерес, улыбался во весь рот, наподобие какой-то избалованной эстрадной или кино — дивы. Это была его ошибка. Он потерял бдительность и расслабился.

Когда их вызвали на ковер, зал замер. Вася, этот тяжелоатлет и спортсмен откровенно струсил. Он признавался потом, что готов был добровольно улечься, если бы тот только коснулся его пальцем, каждый из которых был размером со здоровенную, разбухшую сардельку. Но пока что они были на ковре и не делали никаких попыток войти в контакт. Вася скакал вокруг этой чудовищной груды мяса, как шустренький терьерчик вокруг невозмутимого мастиффа. Его ничтожность

была столь очевидна, что вызывала скорей досаду, чем сочувствие. Но действие как-то затягивалось. И тут вышел из шокowego состояния Шея:

— В ноги, Вася! В ноги! — заорал он на весь зал.

Вася подпрыгнул, как жеребец, услышавший команду и полетел куда-то вниз, в основание горы, пытаясь сделать то единственное, чему его упорно учили в течение месяца. Автоматизм сработал. Неожиданно вся эта невообразимая конструкция из утрированно увеличенных, словно надутых, мышц и суставов-шарниров зашаталась и рухнула на ковер. Причем ноги как были в полусогнутом состоянии, так и остались — несколько разведенные и поднятые вверх самым непристойным образом. При этом челюсть продолжала выдерживать уже совершенно неуместную улыбку любимца публики.

Несколько секунд держалась гробовая тишина. Вася тихонечко и опасливо отползал назад.

А потом раздался хохот, какого я в жизни не слышал ни на одном выступлении ни Райкина, ни Хазанова.

Все было кончено. Бобик сдох. А Вася стал чемпионом в тяжелом весе, в некотором роде Героем, одолевшим Голиафа, доказав преимущество мозговой мышцы над трофической.

Я невольно сравнивал двух повстречавшихся мне реликтов древности, столь естественных в своей физической феноменальной мощи, не имеющей ничего общего с искусственной декоративностью, продукцией расплодившихся фитнес-клубов, щедро, наотмашь, можно сказать вызывающе нескромно одаренных клеточной массой, но не удачей, дамой капризной и своевольной. При этом Мария Степановна являла мне редкую, удивительную гармонию пиршества духа и тела, предвосхищенную в свое время необузданной фантазией несравненного эпикурейца Рабле, что, в общем-то, не принесло ей счастья.

Через три дня мы покинули этот гостеприимный дом. Дочка еще некоторое время обменивалась письмами с Витей. Эта встреча имела какое-то место в ее жизни. Что ж, она была в возрасте Джульетты. А Витя как раз в возрасте шекспировского Ромео.

ШУТКА

«Любой задрипанный еврей — это добротный русский писатель» — так, или примерно так, высказал свою полутрезвую мысль Александр Куприн.

Стряхнув с себя прах племенных предубеждений, выскажу несколько непривычное соображение, лишь перефразируя великорусского беллетриста:

«Любой грамотный человек — это в потенциале добротный писатель».

И не говорите мне, что для этого нужно родиться с талантом, было бы неплохо, но не обязательно. И ум, и интеллект для этой цели тоже необязательные аксессуары. Жизнь Швейка, его крепкий от пуза и задницы взгляд на жизнь не менее занимательны, чем знакомый многим лишь из литературы мир кабинетного ученого.

Писательство не врожденная черта, вряд ли и через тысячу лет удастся с точностью назвать номер гена, виноватого в этом. Страсть к перу и бумаге скорее болезнь, определяющая судьбу. Об этом высказались уже все, от Веллера до Бродского, я не поленюсь повториться. И не думайте, что можно человека отогнать от письменного стола одним грозным окриком «Графоман!».

Как игрок к рулетке, он будет возвращаться туда снова и снова, испытывая страсти не меньшие, чем иные досточтимые мэтры. Чувства игрока не определяются величиной выигрыша, а вот проигрыша — точно. В проигрыше сама драма и есть!

Да и с удачливыми писателями не все чисто. Лев Толстой кричал: «Графоман!» на самого Шекспира. А Достоевский, тот и вовсе не литератор, хоть и жил литературным трудом. Монотонность, газетность его стиля общеизвестна, патетика,

худший враг литератора, — прорывается повсеместно. Зато в его публицистике, в Дневнике Писателя этой литературности — избыток.

Список великих графоманов может оказаться неожиданно длинным.

Там непременно осядет и плодовитейший Александр Солженицын, да и сам Лев Николаевич.

В конечном счете, писатель ждет многого от читателя. Писать в стол — худшая из болезней. Да, рукописи действительно не горят, но только потому, что они истлевают. Они истлевают в темноте стола, как тело, преданное земле. Из них уходит их душа — время. Без читателя даже самый выдающийся труд — пустой звук, свиток в стране мертвых.

Читатель любопытен и обожает сплетни. Как живой и озорной школьник, он не терпит только одного — нравоучений.

«Не думайте, чтобы автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избави от такого невежества» — писал М.Ю. Лермонтов в предисловии к «Герою нашего времени», приковавшему к себе внимание немедленно, сразу и навсегда.

Кстати, о Лермонтове.

Как-то два моих приятеля жестоко подшутили над постоянным посетителем воскресного книжного базарчика, школьным учителем словесности, одним из немногих мужчин, подвизавшихся на этой ниве. Учитель был нищ, как и большинство его коллег.

Это было время пустых полок в книжных магазинах, обнажившихся даже в лавке букиниста. Но базар процветал. Правда, цены на нем крутились заоблачные. Там можно было найти все, вплоть до шеститомника У. Черчилля «История второй мировой войны», изданного в переводе тиражом аж в 50 экземпляров. Такая цифра бесстыдно маячила в выходных данных солиднейшего партийного издательства. Предназначались они, эти тома, для избранных членов ЦК и высшего комсостава и были боль-

шей редкостью, чем Орден Победы. А трехтомное издание Библии с иллюстрациями Доре вообще шло чуть ли не по цене «Жигулей».

Я сам тащил на этот базарчик все заработанное на стороне, в ущерб нарядам жены и подраставшей дочери. Жена как-то в минуту откровения призналась мне, что долго подзревала меня в тайных взносах в мифическую еврейскую казну. Если бы. Пришлось с грустью поведать ей гораздо более прозаическую правду, которая, неожиданно, принесла ей облегчение.

Но вернемся к нашим баранам, т.е. к учителю, который хоть ничего и не покупал, но регулярно заглядывал в наш закуток, приткнувшийся между городским сквером с памятником лейтенанту Шмидту и общественным туалетом. Словесник оказался однолюбом, всю пыльную страсть своего сердца он отдал Лермонтову. Любой разговор он переводил на эту тему. Увидев его, богатенькие книжные жучки прятали, что поценнее подальше, знали, что он ничего не купит, только замусолит. Он принимал своеобразное участие в словесных баталиях начавшейся перестройки и нередко, загнав в угол неосторожного слушателя, с садистским сладострастием гнусавил ему эклоги великого поэта.

Расправа была по-детски немилосердной.

Надергав строчек из разных стихов Михаила Юрьевича и кое-как склеив их друг с другом, шутники подсунили опус поднаторевшему в поэзии словеснику с просьбой оценить их друга, якобы начинающего стихоплета. Вердикт последовал немедленно: «Нищий язык, убогая графомания, отягощенная попыткой копировать стиль золотого века».

Узнав, что это был розыгрыш, бедный халдей сильно расстроился, несколько месяцев не появлялся, то ли переживая за классика, то ли пересматривая свое к нему отношение.

Манию, превращающую человека в невольника, прикованного цепью к столу, в то время как он мог бы проводить время наедине с природой, в лесу, на озере, ловить рыбу, охотиться на зверя или ухаживать за женщиной, я бы отделил от другой мании, злокачественной, но иногда проявляющейся сходным образом:

Как грань тонка меж тем и этим
Меж тем, что есть и чего нет,
Но ровен пыл на этом свете
Оставить хоть какой-то след —

Любым путем, совсем не святым.
Пятная память по себе,
Сонмы иуд и геростратов
По грешной шествуют земле.

Кстати, Платон, самый выдающийся графоман древности, если извлечь изначальное значение этого термина, оставил нам, слава богу, с десяток томов, в отличие от его великого современника Сократа, не имевшего ни охоты, ни времени мараить бумагу. Среди обилия его, т.е. Платона, глубокомысленных высказываний есть удивительное замечание: «Кто без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он, благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом, тот еще далек от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых».

Не мудрено, ведь «мания» — это одно из значений слова «неистовство». Перечитав написанное, я подумал, что в приводимых размышлениях явно не достает цитат, учитывая серьезность вопроса. Поэтому решил добавить еще высказывание поэта Федора Тютчева, которого из-за его приверженности к краткости никак нельзя заподозрить в графомании: «Мысль изреченная — есть ложь».

Тем более, что эта парадоксальная сентенция позволяет трактовать все ранее изложенное с точностью до наоборот.

СТАРАЯ КЕНИЗА

Нашу контору на заводе за глаза язвительно именовали «синагогой». Почему?

Ну, прежде всего потому, что возглавлял ее Кацман. А правой рукой у него был Зускинд. Правда, в этом заведении, если и молились, то скорее золотому тельцу, чем ревнивому иудейскому богу, ибо главной функцией его (заведения, естественно) было выбивать премии из главка за существующие лишь в воображении фантастические проекты технического мегапрогресса на одном отдельно взятом предприятии.

Осуществленные в металле, в километрах протянутых кабелей, в заложенных сотнями и тысячами диодах, транзисторах, реле и многих других достопримечательностях они какой-то невероятной трансцендентной силой (впрочем, можно догадаться какой, если учесть вышеупомянутый «никнейм») неизменно превращались в «памятники» самим себе. И эта деятельность с таким странным кладбищенским уклоном как-то начинала напрягать.

Кацман, естественно, выступал в роли идеолога, ребе, а хитромудрый и многоопытный Зускинд, хоть и числился ординарным конструктором, но с присущей ему скромностью, исключительно по зову сердца выполнял еще роль заушного советника и ключника, как Иуда при Христе.

Не корысти ради, а правды соблюдения для, надо заметить, что за более чем четверть века контора научилась все-таки делать кое-что полезное, но оба фигуранта (мир праху их) к тому времени давно пребывали, надо полагать, в райских кущах, а тут и наскочило время полного дискурса.

А в синагоге настоящей я побывал только через несколько лет, после того как впервые пересекся с нашей виртуальной. И случилось это в Ленинграде, куда я заглянул, чтобы на-

вестить отца. Он провел в этом городе свое отрочество и юность, на самом пике революционной заварухи, а потом вернулся через полвека, когда случился на излете пути вдовцом.

Жить ему оставалось еще два года. Видимо, родитель чувствовал за собой грешок ответственности за некоторые пробелы в моем воспитании, поэтому, наверное, и предложил посетить местную, единственную еще сохранившуюся в этом городе цитадель ненавистного режима культа, куда мы и пошли как-то в воскресенье втроем. Третьим был мой семилетний сын.

Отец сказал мне тогда:

— Написано: «Кто забывает о своих корнях, уподобляется перекасти-полю, растению, которое, лишенное привязанностей, ветер гонит туда и сюда по земле».

Втроем мы представляли три поколения. И каждый внес свой посильный взнос, чтобы вытравить саму память о корнях, как о чем-то недостойном, постыдном и обывательском. Замшелая местечковость, тэ сэзать.

Но мне показалось тогда, что не столько память в отце заговорила, сколько разочарование во всем, чем он жил те самые последние полвека и возвращение в город его молодости только обострило душевный непокой.

Он, хоть и состоял в партии уже тридцать лет, был в теме, так как кончал «академию» в Скоброво, т.е. *хедер* в районном центре под Невелем в Белоруссии. Это и стало его единственным полноценным системным образованием, хотя в конце войны он пребывал уже на полковничьей должности.

Мы зашли за чугунную литую ограду и поднялись на крыльцо. Отец достал из кармана малюсенькую тубетейку-кипу и как-то очень ловко приладил, как нашлепку, на свой седой ежик. Размер необычного головного убора демонстрировал бунт против прагматичности, что, очевидно, должно было подчеркивать его духовную суть. Мы с сыном несколько замешкались, не готовые к такому повороту. Пока я в смущении от незнания таких элементарных вещей пытался соорудить что-то из носовых платков, завязывая по углам узелки, отец задумался. В последний момент некое соображение пришло ему в голову:

— Знаете что, посидите-ка вы лучше здесь во дворе, а я минут через пятнадцать-двадцать вернусь.

Мы расположились в палисадничке на скамейке. На дворе стояло ленинградское лето с безумными белыми ночами.

Легкий бриз с Финского залива навевал меланхолию и грусть. Какие-то люди преклонного возраста проходили мимо нас по дорожке и очень приветливо здоровались, как старые знакомые. В руках у них были свертки, видимо каждый нес свой личный *талес* для молитвы. Вид здорового плотненького бутуза с каштановыми, вьющимися на концах волосами вызывал у них неприменную добродушную улыбку. Чувствовалось, что дети заходили за эту ограду не часто. Однако, идиллия продолжалась не долго. Не прошло и десятка минут, как на скамейку подседа пожилая женщина и не поворачивая голову в нашу сторону прошептала:

— Я вам советую немедленно уходить отсюда. Если вам наплевать на себя, подумайте о ребенке. Здесь все под контролем. И ни с кем, ради бога, не разговаривайте.

— Между прочим, там внутри мой отец и дедушка этого малыша — сказал я, включаясь в игру, то есть, чисто внешне игнорируя собеседницу.

— Старый дурак. Лучшего он ничего не придумал? Ему, конечно, не хватает только ваших проблем.

Еще через два десятка лет, когда в нашем городке возродилась какая-никакая еврейская община и Сохнут прислал из Донецка учительницу иврита Соню, я с удивлением узнал, что слово «синагога» вовсе не еврейское, а греческое и того же уничижительного порядка, что и «жид» или «палестина», введенные в обиход, чтобы подчеркнуть презренный статус вредного племени.

У евреев, в отличие от христиан, нет храмов для богослужений. Был один, да и тот разрушен императором Титом около 2000 лет назад. А то, что называется «синагогой» — это практически общинный центр, на иврите «Бейт кнессет», «Дом собраний». Через 16 веков после возникновения, протестантское движение внутри христианства возродило иудейскую традицию, предложив вместо церкви, вместо кошун-

ственной девальвации самого понятия «Храм», использовать для отправления опрощенных религиозных обрядов скромные молельные дома.

Этот тезис, кстати, был использован Лютером в свое время для предъявления ультиматума евреям. Дескать, хватит упираться и пора признать, наконец, примат христианства. Что привело, как известно, лишь к углублению взаимонеприязни, росту нетерпимости, всеобщего озлобления и, в конечном счете, к холокосту.

Но у караимов, иудейской ветви, отколовшейся в восьмом веке от основного, талмудического дерева, название, между прочим, сохранилось даже в европейской транскрипции и звучит, как «кениза». В нашем небольшом приазовском городке, с его роскошными пляжами, бычками, таранью, богатыми садами, виноградниками и лечебными грязями до революции, согласно энциклопедии Брокгауза и Эфрона проживало около 6000 иудеев и несколько десятков караимов.

Тем не менее, к началу отечественной войны в городе сохранилась одна синагога и одна кениза. Немцы всех оставшихся по легкомыслию или по форс-мажорным обстоятельствам в городе евреев выловили и расстреляли, а синагогу разрушили. Караимов же, имея какие-то свои соображения, они не тронули, да и кенизу сохранили.

Короче, из двух взорванных во время войны в городе зданий, чему свидетельством пожелтевшие от времени фотодокументы, одно как раз называлось «Бейт кнессет».

Середина девяностых была временем вольных стрелков. С баблом обстояло трудно, но не у всех. Зато свободы у каждого, хоть ложкой хлебай.

Мой приятель, главный городской массовик-затейник, увлеченный общим энтузиазмом, вспыхнувшим словно во времена Шабатая Цви, перебрался с Азовского моря в горную Галилею. А мне по наследству передал руководство общиной, общим количеством в пять сотен человек, из которых уже никто не мог прочесть кадиш на могиле очередной упокоенной души.

Израиль зауважали, мочи нет как. В ларьках, выросших повсеместно, как поганки после дождя, большая часть продуктов шла с клеймом «Сделано в Израиле». Суп «Осем». Кетчуп «Осем». Кофе «Осем». Сигареты «Осем». Водка и та «Кеглевич» или, в крайнем случае, «Стопка» И все забито от пола до потолка. Правда, господин Красницкий, бизнесмен из бывших программистов, в фирме которого числилось уже тогда около пяти тысяч человек, (сколько в лучшие времена на нашем заводе) говорил доверительно за рюмкой кофе:

— Что вы, какой Израиль. Все эти наклейки тоннами печатают на Малой Арнаутской в Одессе.

Евангелисты за свой счет массово везли в микроавтобусах шумные еврейские мешпухи от самого порога впопыхах проданной квартиры до трапа самолета «Киев — Тель Авив» в Борисполе или до таможни Одесского порта на рейс Одесса — Хайфа. По пути кормили и покупали «Кока-колу» и «Фанту» для детей.

Директор городского Дворца Культуры, он же атаман местного куреня и полковник войска Запорожского, у которого в кабинете хранилось знамя этого куреня с вышитым крестом, держал на столе подаренный моим предшественником вымпел с израильским флагом и сдавал нам внаем зал вместимостью в тысячу зрителей за тридцать зеленых серебрянников, в котором как-то выступала сборная концертная группа христианских волонтеров из Европы с программой еврейского фольклора. В зале был аншлаг.

У ОВИРА вообще крыша поехала. Это навершие айсберга под грозным, вызывающим внутренний трепет подпольным именем «Контора», презрев все бюрократические рогатки, ухитрилось за три дня оформлять все, без исключения все бумаги, необходимые для группового выезда подростков «на учебу» в Израиль по сионистской сохнутувской молодежной программе НААЛЕ. То есть исправляла проколы неопытной еврейской государственности.

В самой же Конторе, вызвав меня «на собеседование», майор на тихой конспиративной квартире задавал вежливый вопрос:

— Это правда, что вы отправляете ребят допризывного возраста вроде как на учебу в Израиль, чтобы избежать им службы в Украинской Армии.

Вопрос, конечно, очень интересный.

— Мы отправляем далеко не всех желающих. Идет очень жесткий отбор. И мальчиков и девочек. Ни о какой половой дискриминации и намека нет. Вы в этом можете легко убедиться. Родители, их родственники, знакомые, знакомые знакомых приходят на экзамены, переживают, сочувствуют, болеют. Зато тот, кто проходят, имеет возможность получить бесплатное, на полном пансионе в условиях интерната европейское 12-летнее образование, достаточное для поступления в любой ВУЗ самой высокой пробы по обе стороны океана. (Тогда еще было именно так.) Кто ж от такого откажется? Вон, смотрите, все олигархи своих детей развезли по всяким лондонам и парижикам. А у родителей наших детей таких денег нет.

— Они уезжают туда навсегда?

— Это их выбор и выбор опять же их родителей. Они едут только на учебу. Так сказано в сопроводительных документах. К тому же эти девочки и мальчики не обязательно должны быть евреями.

Мы оба лукавили. Он делал вид, что поверил мне. А я не упоминал о тех документах и тех обстоятельствах, которые до ОВИРа не доходили и не должны были. Так сказать, секретные протоколы.

Для полноты картины украинское правительство приняло историческое решение передать культовые и общественные здания их бывшим владельцам.

Это был полный абзац. Учитывая, что еврейские общины таки кое-чем владели в Российской империи.

Насчет «общественных» я ничего конкретного не знал, только догадывался. А вот насчет культовых все было ясно. То есть, насчет сохранившейся кенизы.

В приземистом красном здании с толстенными кирпичными стенами, так что казалось, что в них не хватает только

узких бойниц, слышался топот ног и характерный звук хлестких ударов. Казалось, что кого-то с размаху бьют по лицу, ломают хрящи и выбивают зубы.

Дверь открыл русоголовый, накачанный, подстриженный под горшок парубок в тренировочных трико и кроссовках фирмы «Адидас»:

— Можно увидеть вашего руководителя?

— О чем базар, брателла?

— Вы знаете, что это культовое здание, здесь нельзя заниматься спортом, это кощунство.

— Что за понты, ты че несешь, чума?

За спиной новоявленного Харона, в огромном совершенно пустом зале, с разбросанными по углам матами и подвешенными боксерскими грушами шла, совершенно очевидно, интенсивная тренировка «быков». После недолгого препирательства на двух совершенно не пересекающихся диалектах богатого русского языка, парубок как-то недобро и многообещающе ухмельнувшись, все-таки взялся проводить меня и мою спутницу наверх к своему боссу-сенсею.

Возможно, только присутствие женщины не позволило прервать визит в самом начале. Я шел за парубком, и вязкий холодок неопределенности проникал под рубашку. Он ведь вполне мог, да скорее всего и был внуком или правнуком какого-нибудь махновского боевика. Батька славно погулял здесь когда-то, по этим по самым местам. Сохранилась даже карусель рядом с парком имени лейтенанта Шмидта, сидя на которой он, якобы, стрелял, как по мишеням, по выстроенным по ранжиру белым офицерам. От перемены места дислокации позиции сторон не изменились. Сенсей был постарше, помрачнее и еще менее словоохотливый, чем его ученик. Но напоследок все-таки как-то оживился и посоветовал заранее поискать такое место на планете, где бы он не смог меня достать даже из-под земли, если я еще буду продолжать приставать к нему об этих глупостях. Первый раунд был начисто проигран. Но это, скорее всего, миф.

Да, эту цитадель с налету не возьмешь. Не случайно на фасаде мне почудились бойницы — подумалось на выходе.

Умный в гору не пойдет. Я решил до начала второго раунда обзавестись надежными союзниками. Если учесть, что у этого культового здания реально существовали законные наследники. Самая авторитетная личность из караимской среды оказалась моей старой и доброй знакомой. Уже много лет она пользовалась славой удачливого и умелого хирурга, с твердой рукой и верным глазом. Плюс сметка и характер, с которыми я имел случай познакомиться. Как-то на утреннюю рыбалку я в шутку пригласил свою родственницу, москвичку. А она возьми и согласись и оказалась, кстати, азартной охотницей за плотвой и всякой другой ершистостью в давно опустошенных подмосковных водоемах. Но недаром говорят, что женщина на борту — дурная примета.

Когда мой приятель заметил, что у него не клюет, а у нашей гостьи, как это часто бывает у новичков, только успевай снимать с крючка, он начал нервничать, стараться и в конце концов вместо тарани или в крайнем случае бычка-песчаника подцепил большой палец моей личной ноги. Мы не сразу сообразили всю сложность ситуации. Крючок-то был на бычка, то есть из самых крупных. И после подсечки вошел со всего размаха, до самой кости. И мы, два бугая, в горячке, в четыре руки принялись тянуть его назад, пытаюсь по-любому вытащить.

Но сорваться с крючка оказалось не так-то просто. И мы, конечно, ничего не достигли, только обломили всю видимую часть. А осколок с выпирающим функциональным шипом остался внутри. А дело было в воскресенье. И медпункты в зоне отдыха, где мы находились, все оказались, как назло, закрыты. И пришлось добираться на попутке в городскую поликлинику, что заняло несколько часов. А палец уже распух — крючочек-то был не стерильный, а с бренными разлагающимися останками всяких разных червячков и уже начал постреливать. На счастье дежурным врачом оказалась главный хирург клиники, Акав, та самая караимка. И она все сразу просекла. И сказала:

— Ничего страшного. Я сейчас посмотрю, *продизенфицирую на всякий случай и сделаю обезболивание*, а завтра придешь, будет операционный день, и я тебе все, что нужно, спокойненько вырежу. Главное, не нервничай. Такое случается. Только рыбаки вытаскивают крючки не так, как вы это сделали, а вперед, по ходу. Что требует большой сноровки и хладнокровия. И, конечно, незаурядного терпения.

Короче, они вдвоем с операционной сестрой быстренько меня пристроили на операционный стол, прикрылись капитально от посторонних (то есть моих) глаз простыней и стали так резво «дезинфицировать», что ноги своей я уже совсем не чувствовал — ее как тисками стянуло и только слышалось:

— Пинцет... скальпель... зажим...

Медсестра, перевязывая потом задубевшую ступню, протянула мне здоровенный кусок хищно изогнутой проволоки:

— Сейчас отойдет местный наркоз, и похрамаете на своих двоих. Вам еще здорово повезло. Счастливчик. Такой хирург. Ей на сердце операции делать, а не крючки у всяких придурков вырезать. Прямо снайперский разрез, всего полсантиметра, через пару дней и не различите его. А крючок-то у самой кости лежал. Черт те где. Его еще и найти надо было. Хорошо, что я глазастая.

— А где же доктор? Я ей даже спасибо сказать не успел.

— Спасибом не отделаетесь. Если бы протянули до завтра, могло начаться заражение, тогда, сами понимаете...

— А чего же она мне сразу не сказала, что будет оперировать. А то дезинфекция, дезинфекция, прямо детектив какой-то.

— Правильно сделала. Ей не хватало только вашей интеллигентской рефлексии. Еще завопили бы об общем наркозе, а у нас сегодня и нарколога-то нет. Воскресенье, да еще время отпусков...

Так что, когда я зашел в кабинет к Акав, заранее записавшись на прием, она сразу все припомнила. Особенно, как надула меня с «дезинфекцией». Мы еще немного пошутили о делах давно прошедших, вспомнили общих знакомых. А потом я спросил напрямик:

— Вы знаете, что в вашей синагоге бандиты устроили вертеп. Учатся там, как половчей калечить беззащитных граждан. В помещении, предназначенном для хранения и чтения Торы, самого древнего свода по правам Человека.

— У нас нет никакой синагоги. То, что вы, очевидно, имеете в виду, называется кениза.

— Извините, я этого не знал. Тем не менее, в вашей иудаистской общине сейчас всего несколько человек. Было бы разумней, чтобы это помещение передали в родственную культурную среду, чем спокойно смотреть, как там жирует криминал. Между прочим, я могу вас ознакомить со списком самых нуждающихся пенсионеров, тех, кто получает ежемесячно небольшое воспомоществование от еврейского руководства из Киева. Там есть несколько караимов. И мы не заикливались на том, состоят ли они в смешанных браках. Вы ведь, наверное, знаете об этом. Никто из них от помощи не отказывался и чужим в нашей среде себя не считает.

— Вы ошибаетесь. Мы никогда не отождествляли себя с евреями. Отнюдь. Мы вообще другой народ. С другим языком, с другими нравами. Да, мы иудаисты, но, прежде всего, мы турки. Поэтому у нас с вами несовместимость. Я больше не хочу об этом говорить.

Действительно, больше говорить было не о чем. Железобетонная позиция. Вопрос, конечно, тоже интересный... Что ближе сердцу — кровь или Бог, род или вера. Старая история моавитянки Руфь, прабабушки Давида, ЦаряИзраиля. Возможно, караимка Акав просто элементарно заблуждалась. В этом мире быть евреем трудно. Любить их еще трудней. И велик соблазн отделиться. Убедить самого себя — я не такой. И с этим жить.

А караимы далеко не все «турки». И большинство из них после образования государства Израиль в количестве двенадцати тысяч репатриировались туда по закону о возвращении.

Такова реальность.

А судьба бесхозной кенизы вскоре решилась сама собой. То ли очередной милицейский начальник решил отличиться в борьбе с организованной преступностью. То ли местный магнат Красницкий, прежде чем последовать за своим отпрыском на землю обетованную, пальцем пошевелил.

Но однажды в этом сумрачном здании появился ОМОН в черных масках, с десантными автоматами Калашникова наизготовку. Братков положили на пол мордой вниз, попинали подкованными американскими ботинками и вывезли на воронке. А кенизу передали в пользование Обществу Еврейской Культуры.

ЦИРКУЛЯЦИЯ

Говорят, что евреи — это ось мировой истории. Кто говорит? Многие. Говорят сами евреи в своих священных книгах. Говорят их ненавистники, которые ни о чем другом и думать не могут. Говорят современные философы, еще не запуганные до смерти политкорректностью. Говорят писатели и публицисты, от самых известных и популярных до никому неизвестных, но уже с жаром неофитов нацепивших ермолку даже на Пушкина и Лермонтова.

Но, если есть ось истории, значит, есть и некий ее сущностный вращательный процесс. Так сказать круговорот евреев в природе. От Моисея к Христу, к Магомету, к Марксу и обратно. Циркуляция, вечный двигатель, столь же непостижимый, как закрученный однажды и навсегда электрон.

Предвоенный год для девушки Зины был очень насыщенным. Она вышла замуж и поступила в Ростовский медицинститут. Все вышло как-то органично и само собой. Мужа она отыскала можно сказать в гаражной яме. Сосед, водитель шикарной черной эмки, спортсмен и ворошиловский стрелок по дороге в клуб железнодорожников, как-то завез ее к себе на работу в автоцех, хотел, видимо, похвастаться перед приятелями своей, как он считал, ладно сбитой, начитанной девушкой. Смотрины, оказалось, были организованы преждевременно. Пока она стояла, тревожно косясь на лужицы грязного машинного масла, боясь пошевелиться — ее, патологическую чистюлю буквально бросало в дрожь от вида разбросанных там и сям лоснящихся запчастей — откуда-то из-под днища старого, обшарпанного автобуса вылез парень, невысокий, коренастенький с невыразительным лицом.

Но Зину поразил его вид — в этом царстве грязи, среди людей в промасленных комбинезонах, с лицами, словно по-

крытыми боевым окрасом — ни одного пятнышка, за исключением ладошек, которые парень тщательно, с мылом отмывал несколько минут, прежде, чем подойти, познакомиться. В этом было какое-то тихое, основательное мужество и оно пришлось Зине по душе. На крутых жизненных поворотах ее всегда отличали способность совмещать почти звериную женскую интуицию, с тщательным, безупречным расчетом и непреклонностью в достижении цели. Ни колебания, ни сомнения ей были несвойственны. Так что через два месяца они с тем аккуратистом пошли в ЗАГС. Тем же летом она подала документы в мединститут, ее свояк, муж сводной сестры там быстро делал научную карьеру на кафедре, так что все выглядело как семейное дело.

Молодой супруг ее утром 22-го июня собрал чемоданчик и ушел в военкомат, не дожидаясь повестки — водители состояли на особом учете. Вернулся он в 45-м в капитанских погонах и с тяжелой черепной контузией. Военные годы выпали суровые. На излете осени 41-го Зина родила девочку, но институт не бросила. Немцы рвались к Ростову, слава богу, не дошли. Было голодно и холодно. Хорошо, что отец-покойник успел своими руками сложить дом с добротной, чуть не в полхаты, русской печкой. При нем садик, огородик, это спасало. Институт Зина закончила в 46-м, с отличием. Открывались перспективы, но на руках был ребенок и муж-полуинвалид, а за окном послевоенная разруха. От греха подальше она подалась в сельские лекари. Через пару лет все устаканилось. Пришел достаток и уверенность. Она уже могла себе кое-что позволить. Зина выходила, поставила на ноги мужа и позволила себе еще одного ребенка — мальчика. А потом они перебрались в приморский курортный городок. Муж стал учительствовать, а Зина резво взбираться по карьерной лестнице. Специалистов катастрофически не хватало, а у нее еще был характер и бойцовский опыт ростовских пригородов, сделавших этот город папой всего криминального мира. Между тем ее девочка выросла. Папа, вспомнив несколько особо приятных месяцев, проведенных им после ранения во Львове, о чем история сильно не распространяется, убедил дочку искать

там свою альма-матер. Лучше бы он этого не делал. Летом после второго курса Политеха дочка приехала домой рожать. Муж ее был еврей — сокурсник. Пришлось новоиспеченному деду, как младшему по званию, растить внука, молодым еще предстояло три года грызть гранит науки. Зине было не до того. Она решала глобальные городские проблемы. Между тем ее бутуз, зачатый и выпестованный на тучных казачьих просторах в первые послевоенные годы, тоже заметно подрос. Он выучился в ростовской мореходке, сплавал на «Товарище» вокруг света, прошелся пару раз капитаном малотоннажки в сопредельные страны, избавился навсегда от мальчишеского романтизма, связанного с морем и бросил якорь в местном порту, в конторе по страховке иностранных судов и грузов. Там в порту его поджидала судьба по имени Ильнара. Ее семья была из Андижана, мать так и не смогла освоить русский, о себе говорила в мужском роде и всегда тщательно следила за субординацией по возрастному цензу, даже за столом все должны были рассаживаться по одному ей понятному порядку.

Ее муж не выдержал ее непреклонного мусульманского домостроя и сиганул как-то с четвертого этажа в лестничный пролет с петлей на шее. У Ильнары Хусаиновны была гораздо более крепкая закваска. В восемнадцать лет она приехала из Андижана в Одессу поступать в Высшую Мореходку. У адмирала, начальника училища отвисла челюсть. Такого еще в истории училища не было. Какая-то кнопка, метр двадцать на шпильках из каких-то аральских степей и в его просоленной на всех морских ветрах сугубо мужской конторе. Но адмирал не на ту напал. Оказывается, ни в каких прошитых и пропечатанных документах дискриминация юбок не была узаконена. Все же и так знают, что женщина на судне — плохая примета. Это потом, задним числом, этот недочет исправили. А тогда бросились рыться в бумагах, искали прецедент, доказывали, что в училище и туалетов-то женских нет и женские койки в экипажах не предусмотрены. Но все было тщетно. Ильнара Хусаиновна грозилась страсбургским судом, комитетом ООН по правам человека, честно предупреждала, что о мужском шовинисте, поселившемся в самом свободном городе мира,

узнает вся мировая общественность. Наконец она написала официальную жалобу министру морского флота. Министр оказался человеком более дальновидным, чем бравый адмирал. Он понимал, что курьез можно пережить, а скандал чреват, ибо в результате непременно будут искать крайних. Короче, девушка получила диплом технолога и навсегда вошла в историю российского мореплавания. В море Ильнара так никогда и не вышла. И это к лучшему, потому что ее укачивало даже во время штиля. Но большую часть жизни она провела все-таки где-то рядом, что говорит о врожденной неистребимой тяге. Возможно, в прошлой жизни она была матросом в эскадре Колумба или Магеллана.

Когда первое знакомство в порту наших героев перешло в стадию стойких семейных отношений, выяснилась еще одна деталь, мимо которой в пылу морских баталий проскочило обескураженное руководство училища. Милая девочка со столь твердым характером, оказывается, страдала врожденным пороком сердца и была все время на учете у самого Амосова, к которому могла лично звонить в любое время суток. Чем она и воспользовалась, когда пришло время рожать. Амосов сам в Киеве и принимал ребенка. Девочка родилась, чудо как хороша, но маме ее с больным от рождения сердцем внуков увидеть было не дано. Она тихо угасла, когда девочка оканчивала школу. Еще через десять лет, уже будучи модным женским мастером, дочь Ильнары познакомилась по интернету с евреем, выходцем из Одессы, выпускником Йельского университета с первой ученой степенью и уехала в Америку. Вечный двигатель, скрипнув шестеренками сделал очередной оборот.

СИБИРЯК

Между Барнаулом и Томском лёту всего ничего — четыреста километров, да посередине посадка на полчаса в Новосибирске. А получается, как говорится «два мира — две системы».

Только что отгуляли майские праздники. У нас была та короткая весенняя пора в приазовье, когда все вокруг буйно зеленело, кое-где еще отцветали белыми, розовыми, сиреневыми охапками деревья в садах, а трава не успела еще выгореть под палящим, все выше и выше взбирающимся солнцем. Я ехал в командировку в Сибирь, твердо помня, что там, несколько дальше, в Забайкальских степях, где два десятка лет тому я тянул солдатскую лямку, еще и в мае, бывало, прохватывало морозцем, понуждая нас, одетых уже по-летнему, принимать «забайкальскую стойку», скукожившись, сколько возможно, сократив до предела контакт с внешним ледящим миром. Поэтому на всякий случай прихватил я плащ с рыбьим подбоем, но сделал это с большой неохотой — как-то все не верилось — за окном купальный сезон на носу, птички поют...

Барнаул, однако, встретил меня теплом и радушием. Высадившись из аэропортовского автобуса, я был немедленно увлечен людским потоком, почему-то деловито сосредоточенном на одном направлении. Приглядевшись, я обнаружил несколько непривычную, очень характерную деталь — все неслись, держа в одной, а то и в двух руках пустые полиэтиленовые пакеты. Разгадка нашлась прямо за ближайшим углом — целая цистерна со свежим, пенистым пивом на разлив. Не выпуская из рук командировочного своего чемоданчика и позаимствовав пару пакетов у несколько нервной, но вполне доброжелательной очереди, я нацедил в непривычную тару три литра янтарного зелья и в таком виде заявился в общежитие, встреченный бурным восторгом моих коллег и собу-

тыльников на ближайшие два дня. Оказалось, что в этом хлебном краю пиво редко и выдается вот таким экзотическим способом. Но на третий день, на выходе из самолета в томском аэропорту, я был прямо на трапе встречен приличным снежным зарядом. Уже и вовсе не помышляя ни о весне, ни о лете, я едва дождался выдачи багажа, закутался в свой светлый, выпавший из сезона плащ и так и проходил всю неделю, провожаемый удивленными взглядами добротнo упакованных томичей. Несмотря на ежедневные застолья, я все-таки успел рассмотреть этот разросшийся бывший купеческий городок, набитый как сельдью буйной студенческой молодежью, с его еще основательными остатками изумительной деревянной резьбы по фасадам домов.

Виктор К., начальник лаборатории, занимающейся прикладной автоматикой в отраслевом институте, оказался человеком чрезвычайно колоритным. Только-только потянуло свежим ветерком перемен и его вольная душа потомка сибирских первопроходцев, немедленно откликнулась. Первый заход был сделан два года назад. Тогда, сговорившись еще с одним умельцем, они, собрав все отгулы и присоединив их к отпуску, подались в сельскую глубинку и заключили с совхозом договор на строительство свинарника сроком на полтора месяца на бригаду из двенадцати человек. Директор, привыкший иметь дело с шабашниками ничего не подозревал, правда с удивлением прочитал в договоре неперемennые требования о жестком графике поставки песка, цемента, бетона и нескольких десятков метров рельсов и горбыля.

Все это было результатом длинных зимних разговоров на кухне под закуску из пельменей и соленых грибочков. Еще больше директора озадачило то, что приличного вида городской мужик, которого он принял за прораба, засучил рукава и вместе со своим напарником споро принялся сколачивать опалубку и укладывать горбыли под узкоколейку. Работа кипела и уже начали подниматься стены, а означенная в договоре бригада все еще не появлялась. Заинтригованный сельский бугор стал появляться на стройке ежедневно, но картина была все та же. Двое шустряков вкалывали по четырнадцать ча-

сов в день, как будто накрученные изнутри, изредка отбрехиваясь, что их товарищи вот-вот появятся из-за поворота. Теперь раскрылся и замысел с рельсами, по которым непрерывно перемещалась вагонетка с песком, гравием, цементом, досками. Становилось ясно, что при такой постановке дел ребята управятся в срок и сами. Тут хозяин начал слегка врубаться. Виктор, правда, успокоил его, заверив, что отделочные работы, а, тем более электрику, будут делать всем коллективом. Однако, до самого торжественного акта сдачи объекта под ключ, означенная пара не увеличилась ни на одного человека, чрезвычайно озадачив всю совхозную рать — бухгалтера, парторга и самого бедолагу директора.

Последний быстро раскинул своим хозяйским умом и уперся, заявив, что не может оплатить оговоренной договором суммы, ибо тот предусматривает двенадцать персон, а в наличии только две, которым он и готов выплатить за отработанное время по максимальной ставке. Смуцал, правда готовый объект, весьма внушительный и пахнувший свежей краской, да и ребята такую постановку вопроса, ну решительно не одобряли, предупредив, что, потратив на строительство хлева больше месяца, смогут превратить его в необратимые составные части гораздо быстрее и пусть он подавится своей селянской зарплатой. Тут пошли взаимные обвинения, типа хапуги, кровососы, шабашники. Ему в ответ неслось не менее убедительное — жлоб, на чужом хую в рай намылился, плати, или разнесем все на хер!

Директор прикинул, что ему лучше для хозяйства — скандал районного масштаба, суды, то, сё, еще и засмеют вдобавок, или — все шито-крыто, готовый свинарник вместо привычного долгостроя и премиальные, а то может быть и крупное повышение за расторопность. Он выбрал последнее, хотя и тут была закавыка — не было тогда таких законов, чтобы двум строителям за месяц с небольшим выплачивать такую бешеную сумму. Ну, в общем, отпустили хлопцев с миром и с полной мошной, не без тревоги, что шила в мешке не утаишь, да, видно, время уже к другому клонилось. С той первой поездки Виктор купил машину.

Когда они с приятелем решили повторить процедуру на следующий год — все уже было совсем иначе. Метод Виктора, проявивший в нем незаурядную инженерную смекалку, был подхвачен на лету кружащими по районам сплоченными, хмельными артелями шабашников. Им пришлось забираться намного дальше и оплата была совсем другая — слухи об их одиссее стали легендой и докатились до самых глухих углов. Тем не менее, со второй поездки Виктор приобрел себе охотничью избушку в тридцати километрах от Томска, в глухом таежном и очень живописном углу. Наняв профессионального архитектора, он соорудил двухэтажную дачку-замок, одну из первых таких, заплонивших через несколько лет все постсоветское пространство.

Я уже собирался порезвиться, приглашенный в его охотничьи угодья, когда до меня донесли вести грустные и обескураживающие. Проводя много времени в тайге, Виктор в конце концов ослабил бдительность и энцефалитный клещ почти убил этого чрезвычайно симпатичного и энергичного сибиряка, превратив его в полного инвалида в возрасте Иисуса Христа. Он иногда появлялся еще в лаборатории, но любое умственное или физическое усилие требовало от него чрезмерного напряжения, как будто он выполнял невысказанно тяжелую работу, так, словно тот его вдохновенный взлет оборачивался своей полной противоположностью, обнажая высокую и трагическую завершенность.

ВУНДЕРКИНД

Его не ждали. Но он пришел. И решительно заявил о своих правах, не считаясь не только с родителями, но и с близкими и дальними родственниками, которых у него с момента рождения оказалось несравненно больше, чем ему впоследствии хотелось бы. Родители его были студенты, сокурсники, жили в общежитии и иногда сталкивались, даже не в сложившихся компаниях, а так, на случайных и сумбурных гульбищах, вырванных у хлипкого от стипендии до стипендии бюджета и несколько более щедрого — от сессии до сессии — времени. Отец был местным, правда с большой натяжкой, если так можно назвать парня, осевшего в этом городе четырьмя годами раньше после службы в армии в далеком Забайкалье, вернее даже стихийно прибывшегося к осколку разбросанного по всей стране когда-то большого и дружного семейного клана. Он успел уже поработать электриком на новом, набирающем силу радиозаводе и выхлопотать направление, что было не маловажно при зачислении, так как пятая графа серьезно подкачала. Мать же была приезжей, из курортного приморского городка, домашней девочкой при маме главвраче и папе директоре школы.

Выскользнув из-под мелочного родительского надзора, она быстро и навсегда привязалась к своему энергичному и нервному сокурснику в неизменном (и единственном тогда) зеленом пиджаке с красным галстуком. Узнав о серьезных и естественных последствиях столь безоглядной привязанности, будущая бабушка, побросав все свои управленческие дела, немедленно заявила для сложных дипломатических переговоров в духе кнута и пряника и тем спасла жизнь едва-едва проклюнувшемуся внуку и твердой рукой закрутила гайки в конструкции молодой, легкокрылой семьи.

Так что к моменту его появления родители уже были знакомы с приемами шоковой терапии, что, возможно, и определило некоторые особенности его характера, проявившиеся впоследствии. Впрочем, при всех сопутствующих обстоятельствах, никаких признаков досады никто из участников этого события в то время не проявлял, более того его папаша был застигнут властями, когда в ранний предутренний час разорял пышный, ухоженный розарий на городской площади, чтобы немедленно и искренне поздравить роженицу. Бабушка с умилением наблюдала за этим процессом из окна третьего этажа. К чему относилось это умиление, какому из двух событий (по-гусарски обнести розарий или сконфуженно объясняться с представителем власти) папаша так и не узнал, характер сложившихся взаимоотношений допускал оба варианта.

Первой колыбелью новорожденного был обычный фибровый чемодан в студенческом общежитии, родители тогда были озабочены сверх меры — начиналась сессионная страда, и он быстро привык к чужим девичьим рукам. Но этот живой и деловой контакт с родителями как-то быстро прервался, на целых полтора месяца он попал в дом ребенка, практически детдом для такого рода младенцев, жертв студенческой вольности. Он сразу сообразил, что детдом это не то, что нужно для жизни, отметился целой серией недугов, всполошив всех своих родственников «от можа до можа» и оказался в надежных руках бабушки и дедушки. Можно сказать, что это было его первое свободное и твердое волеизъявление.

Вернувшихся через полтора года уже одипломненных родителей ждал сюрприз. Перед ними предстал совершенно не знакомый плотненький бутуз с золотыми кудрями, рассыпающимися по плечам, его несколько смугловатая атласная кожа по всему телу была покрыта легким золотистым пухом, а большие миндалевидные глаза на классически вылепленном лице смотрели в упор и с интересом. С ним не было никаких проблем, свежий воздух неизменно погружал его в крепкий сон, он практически никогда не плакал и мог часами заниматься каким-то своим детским делом, не отвлекая на себя внимание взрослых. Родителям, очевидно из-за истории с дет-

ским домом, он не сильно доверял и авторитет бабушки для него длительное время был непререкаем. Правда, уже тогда уговорить его сделать то, что его по какой-либо причине не устраивало, не было никого шанса, ни у кого. Он упорно, от месяца к месяцу набирал вес и в год с небольшим весил около пуда, так что каждый, кто пытался взять его на руки, соблазнившись исключительно приятной и доброжелательной внешностью, вынужден был натянуто улыбаться и демонстрировать показное удовольствие. Он с удовольствием слушал стихи, которые ему читали перед сном и утром мог почти дословно пересказать их, вызывая оторопь у родителей, начинающих врубаться в ситуацию.

Ему как раз стукнуло два года, когда родители забрали его с собой в большой прибалтийский город, где им предстояло начать свою службу. Молодые специалисты сняли угол у старой гримзы, сильно поддающей польки, с занятными привычками. Раза два в месяц она гнала самогон, выпроваживая на это время жильцов для «культурного времяпровождения». Вернувшись, они заставали хозяйку с каким-нибудь очередным старичком дружно присосавшимися к большому, помятому чайнику (с самогоном), удачно пережившему войну и последовавшую советскую оккупацию.

Закуток, который они снимали, когда-то выгородили из большой гостиной в сохранившемся от бомбежек, не шибко благоустроенном многоквартирном доме, явно не рассчитанном на преуспевающих бюргеров. Помещение вышло сырое, холодное, в снежные ночи на стенах выступал иней.

Крысы, не стесняясь, бродили по дому, иногда забираясь в его кровать.

Он поднимал шум, но к родителям идти не хотел, увертывался из отцовских рук и цедил сквозь зубы: «Уйди, цузой, совсем цузой...». Утром хозяйка вставала с головной болью, повязывала полотенце, а он мстительно бродил вокруг ее круглого обеденного стола с барабаном через плечо, воображая себя Мальчишем-Кибальчишем. Отец охотился на крыс, засовывая в обнаруженные норы оголенные электрические провода. Хитрые бестии предпочитали прогрызать новые дыры.

Кот, взятый у приятелей на прокат и запущенный в дом немедленно ощерилась и ринулся под хозяйский неподъемный буфет. Однако вскоре выскочил оттуда весьма сконфуженный и больше активности не проявлял. Поняв, что на трусливого лентяя надеяться не приходится (после того как эти твари в новогоднюю ночь при живом коте сожрали все конфеты, легкомысленно оставленные на столе), отец произвел тщательную ревизию всех плинтусов и забетонировал щели, оставив пару свежих тактических выходов под полным убийственным напряжением. На этот раз ловушка сработала. Ночью раздался душераздирающий писк и крысы исчезли навсегда. Суть разыгравшейся трагедии раскрылось только весной, когда сошел снег и трупик погибшего зверька неожиданно обнаружился прямо у крыльца. Видно, тому еще хватило силы вылезти на свет божий, чтобы сделать последний глоток свежего морозного воздуха. Так убитый солдат во время атаки еще пробегает несколько шагов, прежде чем навсегда слиться в объятиях с землей. Отец подумал и решил об этом никому не говорить — охотничий азарт ушел, и неожиданно возникла острая боль сочувствия. Та зима была мягкой, щадящей, где-то неподалеку протекал теплый Гольфстрим, отрезая потоки ледяной стужи из Ледовитого Океана. Бабушки-дедушки были далеко, очередь в детсад была такая, что ребенок вполне успел бы отрастить бороду. Родители как-то устраивались с работой, меняясь сменами и передавая его друг другу на проходной. Предприятие было режимным, проектным, никаких смен для инженеров не предусматривалось, но начальство шло как-то навстречу: в городе, так и не избавившемся даже через двадцать лет от струпов войны, многого не хватало — жилья, детских садов, просто нормальных человеческих отношений. Коренное население давно превратилось в беженцев: их в свое время посадили в товарные вагоны и отправили навсегда за границу, на Запад. Говорят, что на этом коротком пути, в своем отечестве всегда представлявшимся дорогой мечты, счет умершим шел на сотни тысяч. Их вырвали с кровью из земли, на которой те жили тысячи лет. Смутным напоминанием о них служила лишь заброшенная первоклассная

автострада, выложенная из полуметровой толщины бетонными плитами, сквозь узкие щели между которыми неудержимо пробивалась зеленая, сочная трава. Эта заросшая, как тропка в лесу, скоростная пустынная трасса вела прямо в Берлин. Те, что заняли место изгнанных, не могли избавиться от тягучего вокзального чувства неопределенности, тем более, что в своей существенной части постоянно находились в море, в длительном плаванье, и, возможно по этой причине, в крайне неустойчивых домашних обстоятельствах. Но Его молодые родители как раз переживали, быть может, свой самый романтический период. Опьяненные перспективами, открывшимися возможностями, полной независимостью, свободой, ломящимися прилавками с живыми и копчеными угрями, с четырехкилограммовыми банками истекающей жиром сельди «капитанского» засола, со сказочным ассортиментом от крупнейшего в стране рыбкомбината, с забугорными «шерри-бренди» и черной паюсной икрой на развес — и это все после пяти лет скудного студенческого существования — они переживали состояние эйфории и с юмором воспринимали мелкие, как им казалось неудобства. У матери, до того не знавшей, что такое настоящая снежная зима, вдруг объявились странные пристрастия. Иногда она приходила в полночь со второй смены, но не спешила в семейную постель, а одевала лыжные ботинки, и, захватив снаряжение, с затаенной улыбкой исчезала из дома, приводя в полное изумление мужа — он-то знал ее неприязнь к любым видам спорта. Но она получала истинное удовольствие, прокладывая свежую лыжню к ближайшему буераку по совершенно безлюдным ночным улицам, сопровождаемая одним лишь бдительным оком лунного диска. Возвращалась она запыхавшаяся, запрошенная снегом, раскрасневшаяся и совершенно счастливая. Отец чувствовал что-то необычное, разлитое в воздухе и пророчествовал, дурачась:

— Вот, у нас ничего нет, кроме ящика с книгами. Нет своего угла, даже койки в общежитии, нам не с кем оставить ребенка даже на минутку и тем не менее у меня такое ощущение, что мы переживаем самое безмятежное время, какое

только можно себе представить, дальше может быть только хуже, даже, когда у нас все будет. Вспомни мои слова лет эдак через пяток.

К проходной родители возили Его на трамвае. Путь был не близкий, вдоль ограды знаменитого морского порта, из-за которой вздымались силуэты гигантских, высотой с десятиэтажный дом судов — к порту была приписана китобойная флотилия «Слава» — и занимал минут сорок. И все это время Он громко, на весь вагон, с выражением декламировал стихи:

«А ты знаешь, сколько тонн
Весит слон?
Слон индийский — двадцать тонн,
Африканский — десять,
А не веришь — сам поймай
И попробуй взвесить...»

В голове у него уже поместилось несколько книг, и родители ловили любой случай расширить ассортимент. Ему нравилось внимание и удивление публики.

Чтобы как-то разрулить ситуацию, в которой родители — начинающие, перспективные инженеры — вольно или невольно оказались заложниками своего единственного ребенка, мать решила на предельно отчаянную по тому времени акцию — записалась на прием к секретарю обкома, полновластному хозяину на территории, где прежде гнездились одно из самых влиятельных государств Европы. Как ни странно, но тот ее принял. Разговор получился интересный и запоминающийся. Похоже, государственный корабль медленно и неуклюже разворачивался на другой курс, и власть не стремилась это скрывать. То, что излагал высокопоставленный чиновник, шокировало своей непривычной откровенностью:

— Зачем вы ходите по кабинетам, вы, будущие хозяева. Не тратьте на это время и энергию, мы ждем от вас совсем другого. Ваш вопрос решается элементарно. Как? За деньги. Мы вам хорошо платим. Вот и пользуйтесь. Никто не может заставить заведующую взять лишнего ребенка, даже я. Не

имею права. Но за деньги она найдет скрытый ресурс. Они ведь у нас нищие, как церковные мыши. Так что идите и думайте. И давайте так — поменьше жалоб, побольше инициативы, если не вы, то кто? Желаю успеха.

Однако приученные к постоянной опеке сверху молодые родители посчитали такую явную его, т.е. государства, попытку уклониться от ответственности чуть ли не предательством. Они не стали проверять советскую власть на паршивость, а решили в отместку сами расплевать со своими обязательствами, т.е. стали хлопотать об откреплении, не дожидаясь истечения кабальных трех лет.

Наш герой как будто только этого и ждал. Наступила весна, время перемен и он выдал свечку самых разнообразных недомоганий, типа «шпор», у него, как и у его матери кожа на пальцах рук странно истончилась, стала прозрачной, как папиросная бумага, через которую проглядывала тонкая, нежная сеть капилляров. Этими вещами многие страдали там, в этом опаленном давно закончившейся войной городе. Причина недуга осталась для них нераскрытой, но она стала той соломинкой, что переломила хребет верблюду. Так он снова оказался на юге, теперь уже под двойным приглядом, которые он снисходительно принимал: родительским — по необходимости и бабушки с дедушкой — по искренней привязанности. А также еще и разных тетек и дядек в силу их родственных притязаний, к ним он относился со всем присущим ему с детства скепсисом.

Он очень рано проявил самостоятельность и способность владеть ситуацией. Родители с облегчением убедились, что его без опаски можно было оставлять дома одного на длительное время. Это было удобно. Он себе спокойно занимался игрушками, либо что-то малевал на бумаге. Он никогда не стремился вовлечь взрослых в свои игры, но охотно подыгрывал, если кто-то проявлял инициативу. Родители даже могли сбегать в кино, оставив его одного в манеже, предупредив заранее, что они отлучаются надолго. Обычно он не возражал, если только был здоров, покормлен и чем-то занят. В четыре года отец нашел ему учителя английского. Выпускник выс-

шей мореходки из Одессы обучал его по собственной методе вместе с собственным сыном, придумав для этого нечто вроде самодельного лото. Они быстро прогрессировали, как это умеют только дети, но тут делового одессита двинули по службе на заведование Интерклубом, запретив категорически всякие посторонние контакты и заработки. Так что первая попытка дать подающему надежды ребенку широкое образование не получила развития. Уже по собственному почину он рано пристрастился читать, и родители, сами страстные книгоманы, изо всех сил старались раздобыть книжки популярных детских авторов, обивая пороги книжных лавок, дорожа каждым знакомством из этой сферы и даже в командировках прежде всех выставок, музеев и значных мест рыскали в поисках продукции Детгиза. Отец не уставал повторять:

— Хорошая книга — это, по-любому, самый лучший учитель, а в провинции — и единственный.

Когда ему исполнилось пять лет, отец решил поощрить природную самостоятельность малыша, разрешив самому, без сопровождения добираться до садика. Для этого надо было ехать в центр автобусом, а потом еще с квартал идти пешком. Отец сажал его с передней площадки и незаметно сопровождал, устроившись в плотных утренних рядах на задней. Последнее, оказалось, было совсем не лишним. Нередко смысленный пацан умышленно сходил остановкой раньше и оставшийся кусок пути использовал на полную катушку. Он совал нос во все дырки, подолгу стоял перед каждой рекламой и объявлением на пути, перед продавщицей мороженого, перед сатуратором с газированной водой, перед бочкой с квасом, перед будкой сапожника, перед памятником лейтенанту Шмидту, обсиживал каждую скамеечку в маленьком скверике около летней забегаловки — стекляшки. Иногда у отца не хватало времени и терпения и он, предупредив тещу, которая жила поблизости, буквально в двух шагах — уезжал на работу. Та, едва смиряя себя, долго и с любопытством наблюдала со стороны за свободным пилотажем горячо любимого внука, либо решительно появлялась в его поле зрения. Сохранилась фотография с того времени на каком-то празднике, где он в

белом халате, с круглыми очечками на носу, и со стетоскопом, взятом у бабушки на прокат, изображает Айболита. В его облике нет ничего гротескного — ни у кого не вызывало сомнения, что это предвидение его никем не оспариваемого будущего. Возможно, в это верил и он сам.

Школу ему подбирали долго, прикидывая все за и против и, наконец остановились на той, что была ближе к дому. Несмотря на ее вполне заурядный статус, к их удивлению, процент выпускников этой школы, получающих, в конечном счете высшее образование, оказался наибольшим, впрочем, как и будущих насельников всякого рода зон и тюремных центров — тоже. Это говорило о том, что заведение воспитывает реальных прагматиков, директор ее носил звание «заслуженного» и был стойким последователем Макаренко, имея внешность и замашки Тараса Бульбы. В первый же год учебы наш герой проявил все стороны своей многогранной и противоречивой натуры. Он легко, почти воздушно овладевал всей школьной премудростью, не выказывая каких-либо специфических пристрастий, к учебе относился по-деловому, как к забавной игре, но игре навязанной, как обязательная программа в неких соревнованиях. Свободная же программа уже с первых шагов становилась для него истинным содержанием жизни. В результате он сделался центральной фигурой всех классов, а, позднее, и школьных собраний. Безупречная, примерная успеваемость — каждый год он неизменно заканчивал с похвальной грамотой, сочеталась в нем с беспрецедентной активностью совсем иного рода. В первый год учебы, что было особо отмечено в анналах истории этой школы, из двадцати двух серьезных нарушений в младших классах, достойных чтобы о них помнить, он активно соучаствовал в девятнадцати. Из них самым безобидным был побег с уроков в компании самых отчаянных малолетних негодяев для участия в экспедиции чуть ли ни на другой конец города, на свалку завода стекловолокна за разноцветными стеклянными шариками, где вся эта шайка была поймана обходчиком на горячем в момент, когда они, дружно навалившись, переводили железнодорожную стрелку. Их доставили тогда в ближайший опор-

ный пункт милиции и долго мурыжили, припоминая почему-то приснопамятный 37-й и как расправлялись с врагами народа. Он был везунчик, но иногда провидение притворно хмурило брови, пугая его грозным видом, правда, без видимых серьезных последствий: то сложный перелом лучевой кости, то разрыв связок, то обширный ожог, на лечение которого ушло две литровые банки дельфиньего жира.

Родня, дальняя и ближняя, лихорадочно искала, куда канализировать его неумную активность и, как казалось, не знающие никаких границ возможности. Но он последовательно отвергал все традиционные опции. Шахматы его не заинтересовали. Ровесников он легко обыгрывал, с взрослыми же так с налету не получалось, а проигрывать ему было не по нутру. Очень. Позже выяснилось, что игру, как вид соперничества, он вообще не принимал. А карты и вовсе терпеть не мог. Это было не его. Впрочем, как и многое другое, например, музыка. Он недурно рисовал и очень любил красочно оформлять разного рода домашние задания, изводя на это кучи журналов или даже старых своих детских красочных изданий. Эти работы выставлялись иногда, как образцовые, в школе. Когда же ему предложили поучиться живописи профессионально, он с прямотой римлянина оборвал все поползновения вопросом: «А для чего?». Этот вопрос-ответ еще не раз станет паролем для его взаимоотношений с реальностью. Казалось, природа, находясь в хорошем расположении духа, щедро набросала ему из своих закромов, поскупившись лишь на честолюбие.

В третьем классе отец отвел его в спортивную школу по плаванию. Она входила в число городских достопримечательностей, ею гордились. Это была настоящая Школа, в ней Заслуженные Тренеры воспитывали Мастеров. Тренировки были почти ежедневные, по четыре часа кряду. Через два года они удвоились, разделившись на утренние — до начала занятий и вечерние — после школы. Бассейна становилось слишком много. Он сразу понял, что не будет профессиональным пловцом. Здесь, на дорожке он никогда не станет первым, кураж не тот. Его прагматичный мозг не заразился спортивным азартом. Годы, проведенные в бассейне, принесли лишь пер-

вую большую проблему, никогда потом от него полностью не отлипавшую. Увидев впервые его распухшие колени, родители в панике помчались на прием к профессору в областной центр, и тот с умным видом категорически порекомендовал держать его вдали от любой большой воды, иначе... Но родители целеустремленно выращивали вундеркинда, а вовсе не инвалида и потому, скрупулезно записав установки ученого эскулапа, поступили с точностью до наоборот. Они, поселившись на целое лето на косе, каждый день зарывали его в раскаленный под испепеляющими лучами солнца песок. Проблема как-то плавно истаяла, по крайней мере, на ближайший десяток лет. Но с большим спортом было покончено навсегда. Голубые дорожки не стали для него Школой. Преодоленные сотни километров не привели к другому берегу. Заслуженные тренеры потратили с ним время зря, если не считать того классического баттерфляя, который он по случаю демонстрировал позже на пляжах экзотических европейских курортов. Он не годился на роль рядового члена дружной, сбитой команды. В нужное время и в нужном месте он, как и многие его сверстники будут вкладывать в это слово совсем иной смысл. По окончании пятого класса ему предложили перескочить сразу в седьмой, общая программа была для него уж слишком не обременительна и лишь отбивала интерес. Но он решительно отказался, не называя причин. Вернее опять прозвучало дежурное «А для чего?». Причина все-таки была, но она была озвучена много позже и, неожиданно, оказалась очень серьезной.

С бассейном связана и первая «операция», проведенная им самостоятельно, если не считать какие-то смутные слухи, которые он не опровергал, но и не подтверждал, лишь загадочно улыбался, — о том, что он брал мзду — то ли пятаками, то ли гривенниками, — за помощь своим менее успешным одноклассникам. Даже если такое и было, то это, скорее, соответствовало его специфическому пониманию справедливости, он не склонен был к примитивному жлобству, все отмечали присущую ему широту натуры, чем в свое время просто потряс свою рижскую родню, но, одновременно, испытывал не-

преодолимое, даже болезненное отвращение к любым попыткам, истинным или мнимым, использовать его в своих целях и пресекал эти попытки решительно, а, порой, и беспощадно.

Уход из спорта совпал по времени с его переходным периодом, когда гадкий утенок начал приобретать черты грациозного лебедя. Некоторые его товарищи уже вымахали с коломенскую версту, но он слегка задержался в своей подростковой, а потому болезненно относился ко всем внешним аксессуарам, к одежде, к прическе. Отец догадавшись, что он уже покуривает, вспомнил, как сам со товарищи собирал бычки на подмосковной платформе Лосиноостровская («Когда же это было? Ага, в четвертом классе...») и, поразмышляв, сделал ему деловое предложение:

— Что-то ты, сын, сильно торопишься жить, ладно, не напрягайся, я не собираюсь читать тебе скучную мораль. Сам такой, сколько раз бросал, уж и счет потерял. Давай лучше договоримся. Заключим с тобой, как говорится, взаимовыгодную сделку. Ты завязываешь с этим дурным делом, а я достану тебе шикарный кожаный кейс. До твоего дня рождения два месяца, это будет испытательный срок. Ну что, по рукам?

Кейс действительно был давно приготовлен и дожидался только удобного случая. Он как-то легко и без колебаний согласился, тем самым признав косвенно свой грех, однако обещания своего не выполнил, более того очень скоро был замечен дымящим, как паровоз, в компании столь недвусмысленно уличной и опасной, что поверг в шоковое состояние всю свою родню. Ни о каком поощрении и речи уже не было, тем не менее, он обзавелся все-таки коричневым кейсом крокодиловой кожи и на недоуменный вопрос, откуда что взялось небрежно бросил: «Так, приятель дал на время».

Приятель таки дал, бывший коллега по голубым дорожкам. Еще бы, как же не «дать». К этому времени герой наш стоял уже членом совсем другой команды. Пройдет еще время, пока такие «команды» станут на производственный манер называть бригадами, скрывая суть за циничным эвфемизмом, призванным заменить всем понятное и хлесткое слово «банда». В подборе соучастников не было системы, разве что без-

ошибочно распознавали они друг друга по присущей им преждевременно и опасно разгоревшейся страсти, в которой когда-то признавался поэт Александр Блок «Да, скифы мы, да азиаты мы с раскосыми и жадными очами».

Миха был его одноклассник, не обремененный с рождения интеллектом, но тоже обладавший специфически обостренным чувством справедливости, который искренне полагал, что самый надежный аргумент в жизни — это собственный крепкий кулак, оттого ходил регулярно по вечерам в спортзал и колотил грушу. Ему предстоит стать рядовым быком и большую часть жизни провести в зоне. А в общем Миха был добрый и, по сути, простой, бесхитростный малый и мог бы стать хорошим солдатом.

Лелик возник из ниоткуда, он был сам по себе, белокурый херувим, выпавший из стада бытовых дебоширов и пьяниц, рядовых обитателей пригородных хрущевок. Он предпочел бы стать инженером или еще лучше врачом, но слишком скептически оценивал свои реальные возможности, чтобы доверить им свои до срока распухшие желания. Он был из всех, пожалуй, самый здравомыслящий и никогда не мог понять, что привело в их среду нашего героя. В конце концов Лелик переродился в тихого, добропорядочного обывателя, поколотившись несколько лет на краю пропасти.

Но безусловным, признанным вожакom стал Коля Колбаса, потомок знаменитого на весь юг Украины покойного Деда Колбасы, непревзойденного народного целителя, мануальщика. Очередь к Деду на прием когда-то была расписана на годы. Приезжали люди из столичных мегаполисов, из-за бугра, добирались даже хохлы из Канады. Говорили, что помощников Дед подбирал из тех, кто мог втемную, не вынимая рук из мешка, на ощупь собрать разбитый на куски глиняный горшок и якобы никто, кроме его дочери подобного испытания не выдержал. Неоспоримое верховенство Коли Колбасы определялось не только исключительной, возможно наследственной, ловкостью рук или не проходящей славой его незаурядного предка, но, главным образом положением его двоюродного брата, уже совершившего ходку в зону и пользующе-

гося полным доверием местного укорененного криминала. Именно тому принадлежала инициатива сбить свежую стаю из волчат, страдающих необузданным аппетитом. Их натаскивали по программе, обкатанной многими поколениями «воровского братства». Имея покровительство криминального авторитета, им не пришлось надолго застрять в роли жалких шестерок. Их щадили настолько, насколько это слово применимо в той среде. Наживка была проста, обкатана не одним поколением джентльменов удачи. С шиком покатали на такси, угостили пару раз шампанским с ананасами, американскими сигаретами, показали, как легко разрешаются их проблемы со сверстниками и сверстницами, а потом жестко объявили первую заповедь: «За все надо платить» и вторую: «Вход — рупь, а выход — два». За вход каждый должен был обнести свою собственную семью, это была проверка. На это трудно, невозможно было решиться, его «примерная», «правильная» половина вставала дыбом. Коля Колбаса подружески помог, пока он на кухне готовил коктейли для бригады в отсутствие родителей.

Из дома тогда исчезли материнские часы-кулон с гранатом, подарок на десятилетие свадьбы, четыре отцовские серебряные медали с ВДНХ и 500 рублей, которые именно ему самому мать накопила на специальном счете и обналичила в надежде подарить что-нибудь существенное.

Насчет денег он сказал потом, что взял их лично — поскольку считал своими и должен был оплатить опасный долг. Насчет всего остального — не сознавался никогда, и, похоже, эту часть «дружеской услуги» Коле не простил.

Долга на самом деле не было. Их до игры не допускали, только показывали с воспитательной целью. И с такой же целью как-то посадили на машину и отвезли на косу, вместе с их менее удачным сверстником, который что-то там по воровским понятиям задолжал. Паренек клялся, что у него ничего нет и негде взять. Два быка вытащили его из машины, жестоко избили и изнасиловали, пригрозив, напоследок, что если через две недели не вернет долг, то на этом же месте закопают живьем в песок. Наглядность произвела впечатление и по-

служила прологом к усвоению неофициальной версии мироустройства: «Весь мир делится на две касты: людей и фраеров, козлов. Люди — это воры. Фраер объект для вора, не более. Вор для фраера существо высшее, неприкасаемое». Другой каткомбный принцип утверждал, что женщина — не человек. Доказательству последнего отводилась особая роль в процессе. Постановка взаимоотношений с «телками», «биксами», «сосками» составляло суть вечерних развлекательных программ. В курортном городе, который летом разбухал чуть ли не в пятеро, с его бесчисленными танцплощадками, где музыка гремела далеко за полночь, в них недостатка не было.

Когда через несколько лет в минуту откровения он буднично описывал эту методику отцу, тот вспомнил почему-то, как с приятелем в студенческие годы подрабатывал у геологов, летом в Карпатах, вблизи польской границы. Они сняли тогда угол в деревенской хате со столом. Хозяин был рад неожиданному заработку и решил для постояльцев забить козу, что бляяла в сарае — что-то та скупилась на молоко. Он взял большой столовый нож и эмалированный тазик и двинулся во двор, пошутив на ходу, вот, мол повезло вам, голимым студентам, попробуете свежатины, но когда они сунулись было за ним из любопытства — резко остановил — нечего на ЭТО смотреть. Им, здоровым мужикам, отслужившим армию. Простой крестьянин-гуцул источал укорененную в нем многими поколениями, глубинную суть христианского милосердия. Козлятина та потом застревала в горле.

Семь классов наш герой закончил, как повелось, примерно. Директор, вручая похвальную грамоту, заявил, что он гордость школы, участник всех олимпиад и несомненный кандидат на золотую медаль. То, что от него при этом за версту несло улицей, директора не смущало, о многом он и не подозревал — подумаешь, сколько бывших шпанюков с темных окраин ходит в начальниках, они и есть самые деловые.

Ему опять было предложено перескочить через класс, идти сразу в девятый, в любой, по выбору. Но он отказался. И на этот раз после долгих, утомительных препирательств, признался отцу:

— Да что тут непонятного. Я сейчас от двух-трех отмахиваюсь, а там я буду самый маленький, мне что, со всем классом драться? Ну, не нравится кое-кому мой фейс, не нравится! Тебе объяснить, почему? Или ты думаешь, что в школе все по линейкам, по вашим книжечкам живут. Это только на уроках тишь да гладь, да и то... А на больших переменах, пока предки на работе, вообще... сказать — не поверишь...

Но до момента получения медали он не дотянул.

Оказалось, что принцип «За все надо платить» имеет более универсальный, даже провидческий смысл, он тащит за воротник на правее не только тех, кто предпочитает жизнь «по понятиям». Через год возник вопрос, что делать дальше. Он жил одновременно в двух измерениях, в двух разных мирах, родители не могли не видеть этого. Он посещал занятия, приходил домой, делал уроки — это стало частью его природы, а потом исчезал и появлялся за полночь, иногда не приходил вовсе, тогда молча считалось, что он ночует у бабушки. Это была такая игра, в которой каждый знал, что правда окажется невыносимой для всех. На семейном совете решили, что лучше после восьмого класса поступить в медучилище — это как никак профессия, между прочим не плохая, городское медучилище готовило военных фельдшеров, а там видно будет, при нормальном раскладе мединститут никуда не уйдет, а фельдшер — он и в армии фельдшер. По умолчанию все понимали в чем дело. Рушилась большая мечта.

Директор школы был шокирован, такой расклад ему показался очень уж заковыристым, парень, одаренный по его оценке сверх меры, из уважаемой интеллигентной семьи, планировал свою жизнь, как заурядный троечник.

В окружении нашего героя мало что изменилось. Миха пошел в училище вслед за ним. Их «бригада» набирала вес среди молодой, приבלатненной поросли.

Как-то краем уха он услышал, что его соседи по лестничной клетке собираются крупно прибахлится. Двое братьев-погодков редко бывали дома — в основном проживали в спортивном интернате под Харьковом, в резерве республиканской команды велогонщиков. Они были с ним почти сверстники,

но по жизни как-то не пересекались. У тех было свое окружение, среди них даже один давний нашего героя короткий приятель — родители дружили домами еще со студенческих лет. Ребята были все крепкие, спортивные, накачанные, много ездили и предпочитали не бомбить, а подторговывать, спекулировать. Они назанимали бабла, где смогли, и смотались на львовщину за палеными джинсами, заячьими шапками и прочей мишурой. Все переговоры велись рядом, за стеной, слышимость была прекрасная. Он выяснил главное — где хранится товар и выложил Коле Колбасе свой план. Он полагал, что все ограничится выяснением отношений между бригадами, тут ясно, чья возьмет. У тех никакого авторитета в криминальной среде не было, так, обычная фарца. Но случилось неожиданное, ребята, оказавшись в долгах и без товара, все рассказали родителям, и дело дошло до органов, где у пострадавших обнаружили свои концы. Город маленький, все завязаны. Органы посоветовали решить дело по-семейному, не вынося сор из избы. Это был уже совсем другой расклад, следовало все вернуть — да не тут-то было: Коля считал себя правильным воров, и «вернуть» было не по понятиям. В результате все, что было тогда перепрятано из соседского подвала в свой — такая вот бесхитростная операция — в одну ночь просто исчезло вместе с замком и всем, что там еще родители держали ценного.

В милиции дело согласились замять при условии денежной компенсации — спекуляция уже считалась меньшим грехом. Миха с Леликом согласились в компенсации поучаствовать, а Коля Колбаса решительно отказался:

— Может, ты сам себя и обнес, ты ж парень с головой.

Это была наука, воровское товарищество оказалось с душком. Отец сказал тогда:

— Тебе еще повезло. Считай, что ты теперь живешь на свободе заочно. Но долг свой будешь отрабатывать сам. Пойдешь летом на завод, я договорился. За месяц управишься.

Договориться было не просто. Он был еще подросток, неполных 15 лет, правда достаточно крепкий и с характером. Но на заводе людей хронически не хватало.

Его поставили на волочильный стан, обычно там работали ядреные, зрелые женщины. Но рядом на машинах грубого волочения он видел исключительно мужиков атлетического вида, им приходилось гнуть руками проволоку в палец толщиной, в них угадывались бывшие эки, о чем свидетельствовали многочисленные наколки. В цехе было невыносимо жарко, и стоял такой грохот, что уши ломило. Он выдержал эти несколько чудовищных недель, но поклялся себе, что в тюрьму никогда не сядет и к тяжкому физическому труду получил стойкое отвращение.

Казалось, что своим двусмысленным положением он уже тяготится, проявленное коварство вожака, и то, что медицина была ему явно по душе, должно быть, усугубляло эту раздвоенность, но он уже увяз глубоко, и на следующее лето громыхнуло.

На время курортного сезона отец обычно бронировал номер не базе отдыха или ставил там палатку, где гнездились ежегодно многочисленные родственники и друзья. Были такие возможности. В тот год наш герой попросился на косу и отец поставил там палатку, в которой иногда и сам ночевал вместе с ним, приезжая вечером на мотоцикле и организовывая дружеские застолья со своими коллегами из Москвы. Сын садился за стол вместе со всеми и развлекал общество свежими анекдотами, которых где-то набирался в изобилии. Жена ученого коллеги отца из ведомства академика Александрова, дама близкая к московскому бомонду, убеждала:

— Ты смотри, какой захолустный Антиной у тебя нарисовался. Куда там микеланджеловскому Давиду. Видела я его во Флоренции, ничего особенного. То ли импотент, то ли гомик. Этот и в плечах пошире, и в талии поуже, и в шее подлиннее. И голова варит, не хурты-мурты и в плавках чувствуется то, что надо, не какой-то там мраморный хвостик. Он уже и сейчас занятый будет для любой женщины.

И, слегка поддав, громко откровенничала:

— Не мелочитесь, юноша. У вас завидная фактура. Как горворится, иметь — так королеву, а воровать — так миллион.

Вы здесь сгниете, это не ваше. Надо целиться на Москву. Но учтите, столица как ветренная женщина, она обожает завоевателей, не статистов.

Она краем уха кое-что слышала.

К ироничным замечаниям светской дамы он прислушивался с нескрываемым интересом. Ночью, как передавали потом отцу, он выходил на дорогу, затянутый в полосатые, расклешенные джинсы, скроенные собственными руками. Мимо шелестели шинами редкие лимузины, развозя по многочисленным пансионатам подзадержавшихся, поддатых отдыхающих и он кричал во весь голос, обратив красиво посаженную голову в небо:

— Ну кто хочет сегодня стать королевой!

Днем он появлялся на заводской базе отдыха, где у него было прикрепленное место в столовой. С этого все и началось.

Отцу позвонили на работу и попросили срочно, неотложно встретиться. Голос был не знакомый, девичий и очень встревоженный. Они встретились через час около городского сквера. Девушка оказалась высокой, стройной, с ногами от подмышек, вся какая-то прибранная, ухоженная, таких он видел только на обложках журналов. Но то, что она говорила, напоминало сюжет голливудского боевика. Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Они бродили по аллеям сквера, но обескураженному отцу казалось, что он нежданно-негаданно оказался в диких джунглях. Девушка держала его под руку, затягивая в омут какой-то невероятной и опасной истории. Она сказала подружкой его сына. Пересеклись они несколько недель тому, на заводской базе, где она отдыхала в качестве гостыи заводской администрации. Да, именно гостыи и, причем почетной, потому что была единственной дочерью очень крупного чиновника, тесно связанного со строительством фантастического северокрымского канала. Администрация отвечала за нее головой и устроила ее со всем возможным комфортом — на следующий год ей предстояли трудные выпускные экзамены в школе. Им оказалось очень интересно друг с другом, да и обстановка располагала: море, солнце, пляж и они, такие юные, красивые, умные и беззаботные.

Однако, через некоторое время он познакомил ее со своими друзьями, которые представились столичными студентами, киевлянами и выглядели гораздо старше его, всем лет за двадцать. Он знал их с позапрошлого лета, но они тогда не воспринимали его всерьез: так, пацан как пацан. Но в этом году все переменялось, и они его приняли как равного. Наверное, нужно было. Столичных знакомцев было четверо, все дети крупных работников, один даже сын министра, на которого был зарезервирован номер люкс в одном из пансионатов. В этом номере они и поселились все вместе. Позже к ним присоединилась молодая, лет 18 девчонка, надо понимать, их давняя заединщица, тоже из Киева.

Поначалу ничего подозрительного девушка не заметила, обычная студенческая компания, только очень замкнутая, она подумала, что это просто снобизм чиновничьих отпрысков, она и сама была из той же среды. Но правда оказалась совсем, совсем в другой стороне. Как в сказке про Али-Бабу в кувшинах оказалось не масло, а разбойники с длинными ножами. Они в первый же день по приезду прошлись по базару, по дворам, и скупили весь наличный мак, потом приобрели огромный алюминиевый бак, перекрутили на мясорубке два ведра яблок и загрузили в бак вместе с маком, где вся эта масса, накрытая марлей, пыхтела и булькала две недели. Дня три назад варево созрело, и они начали его есть ложками и развязали языки. Та девушка, что жила вместе с ними в номере, оказалась ловкой мошенницей, хипесницей. Она в ресторане снимала «жирных» клиентов, приводила, куда надо, а ее приятели их грабили или еще чего хуже. Если верить тому, чем они хвастались, нахлебавшись дури, то из Киева за ними тянется длинный хвост разбойных дел, в том числе и мокрушных. Такая вот игра в крутых.

Отец был в затруднении, как отделить возможную правду от разыгравшегося испуганного воображения, пьяного хвастовства или примитивного розыгрыша. Однако, вспомнил, как жена с неделю тому жаловалась, что из дома исчезла, а потом появилась мясорубка и она никак не может найти этому объяснение, он и сам был под подозрением.

Так что у рассказанного была весомая чугунная база, она же вещественное доказательство с приставшими невесть откуда зернышками мака.

Эти ребята ни в чем не нуждались, у них все было: красивые девушки, деньги, машины, дачи — они искали остроты ощущений. До вчерашнего дня молодую парочку они не трогали, шутили, мол, пусть голубки порезвятся.

— Ваш сын дурью не баловался, так, иногда мог выпить полстаканчика вина. Ему лестно, что такие взрослые, крутые ребята взяли его в компанию. Я ему говорила, убеждала, что нам там делать нечего, но он посмеялся, сказал, что я ничего не понимаю, что он точно такой же и у него нет перед ними никаких преимуществ, чтобы пренебрегать, и он их не боится, чтобы от них убежать. Он с ними только потому, что ему интересно. А я уже не могу его бросить. Он хороший. Он совсем не такой, как они. Я к нему очень сильно привязалась. И боюсь за нас обоих. Вчера они сказали: хватит быть эгоистом, надо делиться с товарищами, у них железное правило — все общее, женщины в том числе. Он рассмеялся и сказал, что этого никогда не будет. Но они пригрозили: «Еще посмотрим». И они нисколько не шутили. Я видела по их глазам и как они смотрели на меня. Я ужасно боюсь, они ведь так не отстанут. И сегодня мы туда должны идти вдвоем, а я сказала, что у меня переговоры с родителями в городе на главпочтамте и позвонила вам.

Нет, на розыгрыш это не похоже. Действовать надо было немедленно. Милиция здесь бесполезна. При таких связях не известно, чем все обернется. Номер люкс просто так никому не дают. С девушкой договорились, что она немедленно, сию же минуту садится в автобус и уезжает домой, к родителям в Симферополь. Документы и вещи вышлют потом.

Отец вызвонил своего приятеля, коротко объяснил обстановку и попросил подстраховать. Они сели на мотоцикл и через полчаса были на месте — адрес девчужка дала, хотя и страшно рисковала.

Отец не первый раз в жизни убеждался, как самоотверженны до безрассудства могут быть женщины, охвачен-

ные чувством. План вызрел по дороге. Он постучал в номер и спросил Сергея — тот был по его информации у них за главного.

Перед ним предстал вовсе не громила с челюстью кирпичом, а красивый парень, как будто сошедший с немецкого плаката, изображающего классический нордический тип, «белокурую бестию». Ни один мускул не дрогнул на его лице, когда отец представился и предложил поговорить. Ничего, кроме холодной вежливости хорошо воспитанного человека, знающего себе цену.

Они отошли в холл.

— Молодой человек, не будем крутить динамо, вы, верно уж, догадались, зачем я здесь. Мне о вас известно кое-что. Пока — только мне. У нас город небольшой, и люди мы здесь не последние. Сына я вам просто так не отдам. Вас давно ищут и раньше или позже найдут. Здесь свои порядки, вы не профессионалы и этого не понимаете. Вас даже местные воры с удовольствием утопили бы в дерьме, только шепни. Я лично шептать не собираюсь. Но при одном условии. С этого момента вы должны забыть о существовании моего сына. Навсегда. Никаких попыток связаться, никаких выяснений отношений. Я понимаю, что вы имеете на него влияние, и это не удивительно. Тем не менее, вы оставите его в покое. Тогда у вас будет шанс выпутаться. Мне нужен от вас ответ здесь и сейчас — да или нет. Мы рискуем оба. Прикиньте, как возбудятся наши провинциальные пинкертоны. Это ж верные звездочки на погоны. Вы не похожи на человека, который спешит их облагодетельствовать.

За все время разговора парень не произнес ни одного слова, ничем, ни жестом, ни мимикой не выразил своего отношения к тому, что происходит. Только помолчав несколько минут, в то время, как оба смотрели вниз во двор пансионата, где вокруг огромной цветочной клумбы с визгом носились несколько подростков — подрастающая поросль тех, кто попадал сюда по особым спискам «нужных людей», твердо сказал: «хорошо!», резко развернулся и ушел к себе в номер.

С сыном разговор вышел тяжкий, и он тенью лежал на всех их дальнейших отношениях. Отец передал содержание разговора с его подружкой и предупредил, что единственное условие безопасности его друзей — полный с ними разрыв. Это то, что он может еще для них сделать и пусть молит бога, чтобы они не надумали нарушить соглашение. Трудно представить, чем это для всех может закончиться.

Отец с облегчением узнал, что уже на следующее утро номер в пансионате оказался пустым, оставив администрацию в полной непонятке. Залетные исчезли стремительно и навсегда.

Через месяц сын уехал продолжать учебу далеко на Урал, в «рабочую среду», подальше от курортных соблазнов. На время было уже не то. Среда не лечила, а учила, но вовсе не так, как представлялось его несколько старомодным родителям. И, возможно, это оказалось самым большим искривлением задуманного природой.

ЭКСТРАСЕНСЫ

Пожалуй, никто из выдающихся инженеров нового времени не вызывает столь жгучего интереса, как Николай Тесла. Он пришел ниоткуда и ушел в никуда. В его разработках явственно ощущается запах серы, который неуловимо примешивается к озону, сопровождающему мощные разряды его необычного интеллекта. Его разработки до сих пор вызывают оторопь своим грандиозным замыслом. А его утверждение о том, что он знает, как передавать электроэнергию по гигантскому конденсатору между небом и землей, так и осталось неразгаданной тайной, недостижимой мечтой энергетиков. Похоже, Тесла утащил эту тайну с собой в могилу, как в свое время подобным образом поступил Леонардо да Винчи, утаив от человечества секрет его возможного существования под водой. Последнее особо волнительно в свете утверждений физиологов, что анатомия человека с головой выдает первородность для него водной стихии.

Но есть в работах Тесла и еще кое-что, явно за пределами доступного всем чувственного опыта. Не зря люди, оказавшись в поле воздействия его Лаборатории, расположенной на вершине горы над Колорадо-Спрингс, жаловались на некие невидимые силы, проникающие сквозь одежду и кожу в их внутренний мир, вызывая странные эмоции и настроения. Эти силы они связывали с огнем из пекла, и однажды он таки испепелил здание на холме и навсегда заставил замолчать того, кто пытался его приручить.

И был момент, когда мне показалось, что я слегка приоткрыл завесу над этой тайной.

Все началось абсолютно прозаически. Но, как говорится, случай идет навстречу тому, кто его ищет. Я тогда еще только осваивался в новой для меня роли руководителя Лаборато-

рии, но уже знал, что кроме занятий промышленной автоматикой, мне придется оказывать и некоторые внеслужебные «услуги». Это было неизбежное зло. Так что, когда мой шеф Гутман — породистый, вальяжный еврей, официально Главный Конструктор, а на деле скрытый лентяй, сибарит и недурной музыкант, попросил помочь «нужному человечку», я ничего, кроме досады не испытал. У меня и в мыслях не было, что это судьба постучалась в дверь моего неказистого кабинета, возникнув в образе оплывшего, здоровенного мужика, известного в городе психиатра и «терапевта» Резника. Я кое-что слышал об этом человеке, намного опередившем свое время тем, что он еще в застойные 70-е в открытую занимался запретной частной практикой. Он баловался гипнозом, кодировал хронических пьяниц и оказывал иные экзотические услуги, естественно, небескорыстно, за что его даже выгоняли из города, но не надолго и недалеко — в соседнее село, потому как пользовал он городскую головку и не только знал некие интимные секреты, но и был зачастую их последней надеждой.

Резник поведал мне грустную историю, с ним приключившуюся, почти катастрофу, ибо в одночасье иссяк едва ли не главный родничок его неправедных доходов. Этот живой ключ из рощи богини Маммоны открылся ему в виде портативного аппарата Д'Арсанваля, адепта французского магнетизма из совсем другой эпохи, который он откопал лет десять тому на одесской барахолке за «шумашедшие» деньги. Мне был продемонстрирован потрепанный деревянный чемоданчик, явно довоенного производства какой-то немецкой фирмы с длинным шнуром в обрывках хлопчатобумажной оплетки и набором стеклянных трубок — электродов. С помощью этого нехитрого с виду устройства Резник выводил бородавки, мозоли, лечил радикулит, и, главное, спасал от ранней импотенции местных бонвиванов, ибо, ввиду чрезвычайной доступности виноградного продукта, эта беда настигала их годам к тридцати.

«Три четверти мужиков здесь полуимпотенты, но не подозревают об этом», — страстным шепотом открыл мне эскулап секрет нашего тихого курортного городка.

Я несколько приуныл, ибо, во-первых, уже стремительно приближался к критическому возрасту, а, во-вторых, сам полным ртом потреблял «продукт». И из желтых бочонков, стоящих на каждом углу — по 18 копеек за стакан, и из обычных бутылок молдавского разлива типа «флоряски» или «фетяски» под копеечный «шоколадный» батончик из сои, и из трехлитровых банок с «варехой», купленной на косяке в рыбацкой хате через дорогу от пансионата по рублю за литр, и из двухсотлитровых бочек из подвала моего приятеля Толика Суркова, держащего на огороде виноградник из 400 кустов «плавая», под закуску из «копчушки» — отсвечивающей тусклым золотом копченой хамсы домашнего засола.

Так что я загорелся желанием помочь, подогретым полновесной бутылкой трехзвездочного армянского коньяка. Дело казалось простым, как мычание. Сразу выяснилось, что накрылась высоковольтная катушка, двоюродная сестра бобины, непременной части всех самодвижущихся агрегатов на бензиновом ходу. На любой автобазе Резнику набросали бы таких целый мешок, только заикнись. И он таки заикался. Но... простой уже длился несколько месяцев, образовав дыру в бюджете и создав ощутимую угрозу местной сексуальной экологии. С наскоку оживить этот древний агрегат никак не получалось. То есть он оживал, но неохотно, вяло и на короткое время. Тугой, вибрирующий червячок высоковольтного разряда со змеиным шипением наполнял помещение запахом соснового леса и за несколько часов как будто высасывал из катушки всю ее мощь, обрекая на угасание. Как-то ненавязчиво запахло проблемой.

Перепробовав все, что было под рукой и то, что было выужено из заветных загашников, и то, что было выменено на спирт у вертолетчиков, я наконец потребовал у эскулапа предъявить сгоревший оригинал. Слава богу, он его не успел выбросить на помойку. Моим глазам предстало нечто из электрической древности, основательное и добротное, словно свиток, скрученный из бесчисленных слоев промасленной бумаги и картона. Что-то дрогнуло у меня внутри, и память вынесла на поверхность: «Катушка Тесла!»

Да, эта штука, пожалуй, ничем не отличалась от тех, что держал в своих руках Маг черной горы Пайкс-Пик.

Это таки была знаменитая его Катушка, с помощью которой он с легкостью получал сотни, тысячи, миллионы вольт напряжения.

Я почувствовал руку провидения и решил больше не искушать судьбу, а максимально приблизиться к тому, что имел в своем распоряжении сам Мастер в начале прошлого века. И дело сразу же пошло. Проявив некоторое «хитроумие» (что соответствует изначальному смыслу слова «инженер») в аранжировке замысла величайшего электрика, я заменил интерьер, добавив из арсенала самых современных материалов, но оставил без изменения внешнюю архитектуру, так что изюминка оказалась замурованной внутри и скопировать ее сколь-либо удачно так и не удалось появившимся впоследствии завистникам и конкурентам.

Рука Тесла, возникнув один раз, продолжала упорно, с какой-то мистической настойчивостью, проявляться в моей жизни. Казалось бы, незначительный, почти бытовой эпизод оказался судьбоносным. Возрожденная Катушка стала талисманом, фирменным знаком Лаборатории и размножилась в разнообразной аппаратуре, расползающейся по стране, проявляя невиданную живучесть. Почти сразу же после эпопеи с Резником приоткрылись целые направления, где она нашла удачное и неожиданное применение.

Об одном из них, нетрадиционном, как бы сейчас сказали, и пойдет речь.

Я от рождения человек трезвомыслящий до зевоты и в инженерной практике всегда придерживался принципа: «Чудес в технике не бывает». Более того, предпочитая работать максимально независимо и самостоятельно, не раз имел возможность убедиться, что успешным может быть только такое дело, результат которого четко просчитывается без учета потусторонних сил. Но жизнь, как будто иронизируя, подбрасывала мне явления совсем иного рода, в которых причинно-следственные связи находились не в сфере логики и расчета, а в области духа или нравственности.

Первый такой опыт я имел в раннем детстве, лет пяти. Мы жили тогда в Расторгуево, под Москвой. Шла война. Ту зиму я провел дома, перманентно в постельном режиме. Болячки приносила из школы моя сестра. Они липли ко мне, как будто торопились продемонстрировать весь свой богатый арсенал. После одного из таких глубоких заплывов в стиле скарлатины, мой левый глаз неожиданно закрыло бельмом. Родные сильно переживали, но, скорей всего, при общем сочувствии меня легко бы тогда занесли в общий мартиролог бесчисленных жертв войны: безногих, безруких, безглазых, примелькавшихся уже, ставших фоном быта, но меня заметила соседка, сердобольная старушка из соседнего двора. Зазвав сестру, втайне от родителей, она велела ей надеть мне на ноги носки из козьей шерсти с начесом, а сверху валенки.

— Зачем валенки, у нас печь хорошо греет? — удивилась сестра.

— Непременно валенки, да теплые, мягкие, и еще на руку, на палец указательный сделать и носить, не снимая, колечко из шерсти.

Мать бы, наверное, над всем этим посмеялась, сказала бы предрассудки мол, бабушкины сказки, байки деревенские от бескультурия, на том бы дело и кончилось. Но сестра была из другого теста, натура артистическая, слушала старушку сердцем, не головой, оттого и сделала все, как было сказано, никому не открываясь. За что и благодарен я ей по сю пору, ибо на второй день зачесался у меня глаз немисливо, хватился я за него, а под рукой волосок торчит, я его и потянул, все бельмо и раскрутилось, как спираль, и увидел я снова белый свет, и удивился безмерно. Только в руке у меня нитка осталась голубенькая, мутная, больше метра длиной. Это было чудо, и я о том не забываю.

В 70-е годы самая читающая публика в мире запала на книги ленинградского психиатра Владимира Леви.

Привели меня тогда пути-дорожки в некую катакомбную группу в Свердловске.

Увлекались они там сильно Блаватской, йогой, травными диетами и прочей чертовщиной. Каждый второй числил себя

экстрасенсом, практиковали они мыследействие, т.е. пытались двигать предметы усилием воли, общались на расстоянии, читали скрытые мысли и лечили нелечимое... Им верили. Одну даму, из местных «гуру», поносили в центральной прессе, обвиняя в незаконной медицинской практике с целью наживы. Встречал я эту удивительную женщину, помогавшую всем бескорыстно, из принципа, которая вела подчеркнуто аскетический образ жизни, отказавшись от всего материального, вплоть до того, что и мебель из дома выставила. Она подбирала на улице каких-то великовозрастных бродяжек, сирых и неухоженных и вынянчивала их, не жалея ни времени, ни скудных средств своих, как другие выхаживают брошенных на произвол судьбы зверюшек. Некоторые из них становились ее последователями и учениками. В том кругу меня по классификации Леви определили, как чистого «циклоида», т.е. природно-уравновешенного, без каких-либо психических заскоков, от которого и ждать ничего не приходилось. Тем не менее, в общении с этими людьми и наблюдая некоторые бесспорные феномены, пришел я к твердому убеждению, что наш чувственный опыт ограничен и не вполне адекватен явлениям окружающего мира. Вероятно, природа, дав нам пять органов чувств, кое-что утаила. Да и те, что дала, ограничила чрезвычайно, например, обоняние или диапазон частот, различаемых нашим ухом, или спектр доступных глазу световых волн. Видно был в этом глубокий смысл, в ограждении нас от излишней информации, в которой может скрываться некий ужас, способный лишить воли к жизни. Достаточно уж того, что наделенный сознанием человек, единственный из живых существ знает о неизбежности смерти, положив это свое знание в основание всех религиозных доктрин. Непредсказуемые, неизбежные флуктуации индивидуальных возможностей вокруг нормы воспринимаются окружающими, как феномен, как уродство, или чудо, или гениальность, но они были, есть и будут.

Как-то на квартире у своего брата в Москве я познакомился с Розой Кулешовой. Ее как раз вызвали для очередного обследования — официальный вульгарный материализм рос-

сийского разлива не мог примириться с ее противоречащими всем догмам способностями. Туда, на квартиру набилось десятка полтора интеллектуалов — физиков и лириков, инженеров, университетских педагогов, всем было любопытно. Роза была в ударе. Я ожидал встретить вундеркинда, необычного ребенка, а передо мной предстала мужиковатая баба в черном вполне зрелых лет, на четвертом десятке, плотная, коренастая с вислым носом картошкой. Она вполне вписалась бы в любую деревенскую улицу средней полосы или своего родного Урала. Роза казалась мне крайне возбужденной, как с хорошего бодуна, но бог свидетель, я сидел рядом с ней и видел, что к налитой рюмке она даже не притронулась.

За столом она рассказала, что о своих удивительных способностях узнала случайно, оказавшись на больничной койке после гриппа. Она некоторое время тому поработала нянечкой в школе для слепых и видела, как там читают руками наощупь специальные книги. Решив, по наивности (ей тогда было 15 лет), что и в обычных книгах буквы, напечатанные краской должны несколько выступать над поверхностью бумажных листов, а значит, при определенном навыке их можно научиться различать, она стала упорно экспериментировать и после нескольких попыток добилась таки успеха. Ей было невдомек, что жидкая типографская краска легко впитывается в бумагу, тем и отличается от прочих, так что прощупать выступы букв никак невозможно. Тем не менее, она постепенно научилась распознавать все буквы и читать несложные, четко написанные тексты. Увидав, что Роза читает вслух с повязкой на глазах, ее товарки по палате бросились врассыпную с криками, что у них объявилась колдунья. Несколько лет с ней практиковали заинтересовавшиеся местные эскулапы, ознакомив ее с начатками анатомии и дав представление о внутренних органах. Потом получившая известность через СМИ Роза Кулешова выступала в цирке, пока ее не подловили на спекуляции вещами из Восточной Европы и не обвинили в махинаторстве. Ей запретили тогда всякую самодеятельную практику, да и у врачей к ней интерес поубавился. Тем не менее, ее необычные способности не исчезли. И она демонстри-

ровала всем присутствующим неоспоримый факт чтения текстов руками, по крайней мере, она четко различала все буквы в красном и белом свете, но теряла эту способность в лучах голубого и не «видела» в темноте. Она не чужда была некоторой показухи и склонности к трюкам, видимо освоенным во время гастролей с цирком. Например, она утверждала, что может «читать» и ягодицами и предплечьем.

Последнее соответствовало действительности. А вот на счет ягодиц ясновидица лукавила — читала она все-таки руками, когда естественным жестом оправляла юбку, прежде чем усесться на подготовленный текст. Но ее возможности как бы просвечивать внутренние органы повергали в шок. Она могла обнаружить следы переломов костей, безошибочно называла перенесенные в прошлом болезни, «видела» пораженные ткани (естественно при отсутствии внешних признаков), она могла заявить прямо в лоб о наличии опухоли, не утруждая себя ни дипломатией, ни изысками психологии. И что удивительней всего, она прогнозировала проблемы в отдаленном будущем, индивидуально и конкретно, хотя и с какой-то долей сомнения в голосе, как будто она несла за это некую вину. По прошествии многих лет с грустью вынужден констатировать, что ее несколько туманные прогнозы были безупречны. Позже один из научных авторитетов, пытаясь хоть как-то объяснить феномен Розы Кулешовой, предположил, что она просто телепатически считывала информацию с объекта, озвучивая то, что каждый знает или подозревает в отношении себя. Правда это «просто» тоже требует объяснения. Мы не могли стать объектом массового гипноза. В сложившихся обстоятельствах она сама была подопытным кроликом, а скепсис у окружающих был слишком велик, чтобы их легко можно было провести. Я до сих пор считаю, что видел то, что видел и слышал то, что слышал. И от этого никуда не деться.

Через некоторое время Роза вернулась обратно на Урал и вскоре трагически погибла. Во время приступа эпилепсии, которые у нее изредка случались, она упала, сильно ударилась головой и скоропостижно скончалась. При вскрытии

в ее мозгу была обнаружена обширная опухоль, которую считают следствием того заболевания гриппом, что уложил ее на больничную койку в 15 лет.

Так что к встрече с Экстрасенсом я был подготовлен. Познакомил нас Сережа, дорогой шурик, брат жены, во дворе родительского дома, где он с бывшим приятелем предавался ностальгическим воспоминаниям о буйных днях их совместной юности. Сохранилась еще тяжелая чугунная калитка, сняв которую с петель они сражались здесь с подворотной пьянью. Сереже тогда располосовали горло, и он едва остался в живых, но и мужикам тем крепко досталось. Шурик мой потом окончил Ростовскую Мореходку, недолго поплавал и осел в местном порту, а приятель его, Борис Захаров, стал военным врачом, в звании подполковника вышел в отставку и открыл кабинет нетрадиционной медицины в помещении рядом с Горотделом милиции. Очевидно, для удобства общения. Он слыл местной достопримечательностью, так как оказывал органам некоторые специфические услуги. Например, по фотографии мог с большой дозой вероятности дать заключение жив ли данный субъект, или в каком месте нужно искать его тело. Поскольку было несколько точных попаданий (особенно с отысканием трупов), авторитет Захарова вырос до небес, и его привлекали в сложных случаях как теневого эксперта. Мы разговорились и быстро сошлись.

Моя фамилия нередко мелькала в прессе, он знал, что я увлекаюсь изобретательством и как раз искал человека для реализации своих нетривиальных идей. Свои необычные качества Борис проявил, благодаря специфике армейской службы, одним из атрибутов которой было обязательное посещение политзанятий. Слушая бесконечные, повторяющиеся, давно потерявшие смысл, дежурные фразы он научился отключать сознание, находясь как бы в трансе с открытыми глазами. И оказалось, что в этом состоянии происходят странные вещи, как бы открываются новые сверхчувственные каналы. Во всяком случае, он на уровне подсознания фиксировал у коллег наличие биополя и мог нарисовать его контуры. При этом в некоторых случаях просматривались разрывы полей,

как возможное свидетельство хронических отклонений. Борис полагал в то время, что пробой биополя и является причиной хронического недомогания, и, наоборот, восстановление поля должно автоматически вести к излечению. Он искал возможность и способ «штопать» дыры в биополе, которых никто, кроме него самого не видел.

Задача показалась мне очень интересной и не безнадежной. Но больше всего меня заинтересовал сам Боря и то, насколько верны его декларации. Поэтому я заглянул к нему в кабинет посмотреть на его работу с клиентами. Я увидел, как он входит в контакт. Обследуемый (большая часть его посетителей были женщины — у них скепсиса меньше, да и шестое чувство им не чуждо) становился к нему спиной, Борис сосредотачивался и начинал делать ритмичные движения руками до тех пор, пока тот не начинал раскачиваться в такт с движением рук. Я был свидетелем необычных явлений, которые постепенно начинали восприниматься, как заурядные. На моих глазах экстрасенс воспроизводил контуры того, что он называл «биополем» и корректировал его наложением рук. Правда, это требовало чрезвычайного напряжения и отнимало массу энергии. Иначе результата добиться было невозможно. Эффект, видимо, был, люди шли к нему толпами, записываясь заранее в длинную очередь. Справедливости ради надо заметить, что он еще был хорошим мануальщиком и прекрасно владел техникой массажа. И все же его специфические способности также имели спрос. Как-то одна из наших сотрудниц вдруг стала мне рассказывать, что с ней произошла странная история:

— Я стояла на базарчике и продавала цветы с дачи. Мучилась страшно, колени распухли, едва стою. Задолбал артрит, сил нет, ни о чем другом думать не могу. Подходит какой-то мужчина прилично одетый, пошутил, купил букет и улыбнулся на прощание. Вдруг возвращается и говорит: «Я вижу, вы очень страдаете, у вас болят ноги и руки. Не удивляйтесь, я доктор, приходите-ка ко мне на прием, я приму вас без очереди. Я вам помогу, только не тяните с этим делом». Я была у него два раза. Боли как рукой сняло. Но он сказал, что еще ходить надо, и долго. Не знаю чего и делать.

Я уже догадывался, как зовут ее доброго волшебника. Если у меня и были какие-то сомнения в отношении экстрасенса, то только в отношении пользы и долговременности такого лечения. Ибо эффект воздействия исчезал через дня два-три. Надо было научиться штопать это «поле» более капитально. Задача казалась из области: «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что». Я не видел тех «полей», не ощущал их, не был способен на них воздействовать. Но кое-что в загашнике у меня было. Занимаясь время от времени медицинскими приборами — в электронной лаборатории это неизбежно, — я накопил определенный опыт и арсенал из самодельной медаппаратуры самого разного предназначения. Одним из них был звуковой облучатель для снятия болевого синдрома из-за спазма мочеточника, который происходит как реакция на движение по нему камня. Боль эта, как известно, острая, мучительная, почти непереносимая. А камни выходят долго, иногда этот процесс затягивается на месяцы. При удачном раскладе прибор снимал боль через несколько минут. Механизм этого воздействия был не известен, но факт остается фактом, почка странным образом реагировала на сигнал определенной частоты, свободно проникающий сквозь мышечные ткани и давала команду на возобновление работы мочеточника, и приучала мочеточник не реагировать на инородное тело.

Это было уже что-то. У меня возникла идея прочистки «каналов», идущих вдоль человеческого тела, на которых расположены все известные акупунктурные точки. И китайские медики, и индийские Йоги полагают, что по этим каналам, как по рекам перетекает энергия жизни. Казалось очевидным, что если существует виртуальное «биополе», оно непременно связано с виртуальными «каналами». Также очевидной была и аналогия — направить сигнал вдоль канала, так же, как направляли его к почке. Но как войти в канал? И тут я вспомнил о Резнике. Он ведь своим Д'Арсанвалем раздражал не что иное, как акупунктурные точки. Нужно только правильно промодулировать высоковольтный разряд. Катушка Тесла в качестве экстрасенса — это

было круто. Если только Боря прав, то открывается фантастическая возможность целенаправленной тотальной чистки организма, говорилось даже о возвращении к первоначальному состоянию «поля», с которым человек приходит в этот мир. Правда здесь, кроме аппаратуры нужен еще третий виртуальный элемент — экстрасенс, но это уже, как говорится, детали.

Через пару недель все было готово к испытаниям. В качестве подопытного кролика пригласили того же Сережу. У него постоянно болела шея — все тот же вездесущий артрит. В этом месте Борина рука рисовала огромный вздувшийся пузырь — разрыв поля уходил в бесконечность, в космос. Продольный меридиан — канал движения жизни, начинался на плече и заканчивался на ступне. Там мы и решили воздействовать высоковольтным сигналом. Эффект превзошел все ожидания. Как только шипящий, огненный червячок коснулся заранее отмеченной фломастером точки на ноге, Сережа тихо охнул. Ему показалось, что его прошило насквозь вдоль всего тела, отозвавшись прострелом в плечо, как будто пространство между двумя точками замкнулось. Электрик бы сказал — короткое замыкание. Да оно таковым и было. Чистка канала шла, вне всякого сомнения. И так называемое «поле» восстанавливалось в первородном виде. Вот только проблема из шейных позвонков не уходила. Зато с помощью аппарата боль можно было перемещать в любое место, хоть в пятку. Этот эффект был для нас совершенно непредсказуемым. В памяти тут же возникла другая ситуация, как за несколько лет до этого я баловался с прибором для электропунктуры. Схему мне подарили ребята из Новосибирского Академгородка не помню уже за какие такие услуги. Их много приезжало разных на наши Юга. Я тогда обзавелся дефицитной литературой, малым и большим Атласами по Акупунктуре и вел себя исключительно осторожно, зная уже, что китайцы идут к практике в этом деле, обучаясь чуть ли не двадцать лет. И тем не менее едва не влетел в историю, о чем сейчас, через много лет вспоминаю с содроганием. Тогда обратилась ко мне молодая женщина, умоляя помочь с помощью этого, как мне казалось, не-

винного аппарата. Кто-то ее убедил, что есть такая точка на теле женщины, воздействуя на которую иглой или электрическим импульсом можно вызвать искусственный выкидыш. Я, конечно, отбивался, как мог, но ее настойчивость и отчаяние были убедительнее. В своих талмудах я никаких указаний на этот счет не находил, легкий зондаж у местных гинекологов тоже вызвал недоумение, не более. И я решил, что над женщиной просто подшутили и решил ей это доказать, чтобы она не теряла ценного времени. По странному стечению обстоятельств ее заветная точка, которая некоторое время позволяла ей легкомысленно забывать об осторожности, тоже была на ноге, на пятке. Атлас утверждал, что ничего в ней, в этой точке, сверхординарного нет, так заурядная точка, может быть использована как общеукрепляющая в режиме возбуждения. Чем я и решил руководствоваться. Похоже, мы оба были уже настроены совершенно благодушно, не ожидали никакого эффекта и даже не задумывались о том, а вдруг бы действительно случилось обещанное.

Но случилось другое. Мы еще продолжали взаимно отпускать шуточки, когда я щелкнул тумблером выключателя и коснулся электродом нежной женской кожи. Женщина вдруг замолчала, как-то странно выгнулась и откинулась назад.

Я с ужасом понял, что она потеряла сознание или чего еще хуже. Глаза ее были закрыты, дыхание не ощущалось, пульс не прощупывался. Я боялся тронуть ее с места и не знал, что делать. Я притащил зеркало и убедился, что она все-таки дышит. Я был в тяжком раздумье. Какие бы ни были мои побуждения, мне никак не улыбалось, чтобы эта история получила огласку. В конце концов я решился вызвать скорую. И только потянулся к телефону, как она пришла в себя. То, что она мне рассказала, не укладывается в рамки привычных представлений. По ее рассказу, она вышла из тела, и все это время находилась в углу под потолком, наблюдая себя, как не живую. Она все видела, все слышала, она рассказала мне все, что я делал и говорил, хотя я отчетливо помню, что глаза ее все время были плотно закрыты. Я как раз и ждал, что они откроются. Обморок длился минут 15–20. Объяснить я ничего

никогда не пытался. Практиковать с акупунктурой я сразу же прекратил, а сам аппарат подарил через некоторое время городскому венерологу.

Видимо, нечто подобное испытал в тот момент и экстрасенс Боря Захаров. Теперь-то ответственность лежала на нем. На этом наши эксперименты закончились, и человечество потеряло шанс при желании возвращаться к своим чистым истокам. Слишком много было вопросов. И самый главный — верен ли постулат, что недомогание есть следствие искажения биополя. А может быть, наоборот. Может быть, именно поле искажается, чтобы продолжалась жизнь.

ДЕВКИНЫ

Северное Причерноморье и Приазовье богато историческими коллизиями. В течение двух тысяч лет на этом небольшом пятачке сталкивались Запад с Востоком, кипел котел из самых разнообразных культур. Здесь торжественной латынью писал свои грустные, ностальгические оды засланный туда, где раки зимуют, Овидий. Сюда, по преданию, пришел вскоре после распятия Христа самый молодой из апостолов Андрей, чтобы в местных синагогах, среди иудеев, проповедовать новое еретическое учение. До сих пор здесь, в раскопах древних тайных молелен находят в странном и неожиданном для современника соседстве семисвечники и формы для изготовления просвир с грубым изображением креста. На несколько сот лет хозяином этих тучных, бескрайних ковыльных степей и бесчисленных рыбных затонов, полных осетра, севрюги и рыба, стал могучий витязь, хазарин-жидовин. Их удалую, вольную статью унаследовали те, кто позднее перешли в православие и осели по Днепру и Дону под именем казаков. Но и сегодня здесь соседствуют, не стремясь к полному растворению рядом с Мелитополем, Мариуполем, Бердянском украинские, русские, болгарские и греческие села.

И живет память о крепком хозяине, немце-колонисте, унесенном ветром сталинских тотальных репрессий и ногайской орде, последнем осколке степных кочевников, вытесненной куда-то в Турцию. В советское время процесс взаимной ассимиляции этой пестрой национальной смеси шел в направлении создания уникального антропологического феномена, получившего в среде строптивой интеллигенции прерзительную кличку «совок», что не отрицалось и официальной партийной пропагандой, приписывающей себе эту исключительно божественную функцию, называя этого вожде-

ленного андрогена «Homo Sovjeticus». Технология его создания в отличие от описанной в библии была проста и эффективна — отклонения от рожденного в высоких кабинетах образца перекрывали возможность включения в процесс, то есть минировали проход к кормушке. Искусственно выведенный гомункулус даже пользовался особым языком, составленным из цитат бородатых основоположников. Когда, как казалось до момента слияния разноплеменной массы в однородную ликующую толпу оставались считанные шаги, залпы так называемой перестройки разрушили столбы, подпиравшие достигнутое единство.

Созданное людьми оказалось не конкурентоспособно с божественным. Пришлось, как и семьдесят лет назад, учиться жить наново.

Виктор Девкин работал наладчиком на Азовском кабельном заводе. Он окончил электротехнический факультет в Харькове, но перспектива становиться за кульман его как-то не воодушевляла. Заводское оборудование состояло из десятков сложнейших автоматических линий, напичканных электроникой. В том числе пять хайтековских железобетонных каньонов с мощными электронными пушками, где подвергали облучению изоляцию проводов с целью сделать их не горючими. Так что работа в заводской группе наладки была сугубо интеллигентной, требовала незаурядной хватки, знаний и интуиции. Дураку там было не удержаться. Но и очкарикам, у которых от рождения руки из задницы растут, там тоже было нечего делать. Это была настоящая, добротная работа для мужиков с развитым чувством собственного достоинства. И платили там подобающе. Вот только в администрацию из этого специфического подразделения не выдвигали. Никогда. Нутром чувствовали, что контингент состоит из представителей особой породы.

И действительно, когда подули свежие ветры, те из них, у кого мозги еще не повредились дармовым спиртом, не раздумывая, ушли в первые кооперативы и начали клепать бабки.

Но Витя Девкин был ярко выраженным индивидуалистом. Он в кооператив не пошел. И работать исключительно

на чужого казенного дядю показалось ему западно. Несколько месяцев он вынашивал идею, читал специальную литературу. Особенно его интересовало, как функционировали частники до революции, чем они промышляли и как вписывались в местный ландшафт и климат. Наконец, он засел за кульман, нарисовал несколько эскизов и сделал заказ в заводскую столлярку, что ему вышло в пару литров того же спирта. Потом проехался по району и арендовал в колхозе небольшой участок земли рядом с гречишным полем и посадками акации. Там он поставил десяток ульев, изготовленных со всем тщанием и по рекомендациям авторитетных специалистов из южной России. Он научился качать мед и производить сопутствующие продукты — прополис, воск и пыльцу. К тому времени коммерческий дух глубоко проник в ткань практической медицины и люди судорожно прокладывали пути к самолечению, как делали повсеместно в деревенской глуши их недавние предки. Прополис издавна в народной практике считался панацеей. Виктор добивался степени очистки, соответствующей мировым стандартам. По своей работе он знал цену мелочам. Пыльцу же источники рекомендовали для поддержания высокой мужской потенции. Это был железобетонный аргумент. Вскоре весь заводской истеблишмент, измученный непосильным кабинетным трудом, стоял в очередь за волшебным средством к Девкину. Его продукция была признана на республиканском уровне — специфика почв, близость моря и благодатный климат обеспечивали неповторимый химический состав и аромат знаменитого гречишного меда.

Девкин начал получать дипломы и медали на международных выставках. Он не пропускал ни одной публикации в специальных журналах. Денежный поток из маленького ручейка превратился в полноводную реку. К тому времени у него уже было порядка 40 ульев, и летом он большую часть времени жил во времянке, которую соорудил на арендованной земле.

Беда пришла, откуда не ждали. Несмотря на то, что пасеку Виктор предусмотрительно завел за несколько километров от ближайшего жилья, за ним, оказывается, все это время внимательно наблюдали.

Как-то днем на делянку заехал на синем с коляской ИЖе бригадир, и сказал, что Виктору нужно заглянуть в правление колхоза, у председателя есть, мол, какие-то вопросы. Интересно, какие такие вопросы проклюнулись у хозяина — они же после подписания договора об аренде ни разу не пересекались. Но все же к вечеру, сделав здоровенный круг, он приехал на центральную усадьбу.

— Ты погляди! Наш куркуль-самоучка нарисовался. Давай присаживайся, будем тебя раскулачивать.

— Шутки косого, господин председатель. Времена-то вроде не подходящие. Партия и правительство призывают проявлять частную инициативу.

— Ну, это как сказать, смотря какую.

— Так я ведь вам ничего не должен. Арендную плату вношу вовремя, а больше у меня с вами никаких дел нет. Электричество проводил сам, счетчик стоит, плачу исправно и вода у меня в цистерне завезенная. Так что, извините, не пойму, какие могут быть претензии.

— Вот-вот, больно ты непонятливый. Мы ведь кого пускали на нашу святую землю? Бедного инженера из города. У вас производство накрылось, знаем, знаем, зарплата с гилькин нос, семья и прочее. Мы с полным, так сказать, сочувствием. Ну огурчик там вырастить, помидорчик, картошечку, как у людей. А ты там что затеял? Докладывают, чуть не целую фабрику наладил, городских импотентов на довольствие поставил. Деньги лопатой гребешь, по заграничным выставкам ездишь. Ты, выходит, весь в шоколаде, а мы здесь в дерьме и в навозе.

— Так ведь вы знали, чем я буду заниматься. Я ничего не скрывал.

— А, брось. У нас на колхозной пасеке пятьдесят ульев и никакого толку, одни убытки. Дед Федор второй год болеет, а больше никто ими заниматься не хочет, да и не знают с какого боку подойти.

— С дедом Федором вы так и так далеко не уедете. Загляните на базар, посмотрите цены, посмотрите на качество. Сейчас нужно делать все с головой и по науке, иначе деньги не заработать, конкуренты забьют.

— Ну вот что, бизнесмен хренов, слушай сюда, что я тебе скажу. Я здесь хозяин и будет так, как я решу. У нас народ давно на тебя зубы точит. В газетках, видишь ли, прописывают, дипломы, то, сё, качественный продукт, европейский стандарт... Ишь ты, мичуринец выискался. А земля чья, а гречиха чья, а кто посадки с акацией годами выхаживал, откуда тебе пчелки в клюве несут. Делиться надо, тогда и раскулачивать не будут. В общем, сейчас что-то исправлять поздно, тебе вот-вот красного петуха пустят. Значит так, улы добровольно сдаешь на баланс колхоза и можешь продолжать работать. Вроде как заведующий пчелиной фермой. А чтобы у тебя не получалось, как у деда Федора, будешь иметь за это не зарплату, а процент от прибыли. Станешь кочевряжиться, расколю тебя до самой задницы. Натравлю налоговую инспекцию. Она враз под конфискацию подведет. И смотри, не тни резину, время у тебя еще вчера закончилось.

— Может вам еще и ключи от машины? Она тоже вроде как на колхозной земле пасется.

Налоговая Девкину была не нужна, кто в те времена стал бы платить исправно налоги.

Но каков пейзаж? Впрочем, еще Гоголь отмечал особую изощренность и бульдожьё хватку, которые нет-нет да и прорежут в самой что ни на есть Мухосрани.

Девкин пригрозил судом и уехал. Он понимал, что его дело дохлое. Закон ему не поддержка. Колхозный устав, составленный еще в сталинские времена, никто не отменял. Просто закрывали на кое-что глаза, иницируя повальное и неизбежное российское лихоимство. Окружающее пространство густело от множащихся, несмешиваемых форм существования и в этой мутной воде жирели хищные щуки. Домой он добрался полностью обескураженный и злой. Сходу разругался с женой и дочкой и погрузился в трехдневный запой. Так хорошо начатое дело лопнуло в один момент. Его жена была родом из села, и он хорошо знал, как упорны и жестоки бывают деревенские в преследовании тех, кого считают чужаком. Через три дня он поехал на пасеку, уже предчувствуя неладное. Интуиция его не обманула. Хозяйство безжалостно разорили.

Часть своих ульев он обнаружил на подворье у председателя и колхозного бухгалтера. Это было нетрудно сделать — как человек предусмотрительный, Девкин их скрытно все поместил. Остальное, видимо, спустили по дешевке. Он не стал возбуждать дело. И не только из-за его бесперспективности. Как человек умный, он ясно понимал, что его обидчики просто не понимали, что творят. Но с этого момента Девкин до коллик в печенке возненавидел страну, в которой можно с такой легкостью безнаказанно обижать делового человека. Он был по натуре чистейший технарь. Его небольшую библиотеку составляли технические журналы и справочники. В последние несколько лет она пополнялась книгами и буклетами по пчеловодству. Историей и политикой он почти не интересовался, выхватывая из мутного информационного потока лишь то, что его непосредственно касалось.

Он бы очень удивился, если бы ему сказали, что его жизненная философия вполне укладывается в приписываемую исключительно американцам категорию «прагматизм». Вот уж, действительно, «откуда у парня испанская грусть». Тем не менее он хорошо знал, что дорога на Запад широко открыта для определенной части населения. И это были не партийные бонзы и не денежные мешки, а, как говорят англичане, *people next door* — люди за соседней дверью. То есть рядовые евреи. Был как раз разгар Великого Исхода.

Для одних исход заканчивался в Хайфе или Ашкелоне, для других — в Нью-Йорке, Оттаве, или Мельбурне. В общем, был выбор. Девкина бы устроил любой.

Он пришел к своему заводскому коллеге по работе, который как раз занимался репатриацией по линии Сохнута и спросил, не может ли его дочь включиться в процесс, исключительно из идеологических побуждений. Чем поставил этого коллегу в тупик.

Сохнутовский функционер к тому времени уже хорошо знал о двухтысячелетнем потоке евреев из Эрец Исраэль на Запад, но попытка движения неевреев в обратном направлении была для него в новинку. Правда, в молодежных и детских компаниях, стихийно возникших вокруг сохнутовских про-

грамм, он замечал присутствие приятелей и подружек явно славянского вида, посещающих эти мероприятия то ли из любопытства, то ли из укорененной уже сердечной привязанности. Он в это никогда не вмешивался и внутренне даже поощрял. Эти дети и подростки вместе со всеми делали маски, участвовали в Пуримшпиле, ели мацу на Пейсах, получали сладости и крутили волчки на Хануку. Поэтому он сказал Виктору:

— У нас организованы бесплатные занятия в ульпане, там учат интенсивно иврит. Пусть приходит, не жалко. Русские там не в новинку, из смешанных семей. Когда освоит азы, я познакомлю ее с израильтянами. Может быть, после этого у нее всякая охота и пропадет.

Так оказалась Катя Девкина в совершенно непривычном для нее окружении.

Как видно, Виктор относился к воспитанию единственной дочери с таким же тщанием, как к электронной автоматике или пчеловодству. Его выстрадавший запал в стремлении вырваться из страны был воспринят этой девочкой со всем пылом юношеской непосредственности. Это не было полудетским желанием — это была страсть. Ей было 17 лет, она только что блестяще завершила среднее образование и, пользуясь папиными накопленными средствами, поступила в высшую экономическую школу при местном пединституте, организованную с помощью каких-то спонсоров из Штатов. Несколько раз в неделю туда приезжали читать лекции профессора из Киева и Днепрпетровска. Ее вторая, скрытная жизнь, связанная с ульпаном, долгое время оставалась втайне. Очень способная к языкам, она за первый год обучения в высшей школе прекрасно взяла английский, чем немедленно обратила на себя внимание. Ей пророчили хорошую карьеру в каком-нибудь совместном предприятии, которые плодились, как мухоморы после дождя. Но это нисколько не поколебало Катиных планов. Дело в том, что ее успехи в ульпане были не менее впечатляющими. Через полгода она уже бойко болтала на иврите, в отличие от тех, кому он должен был понадобиться буквально через несколько месяцев. Та-

кими людьми сохнут не разбрасывался. Лето ей предложили провести в еврейском лагере под Днепропетровском. Как правило, ребята возвращались оттуда заряженными сионистской идеей на всю оставшуюся жизнь. И если у их родителей еще были какие-то сомнения насчет «ехать или не ехать», то эти въехавшие в тему дети неизменно становились последним и самым веским аргументом. Отступали на задний план даже веские соображения чисто экономического или карьерного порядка. У кого-то из потенциальных репатриантов был хорошо налаженный бизнес, у кого-то хорошие перспективы в военной службе. Но все меркло перед давлением детской бескомпромиссности. Был случай даже, когда один офицер по настоянию сына пожертвовал предложенной ему должностью главного технического советника при генштабе Украинской Армии.

В лагере Девкина вошла, как шпага в ножны, в коллектив специально подготовленных вожатых, командированных на Украину из Израиля, среди которых был большой процент кибуцников. Для нее удивительна была царящая там обстановка теплоты и бескорыстного энтузиазма. Наверное, так себя ощущали комсомольцы далеких двадцатых. Она была неотразимо обаятельна. Стройная, высокая, очень спортивная и очень женственная, с правильными, точеными чертами живого лица. Южнорусский тип, впитавший в себя бог знает сколько кровей. Катя хватала на лету и пела вместе со всеми мелодичные, грустные еврейские песни, танцевала странные танцы, больше похожие на строевые занятия под музыку, быстро уловила, что такое кошерное и не кошерное. За лето она умудрилась влюбить в себя весь мужской персонал лагеря. Где бы она ни была, около нее немедленно собирался плотный коллективчик, изощряющийся в остроумии. Старший вожатый перед отъездом предложил ей руку и сердце. Но у Катерины Девкиной были другие планы. Она ни при каких обстоятельствах не хотела начинать свою семейную жизнь из меркантильных, даже высоких соображений. А, может быть, это было предчувствие судьбы.

Начало учебного года омрачилось первыми неприятностями от тесного контакта с беспокойным племенем. Тайна ее второй жизни раскрылась, и оказалось, что ее сокурсницы в высшей школе воспринимают ее однозначно, как отступницу. Сначала ее пытались как-то увещевать:

— Ты спятила, Катька. Зачем тебе возиться с этими жидками. Пусть они убираются, не жалко. Это даже замечательно. И мы от дерьма избавимся и они там в кучу соберутся, чтобы арабам было сподручней их всех перерезать. Смотри, чтобы и тебе заодно голову не свинтили. От них одни неприятности, или, думаешь, немцы такие дураки были. У тебя и здесь перспективы нисколько не хуже.

— С чего бы это такая забота обо мне.

— Есть, есть забота. Ты наша, ты способная, нам самим такие нужны. Только тебе надо мозги прочистить, с какой стати все самое лучшее им отдавать. Жиды и так все позахапали.

Но скоро сокурсницы поняли, что насчет «своей» они ошиблись. Катя только больше отдалялась от них, ей эти разговоры казались чудовищным бредом. В ульпане, где она начала активно помогать командированной из Донецка учительнице иврита, ее окружали обыкновенные, ничем не выделяющиеся, погруженные в бытовые заботы, люди. Самое забавное, что большинство преподавателей в Высшей Экономической Школе были евреи, так же, как и богатые спонсоры из Штатов. Товаркам ее, однако, это было по барабану, они объявили Кате бойкот, перестали разговаривать и шипели в спину «предательница», «жидовка».

И тогда она из школы ушла. Наверное, ей было очень трудно в это время. Перспективы уехать, кроме как с еврейским паровозом, то есть через фиктивный брак, не просматривались. Но для Кати с ее юношеским максимализмом это даже не обсуждалось. Время шло, и ее в ульпане уже воспринимали просто, как экзотику. Ко всему привыкаешь.

Все же где-то в высоких сферах о ней помнили. И однажды она получила письмо с предложением работать в Израиле

с туристами. Хорошее знание трех языков было самой лучшей рекомендацией. В сохнатовском турагенстве можно было работать и с украинским паспортом. Перед ней, наконец, открылась потайная дверь в мир, который, как мы понимаем, вовсе не был таким уж безоблачно волшебным, как в известной сказке Алексея Толстого. Через два года некий аспирант из Швейцарии, захавший навестить своих родственников в Хайфу, был уязвлен внезапно лукавым Купидоном в самое сердце и увез Екатерину Девкину в Берн.

ХУДОЖНИК

Удивительно симпатично иногда маленькие городки пересекаются с признанными именами Великих. Самым ярким из таких «маленьких» был, очевидно, город Афины, где, как предполагается, проживало всего-то 50 тысяч древних эллинов — районный центр по нынешним понятиям, не более. Наверное, рекорд его знаменитости никогда уже не будет побит. Времена другие. Правда, есть еще такое местечко «Голливуд», где рядовых жителей меньше, чем прописанных там звезд экрана. Но, в отличие от Афин, вряд ли кого-нибудь из его горожан, чей каждый шаг, вплоть до спальни, преследует карбидный свет юпитеров, будут помнить через две с половиной тысячи лет.

Наш провинциальный курортный городок, в котором я провел более четверти века в качестве заводского оригинала — изобретателя, в этом плане совсем не урожайный, даже, напротив, как бы старается укрыться в тени, сохранить для самого себя всю неизъяснимую прелесть полубуколического, почти растительного существования. Но нет-нет да его скромный, размытый силуэт всплывает то в описании дерзкого налета самого батьки Махно, то в жестоких откровениях Серафимовича о самосудах, бытовавших среди бердянских рыбаков, превращавших в ледяные статуи охотников до чужих сетей, оставляя их в таком виде до весны. А то еще дух гамсуновского лейтенанта Глена, разбуженный парящим воображением писателя А. Беляева вдруг начинает носиться над прибрежными водами, залетая на Дальнюю Косу и даже в цеха заводика по производству жаток, куда вкладывали денежки неосторожные бельгийцы, канувшие в небытие в годы революции.

Такие соприкосновения иногда сопровождаются некими мистическими знаками, или совпадениями, без которых не обходится, пожалуй, ни одно настоящее дело. Как-то заинте-

ресовал меня неожиданным разговором замкнутый, сухопарый педант, простоявший за кульманом, кажется, целую вечность, так что трудно было даже представить, что когда-то он был долговязым парнем, а тем более, ребенком. Поговаривали даже, что он регулярно стучал в партком на товарищей по работе. Все может быть, во всяком случае, он избегал коллективных пьянок, а это криминал в нашем отечестве похуже воровства. Так что я был порядком озадачен, когда он начал мне рассказывать о Владимире Хавкине, знаменитом в свое время микробиологе, создавшем вакцину против холеры и чумы и спасшим от мучительной смерти несколько миллионов индусов. Из его рассказа я понял, что семья Хавкина некоторое время проживала в Бердянске, а отец, хоть и был иудеем, то ли учительствовал, то ли даже директорствовал в местной гимназии. Чем эти евреи так заинтересовали нашего сухаря, я так и не понял, воистину пути местнического патриотизма неисповедимы. Но на одном разговоре он не успокоился и через пару дней принес мне маленькую книжечку в серой бумажной обложке, почти брошюру, где подтверждалась изложенная история, добавив к его рассказу, что сам великий микробиолог вряд ли с Бердянском пересекался, т.к. еще в студенческие годы в Одессе попал под надзор полиции, вынужден был эмигрировать, чтоб закончить образование, и, в конечном счете, попал в ученики к самому Пастеру. И даже, когда уже его слава перешагнула границы России, ему был заказан въезд на Родину, несмотря на неоднократно высказанную готовность работать в холерных бараках: эпидемия как раз свирепствовала в южных губерниях и на Волге.

Этот сюжет получил совершенно неожиданное, загадочное развитие, когда мой еще со студенческих лет в университетском Львове близкий приятель доверительно сообщил мне, что его газовой конторе, где он начальствовал, выделили место под строительство газгольдера не месте бывшего еврейского кладбища. Оно располагалось прямо за забором родного завода, и я как-то зашел туда, чтобы взглянуть на это варварское действо. Впечатление было удручающим. Стройка уже началась, кое-где виднелись следы работы экскаватора. Но задолго до него кру-

гом потрудилась мозолистая рука вандала. Памятники были опрокинуты, многие расколоты. Но еще больше смущали пустые вмятины, заросшие свежей травой — это надгробия нашли уже других хозяев на новом погосте, стремительно разрастающемся в степи, за городом, рядом с подступившими колхозными полями. Смерть в городе давно уже стала дороже жизни, а память об умерших, да еще в мраморе стоила целого состояния. Не удивительно, что заброшенное еврейское кладбище превратилось в каменоломню. Я бродил среди мраморных глыб, разбросанных в беспорядке там и сям, с трудом разбирая надписи. Уроки в сохнутовском ульпане пришлось очень кстати. Имена... знакомые имена, тревожащие, щемящие сердце созвучия: Сорки, Аврумы, Яаковы — выбитые, как на скрижалях в самом прочном, рассчитанном на тысячелетия камне. И вот так скоро забыты и будут непременно выщерблены безжалостным зубилом в самом ближайшем будущем. Конечно, никаких родственников уже не осталось. Большинство лежит здесь же, неподалеку, в балке, под одним общим памятным камнем скорби о расстрелянных. На обелиске около девяти сотен характерных, ни с чем ни спутываемых имен и фамилий. Процесс, как говорится, пошел. Смерть потеряла свою феноменальную суть перед лицом стремительного угасания российского еврейства, продержавшегося в самых, казалось бы невыносимых условиях более 200 лет и вот исчезающего, дождавшись, наконец, хоть и формально, столь долгожданного равноправия. Мне подумалось — никакой другой народ не оторван так от могил своих предков, которые как якорями притягивают к оседлости, привязывают кровно к пространству, к тому, что составляет суть понятия Отечество.

Вот и мать моя лежит где-то в далеком удмуртском городе Воткинске, на бывшем церковном подворье, залитом водой грандиозного водохранилища Камской гидростанции. Я вспомнил с глубокой болью и о моем отце, похороненном рядом с дедом в Ленинграде, на кладбище имени «9-го Января». Я снова остро переживал эту потерю, тем более, что отсутствие отца в течение четырех военных лет как-то трагически и навсегда отдалило нас друг от друга.

И вдруг меня как будто что-то толкнуло под ложечку. От неожиданности мысли встали дыбом. Я вчитывался в слова, складывающиеся совершенно невероятным образом: «Аарон Хавкин», дата рождения и смерти и приписка — «морэ». Я знал что это слово на иврите означает — «учитель». Все сошлось, Лановойчик не солгал. Я был в затруднении, последняя крупинка исчезающей памяти, я держал ее в руках и ничего не мог сделать, чтобы удержать. День, другой и здесь будет ровная площадка. Я еще попытался договориться с газовщиками, чтобы оградить этот камень и сделать что-то вроде скверика, но их смущало, что это все-таки надгробие, элемент сакрального порядка, да и площадка вся уже распланирована под застройку, попробуй начни менять, хлопот не оберешься. Тогда я ткнулся в местный исторический музей, беднейшее заведение об одной комнате, с несколькими пузатыми каменными бабами на примыкающем дворике. На этот дворик после недолгих и каких-то стеснительных переговоров с местным отделом культуры и перекочевала могильная плита Аарона Хавкина, родившего в 1860 году Владимира Хавкина, родившего вакцину, убивающую чуму и холеру. А книжка в сером потрепанном переплете, позаимствованная у патриотичного коллеги разместилась на стенде, под стеклом.

Почти в то же самое время происходило соприкосновение и с другой знаковой фигурой, правда не такого вселенского масштаба, но все же общеизвестной и узнаваемой. Советский живописец Исаак Бродский, автор знаменитого портрета «Ленин в Горках», коммунистической иконы, освящавшей когда-то каждое присутственное место, был родом из большого приазовского села в окрестностях Бердянска. Поэтому в городе его почитают земляком и даже содержат на казенные харчи художественный музей его имени. Многие годы я как-то обходил стороной это культурное заведение, не было потребности заглянуть, что, естественно, не делает мне чести. Но когда я в первый раз собрался посетить Израиль — по приглашению и за счет Сохнута, сам бы я этого тогда не поднял — эта новость быстро разнеслась по городу и вызвала интерес

у людей особого склада, промышлявших поделками своего беспокойного ума. В частности, некий жох, отличавшийся буйным нравом, за что успел провести несколько лет в «советских застенках», на полном серьезе просил меня отвезти или хотя бы отпирарить на исторической родине картину известного французского мастера Позднего Возрождения, якобы доставшей ему от его деда — купца Первой Гильдии. Насчет купца можно было и сомневаться, но картина демонстрировалась мне в полной своей материальной ощутимости. Субъект, хоть и пользовался сомнительной репутацией, но был потенциальным репатриантом и не задумываясь защищал свое национальное достоинство кулаками, о чем я знал и что мне импонировало. Поэтому я направил свои стопы в музей им.Бродского и познакомился там с его директором, Москалевым, профессиональным искусствоведом с соответствующей столичной подготовкой и прекрасным собеседником. В картине он немедленно распознал известную ему подделку, изменен был даже автор, очевидно, умышленно. В одном из многочисленных альбомов с репродукциями он и указал мне на оригинал, оказавшийся гораздо меньших размеров, чем его фальшивый собрат. Мне тогда пришло в голову, что в Израиле с аферистами-то погуще будет. Как же они там со всем этим справляются?..

Но Исаак Бродский уже начал свою потайную игру с моим трезвым материализмом. К нам в ульпан вместе со своей еврейской подружкой как-то пришла симпатичная белобрысая девочка по фамилии Пинчук, да так и прижилась. Всегда серьезная, сосредоточенная, она безотказно участвовала во всех акциях, затеваемых подростками, в подготовке праздников, в пуримских инсценировках и т.п. Ее отец с удовольствием оказывал нам всякие мелкие услуги, особенно с транспортом, ибо имел свой бизнес и машину. Но девчушка быстро повзрослела и достигла того возраста, когда мы отправляли детей доучиваться на Святую Землю. В принципе не было никаких препятствий, по крайней мере, формальных, чтобы послать старательную школьницу, уже прилично овладевшую ивритом на учебу в Израиль — программа НААЛЕ, хотя и име-

ла в своем названии открытый намек на репатриацию, официально считалась международной. Но здесь была заложена мина — что ей делать после окончания школы, ибо никакого другого вида эмиграции, кроме как по Закону о возвращении в Израиле не предусмотрено. У Нади Пинчук право на «возвращение» могло возникнуть только от сырости, что я и разъяснил незадачливому родителю. Его ответ меня несколько озадачил: «Не имеет права, это не значит, что не будет иметь права». Я подумал, что речь идет об элементарной афере, когда фальшивые документы в начале Большой Алии пеклись, как блины, за мизерную мзду. И милиция на этом хорошо грела руки. Но это время прошло. И сохнутувское представительство и консул в Киеве давно никаких других документов, кроме оригинальных свидетельств о рождении не признавали. Здесь подделки практически исключались. Документы, в которых вписывались библейские имена, переделанные на местечковый лад с украинским или белорусским акцентом ни с чем нельзя было спутать.

Каково же было мое удивление, когда папа Пинчук принес мне письмо на старой, ломкой, пожелтевшей бумаге с линялыми чернилами, из которого недвусмысленно следовало, что его родная мать приходится кровной родственницей, похоже, что племянницей, Исааку Бродскому и там была некая история с сокрытым крещением. Вот она, эта бездонная дыра, в которой бесследно, в течение почти двух тысяч лет исчезают мои соплеменники.

Но письмо, это еще не документ, тем более, что в церковных книгах на тот момент подтверждения не нашлось. Впрочем, вода не течет только под лежащий камень. Пинчук своих поисков не прекратил, наоборот, сосредоточился. Через два года они, как мне сообщили, благополучно перебрались с берега Азовского моря на берег моря Средиземного.

Живопись всегда была для меня несколько загадочным видом искусства. Вероятно, это идет из христианской традиции, в которой она тесно переплетена с сакральной иконографией. Такая загадочность невольно отбрасывает тень тай-

ны на фигуру самого живописца. Один из них, личность знаковая и даже культовая слегка соприкоснулся, прошел по касательной к истории нашего городка, не оставив видимого следа в его официальных анналах.

Тем не менее...

Этот удачливый человек еще при жизни стал живой легендой, как основатель направления в живописи, получившего хлесткое, липкое, какое-то до предела машинизированное название: «концептуализм». Его инсталляции, перевозимые в виде канцелярских инструкций и списка необходимых вещей, которые можно найти за углом в хозяйственном магазине, как то: швабры, помойные ведра, надтреснутые унитазаы и прочие стремительно исчезающие приметы коммунальных квартир советского периода, ныне заполняют залы самых престижных выставок и галерей, а его имя возглавляет список преуспевающих российских художников, хотя в реальности он давно уже покинул погрязшую в вязких разборках Родину.

Феномен его взлета и успеха отягощен спорами самого полярного свойства. Одно несомненно: художник Илья Кабаков вызвал большую волну в современном мире искусства, подобно Малевичу с его «Черным квадратом».

Но я познакомился с ним, тогда еще просто иллюстратором детских книг из Москвы, у нас, в Бердянске, где у него уже длительное время прозябала в своей одинокой старости родная мать. Толик, как его звали родственники и друзья, был ее единственным сыном и воспитывался в безотцовщине на скудные гроши бухгалтерши, робкой и стеснительной женщины, так и не научившейся, сидя рядом с кассой, добыть лишнюю копейку. И потому он иногда появлялся здесь — без шума и треска, без ожидаемой высокомерной фанаберии, обычно в сопровождении Вики, дамы яркой и светской, известной в кругах столичной богемы. Он не брезговал заглянуть к местным художникам, жаждавшим пожать его руку в тайной надежде, что он, вдруг, разглядит их скрытые от них самих таланты. Но Толик в досаде отмахивался от доморощенных гениев. У не-

го своих проблем было выше крыши. В Москве уже косо поглядывали на зачавших в его мастерскую иностранцев, падких на всякий запашек. И костер этого внимания мог вот-вот разгореться опасным и испепеляющим пламенем.

А в Бердянск, как я знал от его кузена, а моего близкого приятеля Валеры, он ездил по вполне прозаическим причинам, даже и не включавшим такие естественные, казалось бы, побуждения, как отдых на Азовском море или общение с матерью. Что касается моря, то они с Викой, совершенно очевидно, предпочли бы другой уровень обслуживания. А мать, при желании, он мог бы видеть ежедневно, забрав ее к себе. Но то ли его смущала перспектива появления персонажа, не вписывающегося в его столичную и, как шептали, весьма динамичную жизнь, то ли старушка не желала покидать на старости лет удобный курортный городок. К тому же здесь проживала другая и последняя для нее родственная душа — ее родная сестра, приходившаяся Валере, главному нашему городскому массовику — затейнику, матерью. Проблема была в том, что старушка уже не справлялась с хозяйством в ее небольшой, но собственной хатке, в самом сердце живописных браконьерских Лисок, в двух минутах от берега моря, усеянного рыбацкими баркасами и загорелыми до черноты телами отдыхающих. Но зимой нужно было топить печку, да и для прочих «удобств на дворе» сил уже не хватало. Здесь и закрутилась интрига, ставшая причиной чартерных рейсов Толика Кабакова по маршруту Москва — Бердянск, ибо он задумал поменять собственный материн домик на обычную государственную квартиру поближе к сестре. И в каждый свой приезд он привозил убедительные, очень убедительные и чрезвычайно убедительные просьбы и ходатайства, подписанные маститыми деятелями искусств из Союза Художников, Союза Писателей и лично поэтом Евгением Евтушенко. И всякий раз он увозил лишь отписки личной канцелярии Городского головы с нервными разъяснениями о невозможности подобного обмена, ибо никакого пересечения частной и государственной собственности в Стране Советов не предусматривалось, кроме момента конфискации, хорошо освоенного во время октябрьского переворота.

В один из таких, уже теряющих перспективу рейсов, Валера и познакомил нас. Выслушав его грустную историю, я был чрезвычайно удивлен. Что ни говори, но тайное уничтожительное преклонение перед столицей, помноженное на безбрежный авторитет творческих союзов, и почти религиозный трепет перед именем едва ли не первого поэта России способны были разрушить и гораздо более серьезные тупики. Я, конечно, допускал в этой неразрешимости элемент застарелой племенной вражды, не позволяющей просто так, на свой страх и риск, из одного лишь низкопоклонства и альтруизма перешагнуть через формальные крючки. Где и проявлять приверженность к букве закона, как не по отношению к «чужим». Скорей всего что-то такое и было. Однако обычно такой барьер легко преодолевался приличествующей мздой. Но в том-то и дело, что местные бюрократцы и бюрократицы любой намек в этом направлении отвергали самым решительным образом, заставляя подозревать их в некоем болезненном, невообразимом донкихотстве.

Ситуация казалась образцово патовой. Толик описывал детали его кабинетной одиссеи, интонации разговоров, выражения лиц, реакции на громкие имена. Нет, положительно я чего-то недопонимал: ну не мог заштатный, провинциальный чиновник игнорировать ходатайства столь могущественных инстанций. Да еще связанных с медиа. Раз за разом я прокручивал ситуацию, пытаясь понять ее глубинную суть. Что-то здесь было не то. Чего-то они боялись.

И тут меня осенило. Ну, конечно. Не чего-то, а кого-то. Разрулить ситуацию было им не по ранжиру, явное нарушение субординации, именно в силу заинтересованности высокопоставленной столичной номенклатуры. Конечно же, они боялись Хозяина. Без разрешения хозяина в провинции и воробей не зачирикает. Никакой осадой этот страх не преодолеть.

И я выложил Толику Идею, в основе которой было выстраданное убеждение, что осадой нашу советскую систему не взять. Нужен необычный ход, который вывел бы их за рамки

привычной ситуации. Надо учесть психологию чиновника, тем более провинциального. Ни один из них не возьмет на себя ответственность нарушить принципы системы.

Нужно, чтобы решение принял тот, кто за него ответственности не понесет, но кого послушаться не посмеют и чье самодурство с подобострастием исполняют, дав ему возможность показать широту натуры, власть, выявить наглядно в очередной раз придурковатость всех нижестоящих, подтвердить неизменность принципа «Я начальник — ты дурак». Таким человеком и настоящим хозяином в то время был вовсе не Городской голова, а партийный Секретарь, стоявший, как и полагается сбоку и над всеми.

Результат превзошел все ожидания. Ознакомившись с письмами, ходатайствами и резолюциями, Секретарь обеспокоился не о Законе, который никогда не читал (ибо его собственная власть изначально абсолютно беззаконна), а о своем престиже, долго возмущался придурковатыми бюрократами и перестраховщиками, высказал свою личную погруженность в искусство личной дружбой с Тимошенко, т.е. Тарапунькой, и вызвав предисполкома перед свои высокие очи, тут же заставил оформить все бумаги, взяв старушкин дом на баланс коммунхоза. Оказывается, был такой канал из практики конфискаций.

Толик был потрясен простотой операции и в ближайший мой приезд в Москву пригласил к себе в мастерскую. Мы долго блуждали (как мне показалось) в причердачных катакомбах какой-то старой московской многоэтажки, пока не оказались в большом светлом помещении. В глаза сразу бросилось огромное, во всю стену полотно, явно изображающее очередь в гастрономе. Лица стоявших в очереди были странно застывшими, неподвижными, невыразительными, как у манекенов, в них не было даже азарта добытчика. Надписи свидетельствовали, что это некие узнаваемые персонажи из московских коммуналок с характерными именами и фамилиями. От картины веяло какой-то кафкианской обреченностью. В простоте душевной я подумал, что это заказ на рекламу из

магазина. Но художник невозмутимо объяснил мне, что это такое новое направление в живописи и показал несколько альбомов, где суть этого «изма» должна была проявиться. Но она не проявлялась. Я видел пока только явную преемственность манеры его книжных иллюстраций и так называемого нового направления. Условность, лубочность и повторяемость некоего семейства фигур дополнялась своеобразными надписями, составляющими неотъемлемую часть композиции, ее мозговую нагрузку. Изобразительная сила комиксов шла в штыковую атаку на академическую школу живописи. Момент столкновения, как я узнал позже, рождал крупнейшего художника на моих собственных глазах. Было странное чувство безнадежной утери чего-то очень ценного в человеческой природе. Мы сидели за низким столиком, пили крепкий кофе из керамических чашек и легкое вино и говорили о литературе, о мистике и природе вдохновения. Я был тогда далек от искусства, но хорошо знал вдохновение изобретателя, постоянно был набит идеями и научился, в конце концов, пристегивать руки к голове, лишив их платоновской пустопорожности. Толик говорил тогда о мистическом влиянии окружающего пространства на творческий процесс, о чувстве вмешательства внешних сил, о пульсирующей положительной ауре некоторых городов, в том числе Москвы, о блуждающих центрах, с неизбежностью превращающихся в зародыши оригинальных культур. И о том, что в конце XX века самым мощным таким феноменологическим центром безусловно, по его мнению, является Нью-Йорк, забрав первенство у Парижа. В конце концов художник Илья Кабаков там и оказался. А тогда он подарил мне на память толстый альбом, привезенный им недавно из Парижа, посвященный юбилею Поля Элюара с большим количеством малоизвестных у нас тогда репродукций Сальвадора Дали. Эти репродукции, скопированные и увеличенные почти до натуральных размеров потом развесил по всей своей комнате в коммунальной квартире мой брат в Москве, семь лет ожидавший разрешения на выезд в Израиль и, в конце концов оказавшийся подобно прочим в Австралии. На

царский вопрос Толика, что бы я от него пожелал, зная его почти семейные связи с издательством «Детская литература», я высказал свое заветное желание — недавно вышедший двухтомник Заходера. Он рассмеялся и сказал, что это выше его возможностей. Книжный бум был в полном разгаре, и сам Заходер бы его не «достал».

Но просьбу он запомнил и через некоторое время я все-таки получил красочный томик этого прекрасного детского писателя с вписанной туда теплой благодарностью за товарища от иллюстратора этой книги В.Пивоварова. И эта заветная книжечка с памятной надписью стоит у меня на полке, ибо внуки мои пока еще по-русски не читают и бог знает, будут ли. А старенькая бухгалтерша, подарившая миру одну из знаковых фигур на стыке 20-го и 21-го века не долго пользовалась благами цивилизации и вскоре умерла, но прежде оказалась совершенно одинокой. Сестра ее со своей семьей подалась в Израиль, а ее собственный сын практически поселился в Германии. Позже Валера по просьбе брата перевез ее прах и захоронил в окрестностях Кармиэля, рядом с могилой своей матери, в тревожной близости от Голанских высот.

ПСИХ

С Юрченко я познакомился на наших ночных бдениях под книжным магазином. Эти очереди выстраивались с вечера перед субботним выходом «Книжного обозрения» и иногда продолжались несколько «шаббатных» ночей подряд. Так что времени было более, чем достаточно. Юрченко был одним из самых активных сидельцев со стажем. Его колоритная фигура — выше среднего роста, с вислым хохляцким носом на тонко выделанном лице, кряжистый, с длинными ухватистыми руками, в своей неизменной шапке-финке с замысловатым козырьком, всегда сдержанно-насмешливый, со следами непрерывной внутренней умственной работы — придавала невольную значимость этим нашим странным сборищам. Познакомившись, мы уже много времени проводили в интенсивных разговорах, глядь, ночи как и не бывало. Юрченко был набит самой разнообразной информацией и стихами. Выяснив, что у меня к ним есть тяга, он выливал на меня ушаты поэтической макулатуры советского разлива. Он декламировал любимого им Григория Поженяна:

Я старомоден, как ботфорт
На палубе ракетноносца...

Собственно, Юрченко в нашем городе не жил. Он обитал в большом селе Николаевка, километрах в двадцати от метрополии. Но на неделе его частенько можно было встретить в любом из книжных магазинов, где он скупал подряд все новые поступления пачками. Говорили, что дома он тоже их держит в пачках, упакованных в картонные коробки, чуть ли не в подвале. Останавливался он обычно у дядьки на 12 этаже многоэтажки, где на первом располагался городской ЗАГС, но

сам был одинок и жил в селе с матерью. А еще его можно было увидеть на городском рынке, за прилавком, он торговал там какими-то особыми мичуринскими полосатыми грушами, дынями и ранними овощами. Собственно, это и был его источник дохода, от плодов земли приусадебного участка, который он весь почти тратил на книги и который стал, в конечном счете, его личной Голгофой. Вроде бы он еще где-то числился то ли сторожем, то ли пожарником. В отношении его странного образа жизни ходили самые разные слухи. Но главной версией, которой он не отрицал, было, то, что чистым и светлым комсомольцем он после школы поступил на работу в некую портняжью артель и, быстро обнаружив, какие частнособственнические инстинкты руководят мастерами иголок и ниток, вступил с ними в борьбу не на жизнь, а на смерть, в результате чего был с шумом изгнан из дружного социалистического коллектива, навсегда потеряв веру в человечество и поклявшись себе ни при каких обстоятельствах не обслуживать советскую власть и эту свою клятву честно сдержал. Началом его огромным по тем временам книжным сокровищам, по его собственным признаниям, была некая сельская библиотека, переданная ему не нуждающимися в ней пейзажами где-то в Средней Азии в оплату за какой-то грандиозный труд, ведь он владел массой практических навыков. Допускаю, что при этом не все юридические формальности были соблюдены.

Юрченко арестовали, как выяснилось позже, по доносу заведующего городским образованием, подслушавшим как-то ночью его громкие высказывания, обращенные к памятнику А.С.Пушкина по поводу его, Пушкина, нечистых на руку, власть предержащих, потомков. Органы еще тогда по инерции пытались держать все под контролем. Но официальное обвинение было почти невинным — незаконный самовольный захват колхозной земли и тунеядство. Не смущало обвинителей даже то, что одно как бы по определению противоречило другому. Захват заключался в том, что Юрченко, якобы, распахал и засадил канаву около дома, принадлежащего его матери в селе Николаевка. Как далеко простирались планы правления колхоза в отношении нескольких

квадратных метров этой перекопанной вручную, с помощью лопаты, канавы осталось не выясненным, да и никого не интересовало. Что же до тунеядства, то более нелепого обвинения в отношении именно этого человека трудно было придумать. О его трудолюбии и нечеловеческой трудоспособности ходили легенды. Не было случая, чтобы он кому-нибудь отказал в физической помощи. А силенок в нем хватило бы и на троих и даже на четверых. Тем не менее, доход с засеянной картошкой канавы посчитали столь значительным (поистине, невольно вспоминается библейская история о том, как Иисус пятью хлебами целую деревню накормил), что сочли необходимым сделать в доме обыск. И конфисковали всю его библиотеку, в которой обнаружилось более 15 тысяч книг, большая часть из которых не была даже распакована. Ходили слухи, что среди них были обнаружены некие библиотечные раритеты всемирно культурного значения, но на суде ничего такого не фигурировало. Из прокуратуры и партийных кабинетов шли к судье откровенные знаки посадить стихийного диссидента и надолго, но судья оказалась женщиной порядочной и в официальном обвинении не было ничего, кроме формального зафиксированного тунеядства, подтверждаемого отсутствием трудовой книжки и других каких-либо документов, свидетельствующих о следах общественно полезной деятельности. В любом случае даже такое тяжкое преступление тянуло от силы на год условно. Юрченко от адвоката отказался, он был уверен в своей правоте да и с уголовным кодексом был знаком не понаслышке (за несколько лет до описываемых событий он проходил по той же статье и суд позорно провалился). Но в этот раз все вышло иначе. В запале Юрченко заявил, что не признает ни этого суда, ни его кукловодов, что сам он за них никогда не голосовал и вообще на выборы не ходил, не ходит и ходить не собирается, а потому весь этот суд над собой считает не легитимным. Таких и слов-то тогда не употреблялось. Это был перебор. Да и судью он этим сильно раздражил. Она ведь из-за него и так чуть места не лишилась. В провинции пренебрегать желанием хозяина — себе дороже. И вот что имеет...

Юрченко получил по приговору вполне законных четыре года за оскорбление суда. Вышел он ровно через восемь лет. Четыре добавочных он схлопотал за то, что свято выполнял свою внутреннюю клятву. Он ни разу не вышел на работу и тем заслужил уважение и авторитет, особенно, у блатных.

А еще и за то, что бескорыстно и добросовестно, со знанием дела помогал им составлять всякого рода жалобы и апелляции. В тюрьме к нему приклеилось погоняло «святой». И выпустили его не за просто так. Тюремные власти относились к нему по разному и вынуждены были считаться с его влиянием среди заключенных. А потому предложили в конце концов сделку — свободу в обмен на справку о психической неполноценности, заменив прокурорский надзор на постоянный контроль со стороны городского психиатра, что было не многим лучше. Ибо, за любое, с точки зрения властей, неадекватное поведение его могли засунуть в психлечебницу без всякого суда и следствия, по одному лишь решению эскулапа.

Ему частично вернули его книги. Юрченко не был очень рад свободе. Все никак не мог отойти. Как-то у него завелся очень странный разговор с одним из книжных фанатов, в какую рубрику на полке помещать русскоязычных авторов евреев — то ли к русской литературе, то ли к еврейской, но при чем тогда здесь русский язык. Н-да, вечный вопрос...

Юрченко утверждал, что дед его в Николаевке владел несколькими десятками гектаров земли, и он надеялся, в конечном счете, эту землю когда-нибудь вернуть. Дай бог, чтобы его мечта осуществилась, чтобы пришел на нее настоящий тороватый хозяин.

КАК Я ПО МЕД ХОДИЛ

Перестроечная тяга к коммерции у нашего заводского руководства означала одно — директор Валентин Иванович Гопенко хотят стать единоличным владельцем предприятия. А предприятие, скажем прямо, не свечной заводик. Шесть тысяч персонала, больше половины всех выпускавшихся нерушимым союзом герметизированных кабелей для надводного и подводного и т.д. и т.п.

ВИГ не скрывали этого своего желания и даже дали ему идейное обоснование, заявив:

«Мы (т.е. нынешние администраторы и партийные бонзы) естественные правопреемники бывшего славного украинского дворянства и должны быть восстановлены в праве собственности».

Во как! Находясь в таком незыблемом «историческом» праве, исключавшем появление безродных конкурентов (увы, сам-то он попал в кресло директора только из-за какого-то суетливого движения своих предшественников по вертикали, а вовсе не из родовитости — трудно представить этого разжиревшего до неприличия от многолетнего сидения в кресле главного технолога заурядного столоначальника в роли предводителя дворянства), он проводил и соответствующую политику на заводе — решительно отделив белых (начиная от начальников цехов и отделов) от черных (всех остальных). Особенно это касалось доступа к кормушке, то есть ко всем материальным ценностям, прокачиваемым через заводские склады — стройматериалы для дачных участков, дефицитные продукты, мебель, бытовую аппаратуру и пр. Вокруг завода, как поганки в ожидании дождя, стали возникать некие общества с ограниченной ответственностью, решительно отжимавшие самые жирные куски у традиционных заводских

служб — снабжение (особенно цветным металлом), сбыт, разработка и изготовление на сторону кабельных изделий, особенно для села и стремительно откалывающихся национальных окраин. Эти разнообразные ООО имели разных учредителей, но де-факто представляли одну большую семью или клан. Они взяли под контроль все работы и виды деятельности за пределами госзаказа. Сначала я с ними активно сотрудничал, мне даже предлагали некую ведущую роль, но не в качестве учредителя, а в качестве наемного специалиста. Откровенно говоря, там было гораздо больше деловитости, ответственности, жесткости, прямо скажем, хватки и профессионализма, чем на основном производстве. Там сколачивался будущий капитал, чем-то напоминая мне литературных героев первоначального накопления, типа Громова из «Угрюм-реки» и, возможно, я там мог бы найти свою нишу, но оказалось, что во мне сидит больше инженер, чем предприниматель. Получив пару раз какие-то незначительные надбавки к своей официальной зарплате и сравнив это с тем, что я честно зарабатывал на тех же своих разработках по договорам, я зарегистрировал свою собственную фирму и предложил этим новым хозяйчикам в дальнейшем вести работы на контрактных началах. Вот тут и началось. Им это было не надо.

У меня было несколько разработок последних лет, на которые, вдруг, прорезался повышенный спрос. Тонкость заключалась в том, что эти разработки уже были прописаны в заводской технологии. Действовало грабительское советское право, когда предприятие автоматически является совладельцем изобретений своих работников. И новые хозяйчики внаглую игнорировали мои авторские права (чего никогда не делал завод!), поскольку паслись тут же рядом и могли использовать моих же людей (бывших в курсе!) втемную и почти задаром. Я бегал из кабинета в кабинет, пытаюсь прекратить разбой — но что я мог выходить у главного инженера, когда он состоял в той же разбойной конторе в учредителях, и что я мог требовать у своего подчиненного инженера или рабочего, зарплаты которого (порядка 20 долларов в месяц!) элементарно не хватало на еду. Мне только пообещали, что

если я буду слишком назойлив, то моей головой вскоре будут играть в футбол реальные пацаны на улице. И это не было пустой угрозой. Одного заводского водителя, совершавшего регулярные левые рейсы с пластмассовой крошкой в район Кавказа, как раз нашли на какой-то свалке возле трассы. То ли за длинный язык, то ли кое-кто резко рубил концы.

Я сделал последнюю попытку с дальним прицелом. В областной запорожской газете я встречал несколько раз объявление некоей фирмы. Они занимались продажей компьютеров и организацией компьютерных сетей — в школах, в других учебных заведениях, на предприятиях. Я знал, что при монтаже этих сетей используют специальный «компьютерный» коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 93 Ома. Кабелек этот был дорогой, импортный, через каждые полметра на нем шла надпись «мэйд ин ю-эс-эй». Фирма постоянно объявляла свою неудовлетворенную потребность в нем. Похоже для них проблема с этим кабелем была соизмерима с нашим всеобщим голодом по зарубежной бытовой электронике. Какой-то неправильный голод, думал я. Всего в 200-х километрах наш — крупнейший на Украине кабельный завод с полным реестром технологических цепочек, включая ядерные. Точно, сапожник без сапог. У меня возникла идея. Я позвонил и выяснил объем их потребности. Там меня заверили, что надежность в этом кабеле очень велика, тема компьютерных сетей зело актуальна и очень сожалели, что наша промышленность ничего подобного не производит. Все это меня крайне удивило. Я был уверен, что наши технологи расколят этот орешек на раз. Удивительно, что в Москве, где функционировал целый кабельный институт со штатом в две с половиной тысячи человек прозевали такой козырный шанс и не надрали заносчивым америкосам задницу. Еще без всякой задней мысли, просто из любопытства я заглянул в одно из ООО и осторожно прощупал ситуацию. Оказалось, что Москва очень даже занималась этим вопросом, но что-то там не то, что-то не клеится совершенно, темнят америкашки и выпускают кабель, который в природе не может существовать. В общем, специалисты отделялись смехучками. Ага! Тут явно нарисовалась

ПОБЛЕМА. Весь мой опыт подсказывал, что все затыки, это как правило результат ошибочного подхода. Там у них в ООО был человек, эдакий генератор денежных идей, такой себе симбиоз Самоделкина с Панайотовым. Деятельный чужак, выходец с Урала, он за десять лет прошел длинный путь через кресло главного технолога и сбегал еще в отраслевой институт написал там и защитил диссертацию. На фоне всех наших местных выпускников заочного факультета Ростовского сельхозинститута, он выглядел белой вороной, служил новым хозяевам верой и правдой и был их главной технической кувалдой. В прежние времена мы с ним тесно работали.

«Вова, имеешь шанс убить медведя» — сказал я ему. И расписал красные зори неограниченного кредита зарубежной телетехникой и компами (у нас тогда хавали, в основном, казанскую туфту) буквально в кустах, в соседнем городе. Он-то и вылил на меня первый ушат холодной воды.

— Ты же не кабельщик. А здесь таки проблема, пойми. Наши методики расчета коаксиальных кабелей дают для такой кордельно-трубчатой конструкции минимальный наружный диаметр не меньше 7 мм, а у американцев в натуре где-то 4, 1 мм.

Как они этого достигают — загадка. Над ней уже сидели ребята и в Мытищах и в Москве.

Пока ничего не высидели. Можно поиграться с материалами, но тут много не разгонишься. У нас даже нет того, что есть у москвичей. Короче, хочешь заниматься — вперед и с песней. Я знаю, ты такие задачки обожаешь. Специалиста-кабельщика тебе дадим самого лучшего, оборудование будет в вашем распоряжении, особенно по выходным. Оплату рабочим — двойную за выходные мы тоже возьмем на себя. Результаты положительные — все наши, сам понимаешь и ты в накладе естественно, не останешься. Не получится, ну что ж, чем-нибудь расплатишься, больших расходов я не передвижу. Расчетной базой я тебя обеспечу.

И показал какой-то крутой карманный специализированный вычислитель. Тут же давший несколько конструкций коаксиала на 93 Ома. Все очень далекое от «американца»

Было над чем подумать. Конструкция кабеля была проста, как мычание коровы. Коаксиал с продольно-трубчатой изоляцией.

Медный круглый проводник обматывался по спирали полиэтиленовым круглым корделем, на него накладывалась полиэтиленовая же трубка, затем металлическая оплетка и поверх оплетки оболочка. Ничего особенного. Но несовпадение расчетных и реальных величин волнового сопротивления «американца» ставило в тупик. То ли загадка была в неизвестных нам материалах (может, хитрый продукт нанотехнологий с отрицательными характеристиками?), то ли в невидимых глазу элементах конструкции.

Пока суд да дело, я решил поиграться в эмпирику, проверить насколько четко работают расчетные формулы, взятые из букварей. Недели две-три мы игрались с размерами, убеждаясь все более и более, что советские буквари не врут. За эти несколько недель энтузиазм и заинтересованность ООО стала как-то ослабевать, грозя сойти на нет.

И как-то мой помощник, технолог действительно от бога, чувствовавший всю кухню каким-то внутренним чутьем, сказал, что наши патроны схалтурили и подсунули бракованный провод (видно, по принципу, все равно от них толку нет, одна суета и расходы). Я пошел вместе с ним посмотреть, что там такое. И действительно, медный провод был явно пережженный со следами побежалости и гнулся как шпагат. По существующей технологии — чистый брак. Я задумался. Привычная технология вела в тупик. Это очевидно. Мы повторяли путь, который уже бесславно прошли наши коллеги в Москве.

— Знаешь что, а давай, пускай его в дело. У нас единственный параметр, с которым мы можем играть — это активное электрическое сопротивление. Провод очень мягкий, активное сопротивление его минимально, вот мы и проверим, как оно реально влияет на сопротивление волновое.

Дело было в пятницу. Наши работы проводились в субботу и воскресенье. Измерение результатов проводились, как правило, в понедельник.

Утром в понедельник я еще только подходил к своему кабинету, как услышал на лестнице непрерывный трезвон телефона.

Наши разработки стояли по всему предприятию, так что могло быть всякое, и я приготовился к каким-то очередным неприятностям. Но в телефоне был голос моего помощника-технолога. И я даже не сразу сообразил, о чем он говорит. Но голос его был какой-то странный, с каким-то даже повизгиванием. Человек явно не владел собой.

— Да ты толком объясни, что случилось, Вовик работы закрыл, или как?

Я уже был готов и к этому.

— Да нет, напротив. У нас меряется волновое около 100 Ом. Это невероятно! Это не лезет ни в какие рамки! Беги скорей сюда, сам все увидишь.

Пока я добрался до цеха, это ходу минут 10 — передумал всякое. В мистику я не верил, но выражение «меряете не так» было у меня дежурным, некоторые коллеги так и называли меня за глаза, но обращались вежливо и добродушно насмешливо «Доктор».

Как бы там ни было, а столь сильное изменение главного параметра от небольшого, в пределах не больше 10 процентов уменьшения активного сопротивления не могло так сильно повлиять. Никак! Вот это была бы, действительно сенсация в духе экстрасенсов и прочей непонятки. Нет, потрясать Киргхофа или Ома мы не будем. Здесь что-то другое, очень обычное и даже простое. Думай, Зяма, думай!

На столе лежало несколько десятков образцов. Все свидетельствовало, что мы нашли какое-то решение проблемы. Многократные измерения показывали — мы находимся в области нужных нам величин. Следовало только найти веревочку, за которую нужно тянуть, чтобы этот параметр как-то регулировать и стабилизировать.

Своему удачливому помощнику (вот уж действительно легкая рука!) я сказал

— Не истери. Активное сопротивление здесь не-при-чем. Ты же понимаешь. Решение у нас в руках. А теорию мы под-

гоним. Не сомневайся. Никому пока ни слова. Никому! Одно лишнее движение и нас немедленно оттеснят, ты и ахнуть не успеешь. Иди, делай что угодно. Скажи, что приболел. Пойди расслабься, напейся. Поплавай в море, полови бычков. Только молчи...

Я взял образцы, заперся у себя в кабинете и начал их терзать острым сапожным ножом. Через час все объяснилось. Кордель, обматываясь вокруг слишком мягкого от пережога провода, образовывал вместе с ним двойную спираль с шагом обмотки. Это было едва заметно, но оказалось достаточно. В результате мы получали увеличенную погонную (на метр длины) емкость, индуктивность и активное сопротивление. Эврика!

К вечеру вся теория и новые формулы для расчета были вчерне готовы. Финита ля комедия. «Американца» мы не раскололи. Но нашли собственное и эффективное решение.

В течение последующей недели, намекнув, что мы близки к решению и получив возможность работать и в будние дни, мы вышли на конкретную конструкцию.

Она оказалась еще более шокирующей чем «американец». Кабель был более гибкий и диаметром всего 3,9 мм. Наш вариант получился легче, меньше по габаритам, в разы дешевле и надежней заокеанского, что и подтвердила потом безоговорочно фирма-заказчик.

Вовику я сказал, чтобы готовился к первому бартерному обмену. До тех пор я никаких координат нашего запорожского заказчиков ему благоразумно не давал, знал, что надует и продаст и глазом не моргнет.

И я беспокоился не зря. После первой же бартерной сделки, Вовик сделал куриную морду и стал меня, и моего напарника откровенно игнорировать. Из бартера нам не досталось абсолютно ничего. Он сказал:

— Держите свои секреты при себе. Мне давайте кабель. Все, что от вас нужно. Это ваша обязанность. Такие были изначально условия. Вам я плачу деньги, как специалистам. А то, что результат есть, так для того специалисты и служат. Не будете выдавать кабель, выгоню к черту этого твоего по-

мощника, у меня такие еще есть, а он пойдет по миру и нигде его на работу не возьмут. Можешь быть уверен. А ты не кабельщик. Сам ничего не сделаешь. И со своим секретом так и сгниешь.

Чтобы хоть как-то обезопасить себя от посягательств, я взял в соавторы главного инженера и мы втроем (третий — технолог) получили свой первый украинский патент. Как оказалось, только, чтоб потешить свое самолюбие. Эта запорожская фирма была сущим клондайком. Они везли в обмен на кабель компьютеры, видео и пр. бытовую технику, которую сами за бесценок гнали из Малайзии. При первой же бартерной сделке мне пришлось их раскрыть — нужен был транспорт, охрана и прочие прозаические вещи.

В конце концов я все же пришел к Вовику:

— Где же твое обещанное «ты в накладе не останешься». Ты все-таки инженер и неплохой, знаешь цену настоящему решению.

— Да, знаешь, я уже и не рад, что с тобой связался. Я ведь тоже всего лишь мальчик на побегушках у этих жадных раздолбаев. Я бы и рад тебе что-то выделить, но они в один голос шипят ни хрена этому жиду не давай. И сами грызутся как гиены после каждого бартера. Тащат и тащат и забивают до крыши свои гаражи. Я и себе-то практически ничего не взял. Так, какой-то захудалый видак, который уже не фурычит. Ну несколько компьютеров малазийских для производства, так не себе же. Если хочешь, я тебе дам проводов осветительных несколько бухт, а ты сам пошукай бартер в соседних колхозах. Они за этими проводами в очереди стоят.

Я понял, что надо брать, что дают. Через несколько дней мне домой на ИЖе с коляской привезли два алюминиевых бидона с 50 килограммами густого, темного, обалденно пахнущего липового меда.

ПСАЛОМ

Они собираются ежегодно, в начале февраля, в Коулфилдском парке Мельбурна, уже в течение 60 с лишним лет, эти полтора десятка людей, спасшихся, выживших в Освенциме из двух с половиной миллионов, обреченных на смерть, в месте, предназначенном не для выживания, а для уничтожения. Они давно уже стали спаянной семьей, чья близость теснее, чем родство по крови. Они веселятся, как дети, вспоминают старые песни, выпускают стенгазету, добродушно подтрунивают друг над другом, над испортившимися фигурами, над повылезшими буйными левантийскими кудрями. Их всех объединяют номера, вытатуированные на руке, мужчин и женщин, переживших своих палачей наперекор всему. Я разговорился с одним из них, с грустью вспомнившим, что его отец свободно говорил по-русски.

Его бесхитростный рассказ задел меня за живое. Я решил передать эту историю, не расплескав свежести впечатления.

Часть 1. СГОВОР

«Барух, ата, адонои, мелех ха олам...»

Руки мои дрожат и глаза мои слезятся, но память моя крепкая, и не отпускает ни на минуту, и не позволяет забыть ничего, и я молюсь:

«Да помянет Бог душу матери моей Шейлы Рейзен и сестры моей Ривы и брата моего Мойше и всех родственников моих со стороны отца моего и всех родственников моих со стороны матери моей, отошедших в вечность... безвременно... — *добавляю я в душе моей* — и убитых преступно и зверски и зарытых в общей яме в лесу под Кажимежем в зеленом бору, на берегу реки Ватры, что в Западной Польше».

Я смотрю на фотографию, уцелевшую в этой безумной войне, когда вещи надолго переживали своих владельцев. Она вопиет к моей совести. Я остался единственный свидетель. Провидение тащило меня сквозь все круги ада. Зачем? Сколько раз стоял я на краю между жизнью и смертью, влекомый своими жестокими гонителями, а еще чаще своим собственным бесконечным отчаянием.

У меня есть только один ответ.

Я должен рассказать, я должен... И дай Бог мне силы и положи Бог руку на мое сердце и пусть оно руководит моим языком.

Вот она эта фотография и на ней вся наша огромная семья: и отец и мать и сестра и три брата и бесчисленные дяди и тети и двоюродные братья и сестры мои и дети... дети... Они стоят на площади перед нашим домом, перед магазином всем известного в городе уважаемого торговца Итты Хаима Едвоба, моего отца, крепкого, удачливого, богобоязненного, как Иов. Боже мой, они заполнили всю площадь. Сколько их? Тридцать... пятьдесят... сто? Да это целый город! Целый народ!

Да так оно и есть. Загоров город небольшой, тысячи две-три — не больше, а евреев в нем добрая четверть. И живут они в нем давно, основательно. Торговцев, как мой отец немного, все больше добрые ремесленники, рукодельники, ловкие, непьющие, набожные — шорники, сапожники, портные, ювелиры, часовщики, меламеды, шохеты...

И вот их нет никого, и семья их прервалось.

Мне было 15, когда все началось. Впрочем, нет, началось все намного раньше, ребе говорил, пять тысяч с лишним лет назад. Но для нас мир начал рушиться, когда мы услышали имя Адольф Гитлер, пусть будет проклято оно навеки.

Мой отец в Загорове был человек пришлый, родом из соседнего уездного городка Калиша, но после Первой мировой в Калише стало беспокойно, его профессия торговца не любит беспокойства и отец перебрался в пограничный Загоров на реке Ватра. Он всегда чувствовал, когда надо сниматься с места. Там, за рекой начиналась Германия, побежденная

и униженная. Зато Польша сбросила власть Русского царя и пребывала в опьянении от свалившейся на нее свободы. Свидетельство о рождении моего отца еще выдано русским чиновником и написано на русском языке «Иосиф Герш Едваб... занимающийся выделкою прошивок... предъявил младенца мужского пола... младенцу при обрезании дано имя...». Это недавнее прошлое проявлялось и в том, что отец знал имперский русский язык.

В Загорове он и встретил мою мать, местную уроженку с многочисленной укоренившейся родней. Нас было у них пятеро. Старшей, Риве, в 39-м стукнуло 21 и дальше, дальше все остальные, через ступеньку в два года. Я был четвертым, младшему Мойше исполнилось 13. Он еще успел отметить Бар Мицву. Родители держали магазин с мануфактурой. Там было много всякого добра, но больше всего пестрой цветной ткани в больших рулонах. Город сам себя обшивал, и отец был едва ли не единственным поставщиком модного полотна.

Отец следил за нашим образованием, но каким оно могло быть в маленьком городке, по сути, деревне. Обучать нас начинали с 5 лет, в хедере. Я несколько лет ходил еще в общую начальную школу. Все это продолжалось, пока мне не исполнилось 12. А потом уже нужно было куда-нибудь ехать, я хотел учиться, но отцу мы нужны были дома, семейное дело требовало рук — со стороны мы никого не нанимали. Поэтому отец брал мне домашних учителей, и я осваивал гимназический курс, не отходя от прилавка.

Отец был очень религиозный, но не фанатик. И хотя во дворе у нас был пристроен штибл — помещение для молитв, как это было принято у хасидов, он предпочитал ходить в синагогу, красивое кирпичное здание, любовно и с духовным трепетом построенное 60 лет тому. Синагога была средоточием всей еврейской жизни, это был храм, клуб и парламент в одном лице, как сказали бы наши соотечественники поляки.

Природа наградила отца красивым, звучным голосом, он никогда не скупился на пожертвования для общинных нужд и оттого его всегда вызывали для чтения Торы, миссии почет-

ной и ответственной. Он и нас приучал к тому, чтобы высокий религиозный дух стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, понижывал все наши поступки.

К 15 годам я знал наизусть Тору, участвовал в молодежном движении Бейтар, на праздники ходил с приятелями по окрестным домам с голубым боксом для пожертвований поселенцам в Палестине и мог изъясняться на четырех языках, в том числе довольно сносно на немецком. В городе проживало много фольксдойче, и они охотно посещали наш магазин. Дома мы говорили на Идиш.

Отец искал спокойного места, но, видимо, в Европе такие места уже перевелись.

В соседней Германии пришел к власти бесноватый фюрер и мы с возрастающей тревогой следили, как его злобные, животные выпады против евреев находят отклик среди наших польских соседей. В школе нам рассказывали, что в Древнем Риме народ развлекали в цирке зрелищами дикого варварского насилия над людьми. И мне казалось, порой, что наш город постепенно превращается в древнюю цирковую арену, где нам отводилась роль загнанной дичи. Главным возбудителем антисемитских настроений в возрожденной из праха Речи Посполитой была католическая церковь. Ксенз в Зборовском костеле каждое воскресенье громко возглашал с Амвона проклятье жидам, замучившим две тысячи лет назад Христа. Наши общины не смешивались. Даже в школе мы не искали дружбы с поляками, местное население ходило к нам на торговую площадь, где сгрудились все лавочки, мастерские, магазины и салоны, как в чужую, враждебную страну. В 1936-м эта враждебность выплеснулась на улицу. Посыпались камни, зазвенели разбитые окна.

«Жида, убирайтесь в Палестину!» — с таким броским транспарантом беснующаяся толпа появилась тогда перед нашим домом. Но мы были предупреждены заранее, закрыли витрины металлическими ставнями и забаррикадировали двери. Атака захлебнулась, а тут подоспела полиция и навела «порядок». Нам предлагали убраться с земли, на которой мы прожили 500 лет, как свидетельствовали местные записи —

с 1411 года. Впрочем, и там, на Обетованной земле у нас уже вызревали враги. До нас доходили слухи, что пароходы с еврейскими семьями, снаряжаемые отчаянными сионистскими активистами прорываются сквозь Британские заслоны, как сквозь стены осажденного Веспасианом Иерусалима.

В 1937-м отец, взяв с собой двух старших братьев и оставив меня за главного мужчину, уехал в Австралию в надежде устроиться и через некоторое время забрать нас всех. Но момент был не подходящий. Отец писал, что там депрессия, фабрики, заводы стоят, золотая лихорадка прошла, работы нет и они пробиваются случайными заработками. Ему понадобилось два года и вся его незаурядная предприимчивость, чтобы как-то стать на ноги, освоить язык и обзавестись надежными партнерами. Но события вокруг нас густели гораздо быстрее. И когда летом 1939-го отец понял, что нас просто надо спасать, капитан судна мистер Плоткин убедил его, что назад ему уже не вернуться и для наглядности своих аргументов спрятал выездные документы в капитанский сейф, ибо был уверен, что уже поздно. Да так оно и было.

И на закате, 1-го сентября мотоциклы с фашистскими штандартами, ошестинившись пулеметами, выкатились на улицы Зборова. Многое, что с нами произошло, потом было связано с враждебностью, постоянно возбуждаемой в местном населении. Она насаждалась сверху, из культурных кругов и через церковь. В воздухе носилось ожидание погрома. Отношения с местными немцами были гораздо мягче. Они тоже испытывали неудобства существования в качестве нацменьшинства, способны были проявлять сочувствие и не участвовали в антиеврейских акциях, которые стали постоянными перед началом оккупации. По ошибке, мы полагали, что это связано с немецкой ментальностью и самоуспокаивали себя тем, что в первую мировую немцы были вполне дружелюбны. Многие даже искренне, наивно ожидали немцев, как силу, способную уменьшить опасность польского национализма.

Это во многом определило полную растерянность, отсутствие готовности к сопротивлению самой безжалостной, самой жестокой враждебной силе, которая свалилась на наши головы.

Часть 2. НАШЕСТВИЕ

Немцы появились под вечер первого дня Рош Ашана и уже утром принялись за евреев, показав нрав куда более чудовищный и решительный, чем поляки. Я уже говорил, что у нас во дворе был большой, рассчитанный на множество людей хасидский штибл. Там собрались родственники и соседи, с тревогой ожидая самого худшего. Немцы были хорошо осведомлены. О! Они никогда не упускали случая заранее собрать информацию, да что говорить, и доброхотов хватало. Они пришли с намерением хорошо развлечься и приказали всем собраться снаружи и надеть на себя талес. Они выстроили нас вдоль стены с поднятыми вверх руками. Направленные прямо в лицо автоматы и жесты не оставляли никаких сомнений в их намерениях и исключали любую возможность возражать. Они предложили евреям прочитать последнюю молитву, ибо все будут сейчас расстреляны.

Несколько стариков, которые были готовы к этому, начали читать «Шма Исраэль...», раскачиваясь и с характерными выкриками. Палачи остались довольны и смеялись злорадно и говорили с угрозой «Вы молились хорошо, ваша молитва дошла, так что мы дарим вам жизнь...»

Несколько солдат забрались в штибл, вытащили свиток Торы и сорвали с него талит, расшитый кистями и золотом, как одежду с человека и, бросив на землю, принялись топтать свиток подкованными сапогами. А евреи чтят Тору, как живое существо, и, когда свиток приходит в ветхость хоронят его, словно умершего рядом с могилой праведника.

Утром следующего дня, на второй день Рош Ха Шона всех евреев в возрасте от 15 до 50 собрали на торговой площади, приказав прихватить с собой хозяйственные ножи и ножницы, чтобы ими очищать площадь от травы, пробивающейся сквозь брусчатку.

И встали мы на колени и на корточки. И пожилые и молодые. И матери рядом с детьми, вчерашние учителя и ученики и врачи с пациентами и фармацевты и известные городские мастера, обшивавшие и обувавшие и обстригавшие весь город

и сноровистые торгаши, полиглоты, из поколения в поколение несущие в себе талант находить партнеров и товар во всех концах земли и философы, и мудрецы — знатоки Торы, самые древние из культурных народов земли. И глотая слезы отчаяния, бессилия и страха ползали мы в пыли в глазах врагов наших. И стояли вокруг нас солдаты с автоматами и рычали бешено собаки, и стояли рядом с ними наши соседи-сограждане, и не было в их лицах сочувствия, а лишь злорадство, и не ужасались они происходящему на их глазах. И казалась нам наша торговая площадь бескрайней, как поле скорби.

С этого дня мы должны были выполнять все работы для городских нужд. Евреев отлавливали на улице, как зверей и отбирали пригодных. И мы были так напуганы, что перестали покидать дома. Тогда солдаты начали врывать в квартиры, хватая кого ни попадя, не обращая внимания на возраст и состояние здоровья, это им было безразлично.

Вскоре последовал приказ всем евреям зарегистрироваться и пришить желтую шестиконечную звезду на одежду, размером в 15 см., на грудь и на спину и обозначить все еврейские заведения табличкой с надписью «Juden». Они выявили всех неработоспособных и выкинули их на улицу, заняв их жилища для своих нужд. И был создан Еврейский Комитет, который теперь нес ответственность за бесперебойное выкачивание ценностей и обеспечение рабочей силой. Немцы перестали действовать спонтанно, в их действиях наметилась система, имеющая целью довести условия нашего существования до невыносимых. Мы были в их полном и безраздельном владении, и было такое ощущение, что это никого, абсолютно никого в мире не беспокоит. Казалось, они специально провоцируют мир на протесты, но все тщетно. Они принялись за наших стариков, похожих на патриархов. Они хватали их за бороды и гнали их прикладами на улицу, и избивали в кровь, и вырывали их седые волосы, и издевались над их немощью, и бросали в грязь их священные книги.

Евреи еще сохраняли некоторую видимость нормальной жизни, торговали, что-то мастерили. Но однажды в деловом центре появились зеленые, похожие на огромных жуков, гру-

зовики и еврейским владельцам предложили самим перегрузить на них все, что есть у них ценного в пользу Германии. Так в одночасье они разорили всех еврейских предпринимателей. Немцы добрались, конечно, и до нашего магазина. Они забрали всю мануфактуру и перерыли весь дом, хватая все, что попадалось им в руки. Не найдя ничего особенно ценного, они были очень разочарованы и кричали на мать: «Ты, жидовская корова, куда ты спрятала свои побрякушки, украденные у народа. Если ты сама не принесешь нам их в зубах, мы засунем тебя в тюрьму». И они выполнили свое обещание.

Собственно, тюрьмы у них не было. Они кинули ее в холодное помещение рядом с полицией, где раньше держали уголовников перед отправкой их в Калиш. Нужно было спешить. Незадолго перед этим они держали там женщину из соседнего городка, арестованную при сходных обстоятельствах. Подержав несколько дней, они отправили ее в лагерь, а еще тремя неделями позже пришло извещение, что она там умерла от сердечного приступа. У нас было спрятано кое-что на черный день, в том числе несколько рулонов ходовой ткани. Бургомистр, из немцев, которого мы раньше коротко знали, проявил понимание. К нему перетекла значительная часть припрятанного, но маму освободили на следующее утро. Это был один из немногих случаев, когда нам казалось, что мы точно знаем, в каком направлении действовать. Главное и самое чудовищное в тех обстоятельствах, была полная неопределенность. Движение в любом направлении могло оказаться более трагическим, чем сохранение существующего, казавшегося невыносимым порядком. То есть всегда было нечто еще более худшее. Все это время, с начала прихода немцев действовал комендантский час с 6 вечера до 6 утра. Когда захватчики разобрались с еврейским добром, они сожгли синагогу. Она загорелась ночью, пожарный колокол и зарево, осветившее тревожно спящий город известили о случившемся. Многие выскочили на улицу, несмотря на запрет, чтобы бороться с огнем, но солдаты и жандармы уже были там и загнали всех обратно по домам. Любопытствующих на следующий день известили официальной справкой, что пожар стал результатом преступной небрежности и короткого замыкания...

Я знал горькую правду. Я знал ее от моего приятеля, жившего напротив синагоги. Он все видел и слышал. Он проснулся от звука разбиваемого стекла и выглянув в окно увидел несколько человек, явно немцев, одни были в униформе, другие в гражданском. Присутствие чиновников в гражданском говорило о важности происходящего. Проникнув в синагогу, они, как в свое время римский военачальник Гней Помпей кинулись к Священному Ковчегу, чтобы осквернить Тору. Ворвавшиеся несли в руках зажженные факелы, ярко осветившие синагогу изнутри, так что снаружи все было отлично видно. Я считал, что чудеса ушли из нашей жизни вместе с пророками, но тут, по словам моего приятеля, происходило нечто необъяснимое. Так что я невольно вспомнил о светильниках, горевших в храме восемь дней после освобождения его Иудой Маккавеем. Осквернители пять раз пытались поджечь деревянный ковчег, но ничего не получалось. Потом они побросали все стулья в одну большую кучу, облили ее бензином и подожгли, огонь вспыхнул и тут же погас. Тогда они в досаде выскочили на улицу и повывивали все окна. Они расправлялись с синагогой, как с живым, ненавистным им существом. Они бросали гранаты через разбитые окна и пламя, наконец, занялось, выплеснувшись сразу через все проемы. Величественное здание осветилось изнутри, став символом грозного предупреждения на фоне темного безмолвного неба, к которому оно вздымало языки пламени, словно живые огненные руки. Собравшиеся возле поджигатели знали и верили, верили больше, чем кто-либо иной, что еврейский Бог может быть очень мстительным. Огонь бушевал до полудня следующего дня. Той же ночью они разрушили нашу Еврейскую школу, порвали все священные книги, среди них были очень древние и дорогие. Часть книг передали в магазины и лавки, как оберточную бумагу. Торговля теперь была в руках немцев.

Как-то я зашел в лавку купить овощи, когда это еще можно было делать, и увидел около кассы лежащую Гемару с вырванными листами. Немка завернула мне кулек, вырвав очередную страницу из дорогого, красочно оформленного изда-

ния с золотым тиснением. Я содрогнулся, узнав это место, которое мы когда-то так дотошно разбирали в школе с ребе. В тексте несколько раз упоминалось мое имя, Арье.

Огонь повредил только внутренние помещения синагоги, а стены, возведенные на совесть и с любовью, стояли, как крепость. И тогда согнали туда молодежь и подростков и принудили нас по кирпичику разбирать свою цитадель. Это продолжалось несколько месяцев, пока место совершенно не очистилось, не оставив никаких следов.

Условия жизни ухудшались постепенно. Нам ограничили право на перемещение. Попасть с одного места в другое уже нельзя было без специального разрешения. За этим следили как немецкие солдаты и жандармы, так и местная полиция. Пользоваться радио было запрещено, люди питались слухами. Слухи были самые фантастические, все ждали, что Гитлер вот-вот ввяжется в войну с Россией и будет немедленно побит. Рассчеты на лучшее были очень в ходу. Никто даже не подозревал о вызревающих планах нашего уничтожения. Совсем напротив — мы со дня на день ждали поворота к лучшему.

Ощутимые перемещения евреев в нашем районе начались в начале 1940-го, когда Краков вошел в зону германского Протектората. Мы тогда каждый день были готовы куда-то двигаться, разложив по чемоданам и связав в узлы разрешенные 10 кг. Однако, случилось совершенно противоположное и Загоров стал местом, куда начали собирать евреев из других районов, мы даже обрадовались, что остаемся. Не возможно даже себе вообразить, как далеки были наши предположения и надежды от реальности. С началом наплыва в город евреев, нас выселили из нашего дома. Жандармы и полиция заявили к нам и потребовали очистить помещение в течение часа. С ними было две женщины из наших заборовских фольксдойче. Они внимательно осмотрели все вещи и мебель, выискивая полезное для себя и для своей новой родины. Одна из них, наша шабесгой, приходила к нам раньше каждую субботу зажигать огонь. Иногда она оставалась ночевать на кровати, которую сегодня облюбовала для себя, как хозяйка. Наши соседи

помогли нам вынести из того, что осталось от реквизиции — самое необходимое. Ровно через час, с немецкой педантичностью появился наш районный полицейский, которого все за спиной язвительно называли «стрелок» — за его садистскую страсть к отстрелу собак, он закрыл и навсегда опечатал за нами двери родного дома.

Подмазав, где надо, мы поселились в квартире из двух комнат и кухни. Вместе с нами нашли крышу над головой две бездомные семьи, перемещенные из других городков. Мы их хорошо понимали, мы знали, что сами в любую минуту можем стать беженцами.

«...как туземец из вас должен быть для вас пришелец, проживающий у вас, и люби его как самого себя, ибо пришельцем были вы на земле египетской».

Одна семья состояла из ребе Шейнмана со взрослой дочерью и его брата — погодка. Это были удивительно чистые и достойные люди. Мы были счастливы, что жизнь свела нас в такое время. Оба брата умерли почти одновременно через несколько месяцев после поселения. Люди считали это ужасным несчастьем, но после всего, что случилось в Загорове позже, это кажется особым снисхождением, привилегией подаренной им свыше, — умереть своей смертью и быть похороненными на еврейском кладбище со всей полагающейся церемонией.

У меня в руках пожелтевшая фотография того времени. Вот слева я в добротном драповом пальто, рядом со мной Хаим, тоже в пальто и в модной кепке — это жених Ривы, они собирались вот-вот пожениться, рядом с ним красавица Рива, рядом с ней мама и сбоку от мамы брат мой Мойша в бриджах и френче польских конфедератов. Он еще мальчишка, но быстро повзрослевший за год и возвышается над мамой на целую голову. На всех пришитые к одежде желтые шестиконечные звезды, на всех лицах довольная, счастливая улыбка. Эта фотография — фикция, сделанная для наших родственников в Швеции, иначе бы она не дошла. Они здорово помогали нам оттуда. Отец держал с ними связь. Это сигнал, что мы живы, что мы вместе, что мы не теряем надежды. Это был сигнал SOS с корабля уже погружающегося в пучину.

Часть 3. В РАБСТВЕ

Где-то в начале 1941-го — я не вел дневника, и временные вехи мои чаще всего привязаны к еврейским праздникам — юденрат набрал команду для работы на Востоке и я попал в список, что и определило всю мою дальнейшую жизнь.

Я уже писал, что вначале немцы при надобности просто устраивали облавы на улице, отбирая людей, как скот. Но они быстро убедились, что эту работу гораздо спокойней делает Еврейский Совет. Эти вопросы как-то решались внутри общины, исходя из, якобы, общих интересов. Никакого протеста, все происходило, как в страшном сне, воля к сопротивлению была подавлена. Мы слишком были убеждены в божественной разумности окружающего мира. Мы жили обманчивой надеждой, что вот-вот все кончится. Но молодые, нетерпеливые люди, особенно из тех, кто прошел школу Бейтара, все же были. Несколько моих знакомых парней укатали на велосипедах на восток в надежде перебраться к русским. У меня тоже было такое намерение, но, помня наказ отца, что я остался за старшего мужчину в семье, понимая ответственность за мать, я не решился. И все же оказался на Востоке, хотя и против своей воли. Нас привезли во Вроцлав, в рабочий лагерь и поселили в бараках. Со мной вместе был Хаим, так и не состоявшийся муж моей сестры Ривы. Это был мой счастливый джек-пот, этот Хаим. Он был старше меня на семь лет, и я привязался к нему всем сердцем и тянулся, как нитка за иголкой, и, возможно, если бы с нами был мой младший брат Мойша, он имел бы шансы спастись. Но его как раз мать отправила на пару дней в село выменять продукты и мы не смогли с ним проститься. Хаим не только был старше. Он был мудр какой-то глубинной еврейской мудростью, и он неизменно сохранял ко мне человеческое братское отношение в обстоятельствах, где ничего уже человеческого не было, ничего, один звериный инстинкт выжить. Выжить, когда смерть была таким легким выходом, как свежее дуновение ветра. Да, во Вроцлаве был трудовой лагерь.

Мы жили в бараках и спали на нарах. Лагерь был обнесен проволокой, но не было ни сторожевых вышек, ни собак, ни тока высокого напряжения, да и попыток побегов не было. Охрану несли обычные солдаты, не эсэсовцы. Уж мы-то потом в этом разобрались. Мы были одеты в обычную рабочую одежду и имели ежедневно завтрак и горячий обед после работы. Работа была неопишимо тяжкая. Мы строили скоростную железную дорогу в направлении на Восток. Для этого старое полотно заменялось новым. Неподъемные 12-метровые рельсы мы таскали на своих не окрепших плечах. Очень много было подростков, вроде меня и еще младше. Трудиться надо было не за страх, а за совесть. Это было вопросом жизни и смерти. Если кого-то заподозрят в отлынивании, он обречен и через некоторое время просто исчезал. Мы знали, что таких увозили и вовсе не на курорт. При такой тяжелой работе скудной обезжиренной пищи совершенно не хватало. Мы были хронически голодными и постоянно охотились за куском хлеба. Но нам разрешалось переписываться с родственниками и получать посылки. Посылки и были тем живым источником, из которого мы кое-как поддерживали наши убывающие силы. Мать помогала мне, как могла. Можно было кусочек мармелада поменять на приличный довесок хлеба. Это было спасением. Как-то она прислала продовольственные карточки, которые были в ходу за пределом лагеря. Мы как раз тянули ветку рядом с городом, и можно было попросить кого-нибудь купить на эти карточки хлеб. Но я решил сделать все сам. Разузнать, где находится ближайшая пекарня не составляло труда. Перемещаться по городу нам было категорически запрещено. Проезжие дороги контролировались немецкими патрулями, прилегающие улочки были не менее опасны. Поляки не укрывали евреев, это считалось государственным преступлением, они не хотели рисковать, и столкновение с ними не сулило ничего хорошего. Но вдоль железной дороги, на которой мы работали — об этом свидетельствовал специальный знак, прикрепленный к робе, — я мог передвигаться относительно свободно. Мы посвятили в нашу задумку бригадира, ответственного за наш участок работы, обещав взять его в долю

и с его ведома я смог выкроить время, чтобы незаметно отлучиться. Открыв дверь пекарни и низко наклонив голову, чтобы единственный находящийся внутри продавец не смог рассмотреть меня, я протянул ему карточки. Однако, он тоже наклонил голову и заглянул снизу мне в глаза.

— Ты еврей, я вижу — сказал он, — наверное из этого трудового лагеря, откуда у тебя карточки, а ?

Он смотрел на меня выжидательно, а я молчал ни жив ни мертв. Я знал, что со мной будет, если он выдаст меня гестапо.

Но он покачал головой и произнес

— Ладно, не бойся. Я тебя не выдам. Я такой же подневольный, как и ты, я немец из Латвии. Мою страну оккупировали, а меня заставляют работать здесь, черт бы их побрал. Мы можем сделать с тобой маленький бизнес. Ты, я вижу парень не промах. Я заядлый курильщик, а табак мне взять нигде. Ты будешь носить мне табак, а я буду давать тебе хлеб по твоим карточкам.

За пачку табака или сигарет он давал мне две буханки хлеба. А в лагере я выменивал за буханку целую пачку табака. Так что оставался с прибылью, и мы с Хаимом и с бригадиром имели на этом приварок, позволявший нам выдерживать чудовищный темп каторжного труда. Я проторил эту дорожку и уже почти привык, и расслабился, и однажды на меня набежала шайка из гитлер-югенд, человек шесть-семь. Так же, как тот человек из булочной, они моментально расшифровали меня и поволокли в гестапо. Но это не были воины вермахта или СС. Это были волчата, а я за несколько месяцев тяжелого труда окреп и возмужал. Так что я легко вырвался от них и убежал, петляя по переулкам, и забежал в большое пятиэтажное здание, и влетел на самый верх, залез на чердак, и запер за собой люк. За самой дальней стрехой я быстро спрятал доказательства моего преступления — выменянный хлеб и карточки, тщательно завернув и прикрыв кусками толя — я не должен был подводить ни моих подельников, ни нашего рискованного кураку-контрабандиста — последствия для всех были бы ужасны, и выскочил через другую лестницу. Они ждали меня внизу в подъезде — двое из них, но они мне не

показались очень убедительными. Одному я с ходу расквасил нос до крови, а второй в страхе отступил. Путь был свободен, и я пустился наутек, через дворы, перелезая через заборы с одного двора на другой. Эти злобные сопляки потеряли мой след. Неожиданно я оказался прямо за воротами полиции. Там толпились какие-то люди, в том числе кое-кто в черной одежде, такой же, как и у меня. У меня появился шанс, и я им воспользовался. Весь сжавшись изнутри, я с независимым видом прошел прямо сквозь толпу и вышел на улицу.

Я знал, что отсюда было рукой подать до железной дороги. Никто меня не остановил и я без дальнейших приключений добрался до своей тюрьмы. Хаим долго меня отчитывал и взял слово, что я больше не буду этим заниматься. Но голод был сильнее любого здравомыслия. Мысль об оставшемся хлебе и карточках не давала мне покоя. И через пару недель я не удержался. Я нашел тот дом и снова забрался на чердак. Хлеб сильно заплесневел, но для нас он был вкуснее, чем любые пирожные. Еще неделей позже, не без больших сомнений, я выбрался из лагеря, залез в товарный вагон и приехал туда же, где я встречался в булочной с моим партнером в надежде опять запустить хлебный конвейер. Но сунув руку в карман, я не обнаружил карточек, видно, потерял их по дороге. Это был знак судьбы. В третий раз испытывать ее я не решился. Немцы очень торопились с этим участком пути. Началась Восточная компания. К нам приставили свирепых надсмотрщиков, которые стали подгонять нас, как скот, хлыстом и прикладом. Мы таскали шпалы, рельсы, возили тачками гравий. Пот катил градом. Через час-полтора такого труда руки и ноги наливались чугуном, под ложечкой непрерывно сосало, хотелось пить, но они ставили один небольшой бачок с водой на всех. Однажды измученный сверх всякого предела, на выкрик нашего надсмотрщика «Ленивые жидовские свиньи!» я обессиленно пробормотал: «Легче сдохнуть...»

Но злодей услышал. Он схватил меня за плечо и выкинул за борт машины, куда мы уже погрузились, чтобы ехать к себе в барак. Потом он схватил лопату, выбил из нее черенок и стал охаживать меня палкой по чему ни попадя, выкрикивая сквозь летящие слюни:

— Этот жидовский выродок еще смеет огрызаться! Я тебя научу держать пасть закрытой!

Он лупил меня и пинал сапогами под ребра, пока не запыхался. Он сломал мне нос, который с тех пор был свернут на бок, как у боксера и придавал мне свирепый вид. Утром я не смог подняться с нар, все тело было как сплошной синяк. Но урод не забыл про меня. Он сбросил меня с нар пинками, выкрикивая со злобой:

— Ты не больной, ты грязный жидовский лентяй, я выблю из тебя привычку лениться!

Я едва держался на ногах, и мне не у кого было получить элементарную помощь в этом вертепе зла. Нас не убивали сразу. Нас медленно изгоняли из жизни. Этот «рабочий лагерь» был даже не тюрьмой. Это был лагерь рабов в центре Европы в середине 20-го просвещенного века. Нам дарили жизнь, пока мы тяжело работали и ничего взамен, ни достаточной еды, ни медицинской помощи. Впрочем, был некто, кого мы называли между собой «санитар» У него не было никаких инструментов и никаких лекарств. Он мог наложить простую «шину» на перелом или вскрыть фурункул — явление очень распространенное при тех обстоятельствах. Один раз у меня нагноился палец, он обычным ножом сделал надрез, выдавил гной, промыл водой и обмотал какой-то тряпкой. И это все. Шрам сохранился до сих пор. Освобождения от работы он давать не имел права. Осенью 1941 года перестали приходить письма и посылки из дома. Мы не знали, что и думать. Но в один из дней, самый печальный в моей жизни, к нам подошел человек, наш знакомый из Зборова.. Он рассказал, что там случилось. С началом войны с Россией в город начали прибывать евреи целыми толпами, согнанные из всех близлежащих районов. А на второй день Йом-Кипура их начали грузить на машины и отвозить в сторону Кажимежа, в лес. Машины возвращались пустыми. Этот человек был в одной из них и соскочил на ходу и скрылся в лесу под автоматными очередями. А потом пробрался во Вроцлав и затерялся здесь в лагере. И мою мать, и сестру, и брата увезли в лес, и больше их ни-

кто не видел. И все родные Хаима, оставшиеся в Зборове, уехали тем же путем. И слышал наш знакомый от других знакомых, что их всех убили.

Теперь мы знаем, что это была только одна из многих акций, проведенная на территории Польши. Там, в общей могиле в Кажимиже зарыто несколько десятков тысяч моих единоплеменников.

«Не мсти и не храни злобы» сказано в книге Левит, ... «Ибо всякий убивший человека, убийца он и должен быть казнен».

И не осталось у меня на земле ничего, пусто стало, и обратился я к небу со словами, которые знал:

Разве не сказал Всевышний устами пророков
«Имя мое милосердие»,
И возопит безумный в сердце своем:
«Нет Бога, нет делающего добра, нет охранителя!»
И вот все уклоняются, и нет делающего добра, нет ни одного
И насмеются над ущербным, верящим, что Господь—надежда его
И похваляются мышцей своей,
И мощной своей и неверием своим,
И слышны лишь плач, да хруст костей,
Да чавканье плотоядное, как в лесу диком,
И некому отвратить от зла, ибо зло, как болезнь,
И нет ему врачевателя.

И упал я духом. И сказал мне Хаим: «Зачем нам жить. Нет больше у меня привязанности на земле. Одно только желание, дожить до победы, увидеть, как они будут повержены, увидеть страх на лицах убийц».

Я от кого-то слышал: «Большая беда убивает малую».

У меня было две больших беды, как две черных дыры, заполонивших весь мир. Хаим выразил наше к нему отношение: «Ненависть может быть таким же кристально чистым и светлым чувством, как любовь». Это совсем не еврейское мстительное ожидание освобождения и уверенность в его неизбежности тонкой, как паутинка ниткой привязывало нас к жизни, заставляло каждый день вставать, выдавливать из себя последние соки изнурительным трудом, вообще держать

открытыми глаза. Другой могучей силой был голод. Так прошло две зимы. В 1942-м нас перекинули в рабочий лагерь Андреево, около Лодзи. Работа была та же самая, мы уже были специалистами, тянули скоростную железную ветку в обход города, в направлении на Восток. Немцы уже сильно нервничали. Это ощущалось во всем. Условия в лагере были несравненно хуже. Народу было много, из самых разных районов Польши, в бараках большая скученность, кормили совсем скудно. Хлеб и пустая без единой жиринки баланда, иногда волокнистые следы мясных отходов. Режим предельно жесткий. За любую провинность: напился без спроса, закурил, раздобыл кусок хлеба из пекарни за пределами лагеря, утаил обручальное колечко, а часто и без причины, наказывали с садистским сладострастием и могли заморозить или засечь до смерти. Здесь уже были и вышки, и сторожевые собаки. С населением мы не знали. Связь наша с внешним миром прервалась, время остановилось, включился конвейер знаменитого немецкого педантизма: краткий, как обморок сон, вожделенный кусок хлеба на завтрак, который одновременно хочется растянуть по крошкам и пропихнуть сразу целиком сквозь кровоточащие десны. Такая же обморочная, доходящая до самой последней трепещущей жилки работа, когда каждый миг, как вопрос: «быть или не быть». А вечером пустая баланда и падение в сон, из которого никогда не знаешь, будет ли пробуждение. И так день за днем. И голод, голод, голод... Он высасывал из нас все, припасенное временем. Мы медленно, но неуклонно превращались в ходячие скелеты, заряженные одной мыслью — раздобыть пищу, любой ценой. Смерть перестала быть явлением исключительным. Мы привыкли к ней, как к повседневности. Еще через год мы попали, очевидно, в категорию отработанного сырья, и в 1943-м нас в скотских вагонах, тех, кто еще мог двигаться, доставили в Освенцим. Везли нас два дня, закрытых наглухо, без воды и без пищи. Добрая треть по дороге умерли, их выгружали и складывали штабелями. А живые попали сразу на селекцию. Ею руководил сам Менгеле. Я видел его, этого «врача» в эсэсовском мундире, высокого, respectable, безукоризненно выглаженного,

с моноклем в глазу и с тонким хлыстом в руке, которым он размахивал, как регулировщик перед входом в царство мертвых. Какая-никакая, а своя почта у заключенных существовала, сорока на крыльях носила. Мы не очень-то и рассматривали его, нельзя было. Любой неосторожный взгляд, любопытство, любой признак раздавленного и изувеченного достоинства мог стать последней каплей. Как и многое другое, связанное с играми в «сверхчеловеков», это была фикция, нереальность, мираж. Дорога для всех была одна — в крематорий или в общую могильную яму, в мертвецкий овраг. Только одним сразу, а другим попозже. И, самое главное, мы об этом уже знали.

Говорят, этого «регулировщика» так и не поймали. Говорят, что дожил он до глубокой старости. Говорят, что он так и не раскаялся. Говорят...

Есть преступления, которые лежат за пределами доступного человеческому воображению, просто за пределами того, что может быть оценено или сравнено. Человеческий суд, даже самый высокий здесь бессилён, он может лишь принизить, приземлить невероятный масштаб содеянного. Это область высшего суда, Божественного, за такую вину несут расплату поколения из одного в другое, не пресекаясь, до скончания времен. Бог наказал Каина тем, что сделал его бессмертным. Бессмертным изгоем.

Здесь нас впервые разлучили с Хаимом — одного направо, другого налево. Но я упорно держался линии — быть там, где Хаим. И, оббежав Менгеле по дуге, пристроился рядом со своим старшим другом, не зная, что означает этот выбор. Как оказалось, он означал жизнь, потому что нас направили в рабочую зону Освенцима, а пока в карантин в Биркенау. Видно, я показался Менгеле совсем уж доходягой. Теперь наши имена поменяли на лагерные номера, которые несмыслаемо нанесли на руку с внутренней стороны. Мой номер стал 144768.

Чтобы в дальнейшем быть рядом, Хаим назвался по фамилии его матери — Янкелевич, чтобы в случае чего, спрашивали с него, он был мастер выкручиваться. Теперь наши фамилии в списке оказались рядом. И наши места на нарах, привязанные к номерам, тоже. Нас поместили в карантинных ба-

раках Биркенау, на берегу реки. Передо мной фотография, сделанная мной самим в 1976-м. Теперь там музей. Вот они, однообразные, приземистые здания, похожие на заводские корпуса, обнесенные одним рядом колючей проволоки — вид от ворот, в которые мы вошли, и, слава Богу, откуда через несколько недель вышли. Кормили нас раз в день, выдавая кусок, тяжелого, вязкого, как глина, хлеба. Почти все были, так или иначе, больны. Но немцы панически боялись инфекционной заразы. Поэтому брили нас наголо и регулярно прожаривали одежду, полосатую лагерную робу. Во время прожарки — дезинфекции всех в голом виде держали на плацу. Зачастую, единственным прикрытием наготы служили падающие с неба хлопья снега. Многие тут же падали замертво, наши тощие, почти бесплотные тела не выдерживали переохлаждения. Капо крючьями вытаскивали трупы, сваливали их на тачки и отвозили в крематорий.

Эти капо были нашим проклятьем. Их набирали из евреев-уголовников со всех стран Европы. Мы называли их «канадцами», почему-то среди польских евреев существовало убеждение, что Канада — это какая-то чудесная, очень богатая страна. Капо не только наводили «порядок» в бараках кулаками, бранью, уголовным террором, они исполняли роль могильщиков, провожая тех, кто отмучился в последний скорбный путь на тачках или в вагонетках навалом в последних дружеских объятьях. Они участвовали еще в сортировке багажа прибывающего в транспортах для уничтожения. О! Там много чего было в этих чемоданах, поспешно собранных для «переселения» в воображаемую еврейскую страну. Кое-что «канадцы» отрывали для себя от Рейха, что было крайне опасно, но это были уголовники, они занимались подобным ремеслом всю жизнь. Здесь они просто «крысятничали», утаивая часть награбленного от соратников по ремеслу, одетых в черные эсэсовские мундиры. У них водилось золотишко, а, значит, какая-никакая пища и курево и шнапс. На золото всегда находились охотники из обслуги, обиженные при дележке. Заканчивали эти капо, как и все остальные — в крематории. Их долго не держали — немцам не нужны были

свидетели. На их место поступала другая шпана из тюрем. Соседство крематория ощущалось постоянно. Он был недалеко, в полукилометре. Ночью из бараков можно было видеть языки пламени, выхлестывающие из труб. Запах горелых костей и мяса доносился очень ощутимо. Он перебивал гнилостный запах отбросов и общей уборной с вырезанными дырками над выгребной ямой. Днем над крематорием клубилось серое облако. Я уже знал, что это не предвестник дождя или снега, а зола, все, что осталось от моих вчерашних товарищей по несчастью, от моих соплеменников, от моего народа, пережившего столько земных владык, пережившего несколько цивилизаций...

И стал мой народ текучим, как вода, заполняющая сосуды,
И нет в нем силы камня, разбивающего кувшин.
Не сказано ли «Блажен народ, у которого есть Бог»,
Отчего замкнулись уста пророков наших, изрекавших мудрое,
Отчего неслышно их голоса?
Не оттого ли пали мы, что озаботились низким.
Кому назначено быть пастырями у народов земли,
Не пристало быть приживальщиками у недругов своих.

После месяца карантина и страшного соседства с конвейером смерти, нас, как обычно, в скотских вагонах доставили в рабочий лагерь в Явожно, на угольные шахты. Работа означала жизнь, она велась в три смены, по 10 часов. Мне сейчас не понятно, как мы это делали, как мы вообще передвигались. На работе могли дать кусок хлеба или суп. Работали без выходных. На ногах у нас были деревянные колодки, из одежды — лагерная полосатая роба. Шахта была недалеко от лагеря — километра два, мы ходили туда пешком. Врубовыми машинами управляли местные шахтеры. Мы грузили уголь на вагонетки лопатой и вывозили его — в сырости, в промозглой темноте, в угольной пыли. Шахтеры брали с собой горячую еду и, бывало, делились со своими похожими на привидения невольными напарниками. В нас уже мало оставалось человеческого. Мы превратились в скелеты. Я слышал о случаях каннибализма.

Мы забыли, что мы Люди, из нас выбили эту блажь, но мы никогда не забывали, что мы евреи. Мы не забывали прочесть субботнюю молитву, и пусть символически, но как-то отмечали еврейские праздники. Это легче стало делать, когда стало ясно, что немцы проигрывают войну. Как-то на Йом-Кипур я даже оставил свой жидкий суп, спрятав его в соломенной подстилке на нарах, чтобы съесть его после восхода звезды. Но кто-то менее щепетильный то ли унюхал его своим обострившимся от голода нюхом, то ли подслушал наш разговор с Хаимом и оставил меня без обеда.

Я с детства любил вязать веники из терновника. Я занимался этим и здесь, в Явожно, когда было время. Как-то в качестве «поощрения» меня отправили убирать казарму, где жили немецкие солдаты. Я набил полные карманы остатками еды, какой мы не видели несколько лет, и мы устроили с Хаимом маленький праздник.

Мы чувствовали, что приближается конец, но наши тюремщики вовсе не задумывались о том, что грядет час расплаты. Напротив, получая все более плохие вести с фронта, они свирепели и вымещали на нас свои неудачи. В конце зимы, когда русские начали стремительно двигаться в нашу сторону, нас подняли ночью и, сбив в колонну около 2000 человек, погнали на Запад. Как оказалось позднее — в Бухенвальд. Мы шли ночами несколько суток до Гросс Розен. Мы назвали этот поход Маршем смерти. Был конец января, холод. На нас ничего не было одето, кроме полосатой робы и деревянных колодок. Многие после коротких привалов не могли подняться. Их пристреливали на месте. Иногда мы останавливались и дневали на фермах. Шли по большей части ночами по заснеженным пустынным полям. Кормежки почти никакой не было. Иногда что-то добывали из овощей. Однажды набросились на корыта с остатками картошки для свиней и очистили их в несколько минут, набив на короткое время животы. В Гросс Розен нас погрузили на открытые платформы и повезли в метельную ночь. Нас привезли в Веймар, сгрузили оставшихся в живых и отсюда мы продолжили свой скорбный марш в Бухенвальд.

По пути мой бывший учитель иврита Литман не стал подниматься из воронки, в которой мы сидели на коротком привале и заявил: «Все, с меня хватит...». Подошедший охранник на наших глазах пристрелил его.

Было большое желание уйти тем же путем. Но Хаим сказал: «Мы должны дождаться их полного провала, мы должны хоть один день пожить свободными». До Бухенвальда добралась едва ли половина из колонны, вышедшей из рабочего лагеря в Явожно. Но если карантинный лагерь в Биркенау показался нам адом, то Бухенвальд был ад в аду. Сюда непрерывно прибывали группы лагерников, и отсюда все время людей куда-то увозили на грузовиках. Мы полагали, что их где-то расстреливали. Особенно большие группы людей начали вывозить с начала апреля. За десять дней из лагеря вывезли по нашим прикидкам десятки тысяч человек, так что при освобождении американцами 11 апреля в лагере осталась 21 тысяча из семидесяти с лишним, бывших к концу января. Эту вакханалию уничтожения несколько затормозило восстание в русской зоне, случившееся на середине этой жуткой десятидневки.

Здесь не только расстреливали. Многие сами умирали от полного истощения, от холода, фашисты еще проводили какие-то эксперименты, которые непременно заканчивались мучительной смертью. Они спешили, эти фашистские выродки, спешили так, как будто для них не было дела важнее этого. Это было какое-то грандиозное, языческое жертвоприношение. Я читал, что у германцев был когда-то в древности свирепый бог Один. Может быть, ему?

Я выжил чудом. Три раза я попадал в облаву для заполнения этих грузовиков смерти. Как-то я увидел, что солдаты гонят из нашего помещения людей прикладами на улицу, где уже стояли несколько машин. Я понял, что надо бежать. Мы находились в складском здании, на втором этаже. Я заметил сверху узкое окошечко и, кое-как подтянувшись, буквально вывалился наружу только потому, что уже стал почти бестелесным духом.

Другой раз эсэсовец стянул меня с нар, где я лежал с температурой. Я сказал, что болен, но он произнес привычную

фразу, сопровождавшую нас постоянно, в течение последних шести лет: «Ты не больной, ты ленивый жиденок» и дал мне такого пинка, что я вылетел за дверь и скатился по лестнице, попав прямо в кучу вынесенных и сложенных перед крыльцом трупов. Я, как червяк, ввинтился в груды мертвых тел и застыл неподвижно. Солдат выскочил за мной, поозирался, но не заметил меня и занялся другими, ибо материала было предостаточно.

В третий раз фортуне надоело со мной шутить и меня захихали таки в кузов. Машина встала перед воротами, и сопровождающий офицер прошел на КПП показать документы. С отчетностью у них было строго. Он был уверен, что доходяги ничего предпринимать не станут. Но я заметил метлу, прислоненную к воротам, выскользнул из кузова и стал делать вид, что сосредоточенно подметаю территорию. Мы все были одеты одинаково и выглядели неотличимо. Моя фигура не привлекла внимания, и машина уехала, как я полагал, на тот свет без меня.

Часть 4. ИСХОД

Освобождение неожиданно явилось для нас потрясением, которого многие не выдержали. Хаим умер на 19-й день. И это был второй самый скорбный день в моей жизни. Я в это время тоже доходил в дизентерийной палате и едва выжил. Американцы принялись наперебой кормить нас тушенкой, шоколадом, жирным, наваристым супом. Это было хуже голода. Мы знали, что этого нельзя делать, но устоять было невозможно. Месяца два меня таскали по госпиталям, приводя в более-менее нормальный вид. Потом я оказался в лагере перемещенных лиц. Там я передал часовому письмо для моих родственников в Швеции. Оттуда я несколько раз возвращался в Бухенвальд. Американцы с удивлением смотрели на паренька, упорно возвращавшегося в место, где его с таким упорством сживали со свету. А я никак не мог смириться с тем, что Хаима нет в живых, что он здесь лежит в общей могиле. Почему он?

И приходят разрушающие, когда время строить,
И приходят строящие, когда время разрушать,
И разрушают строящие, и строят разрушающие,
И великое зло от этого идет по всей земле,
И многие говорят «Кто покажет нам благо?»
И приходят лживые, и восклицают громко: «Я знаю!»
И закрыты уши у внимающих голосу сердца своего.
И Бог не говорит более устами Пророков.

Через 21 год я еще раз приехал в Бухенвальд и прочел Кадиш по Хаиму.

Между тем пришел вызов от родственников, и я переехал в Швецию. Там мне первым делом организовали встречу с хирургом, который восстановил мне переломанный нос. Я ждал корабля в Австралию, но постоянного сообщения еще не было. Первый же пароход, который отправился в Сидней из Марселя, нес меня на борту в качестве пассажира. Это был коммерческий рейс с заходом в Южную Америку. Он вез туда овец и коров для поселенцев. Рейс был на редкость трудный, многонедельный. Заболевших и ослабевших животных забивали на борту, а их мясо скармливали немногочисленным пассажирам. Бедных животных было очень жаль. С тех пор я не могу ни есть говяжьего мяса, ни выносить его запах, ни пить красного вина. Там, на этом коммерческом судне я вспоминал единственное дельце, которое хотел обтять после войны. Во время Марша смерти я подобрал золотое колечко и думал, сколько с его помощью приятных вещей смогу сделать, когда освобожусь. В Бухенвальде по прибытии я попал на тотальный досмотр. Нас раздели догола и начали заглядывать во все отверстия. Кольцо я держал во рту, под языком. Но как раз это вместилище они проверяли особенно тщательно. Сообразив, что мне его так не сохранить, да еще и можно круто влететь вплоть до карцера или расстрела, я подхватил кусок мыла с инициалами RIF (Rein Iden Fet), т.е. сделанного из еврейского человеческого жира и держал его, нарочито зажимая в руке.

— Что ты там прячешь, придурок? — спросил эсэсовец.

Я разжал ладонь, он рассмеялся и вытолкнул меня наружу.

Но через несколько дней после освобождения, уже ни о чем не беспокоясь, в душе я положил кольцо на полочку, когда намыливал голову, но когда раскрыл глаза, полка была пуста.

В Сиднее меня встречал отец. Встреча наша была и грустной и радостной одновременно. Я был единственный, кто выжил. Из всех, кто остался.

Отец к тому времени уже владел фабрикой, на которой работало 130 человек.

Будущее мое было обеспечено. Отец отправил меня на курсы английского языка, а через некоторое время я впрягся в работу на фабрике в качестве одного из администраторов, как и мои братья и соединил свою жизнь с молодой женщиной, выжившей в Варшавском гетто. Ее мать стала спутницей моего отца до конца его дней.

Я не получил широкого образования, но я привычен с детства к чтению и в 6 лет уже разбирал сложную, но лишенную всякой академичности, живую диалектику Талмуда. У меня в шкафу две полки книг, посвященных Холокосту.

Я читал высказывание генерала Паттона, чьи солдаты освобождали Бухенвальд. Он называл нас, евреев-перемещенцев, оказавшихся под его юрисдикцией «...недочеловеческим видом, абсолютно без культурных и социальных черт, присущих нашему времени». Нормальные люди по его словам «не могли бы опуститься до такого уровня деградации, которого эти достигли всего за четыре года». Пусть это будет на совести многозвездного генерала. Интересно, как он повел бы себя, в схожих обстоятельствах, без погон, без прав, без пищи и практически без крова и огня. Генерал — человек, конечно, сильный и мужественный, и физически, и нравственно. Но там, где я не по своей воле провел свою молодость, именно такие люди ломались и погибали первыми. После войны многие обратили на это внимание.

Прошло более 60 лет. У меня все благополучно, устроенные дети — две дочери и сын, успешные внуки, которыми можно гордиться. Но мне трудно жить. Я не посвящаю их в свои мысли. Мне не хотелось бы, чтобы они жили с моим прошлым. Это бездна.

Люди чрезмерно ревнивы к чужому успеху. Они всегда воевали между собой, от самого начала и убивали и оплакивали своих убитых и продолжали жить.

Но здесь что-то другое. В своем маниакальном стремлении унижить нас сверх всякой меры наши гонители совершенно потеряли человеческий облик, перешли какую-то черту, вырыли яму, мертвецкий овраг, в который едва не рухнул весь мир. Опускание было взаимным. Мы оказались едины и связаны неразрывно.

Как это ни странно, но после войны я не испытывал никакого мстительного чувства к немцам, а лишь досаду от того, как они низко падали, пресмыкаясь перед союзниками, эти люди, с таким высокомерием попиравшие в течение всех 12 лет существования гитлеровского режима наше достоинство.

Гитлер проиграл везде, на всех фронтах. Холокост превратил в Нюрнберге недавнего идола пивнушек и светских салонов в самого ненавистного преступника всех времен и народов. История вынесла свой вердикт.

Я люблю сидеть на берегу моря и наблюдать за чайками. Это удивительно красивые и собранные птицы. Как грациозна она в воде с гордо поднятой, почти лебединой шеей и как они прекрасны, когда раскинув в полете свои стреловидные, острые, как у скоростного самолета крылья морского хищника, стремительно проносятся над морем. Это парящее совершенство, исключительно целесообразное, подогнанное в каждом своем элементе. Зигзаг их крыл естественно вписывается в пейзаж, как белый парус над синей волной.

Наши чайки избалованы, близость людей испортила их характер, охотник превратился в нахлебника и попрошайку. На берегу чайки с их тонкими, как будто приставленными ножками и втянутой, нахохленной головкой выглядят нелепо и сварливость их отталкивающая. В них нет ни галантности петуха, ни симпатичной задиристости воробья, ни вечного любовного томления голубя, ни гордой царской осанки вороны, зато проглядывает что-то хамовитое от грубой базарной торговли, привыкшей голосом навязать свой последний аргумент.

Так и люди. Они прекрасны в душевном полете, но много теряют на «суше», в передрыгах, иногда перерастающих в мировые войны.

И вот стоим мы в конце дней — Ты и Я —
Пред лицом Господа, как обещали пророки,
И нет страха и смятения, только горечь и сомнения
В том, чему поклонялись столь долго и кроваво,
И семя свое обрекали на скитания и муки,
И при коленях чужих, униженные
Продолжали служить с усердием,
И сосредоточились ненавидящие нас во всех концах:
И амаликитяне, и исмаилтяне, и эдомиты,
И народы Гога и Магога и идут несчетно,
И восклицают сладострастно: «Во имя Господа
Милостивого и Милосердного уничтожим народ сей
Жестоковыйный, уберем его с лица земли,
Нет ему места среди нас»
И нет нам защиты, кроме нас самих.
Молчит Господь, замкнуты уста его,
Нет его руки над врагами нашими,
Воспрянули они и злорадствуют, и выжидают
Сочувствующие нам, отвернувшись в страхе.

ЗАСТОЛЬНЫЕ БАЙКИ

КОШЕЛЕК, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В СОПРОВОЖДЕНИИ СКРИПАЧА

Скрипач, щипач (жаргон) — карманный вор, одна из самых уважаемых воровских профессий.

Что главное в путешествии?

Не напрягайтесь. Вы угадали.

Правильно — сохранить свой кошелек.

Вы же понимаете, я не имею в виду тех, у кого в кармане одна только, но самая впечатляющая визитная карточка — чековая книжка. Но те не ездят на метро и не скупаются сами в супермаркете. Они это делают другим способом. Это люди с другой планеты. Оставим их в покое. Богатые тоже плачут.

Так что из всех инструкций и наставлений, выданных нам друзьями, родственниками, знакомыми и знакомыми наших знакомых, самым актуальным было то, как уберечь наши скромные средства и документы во время давно взлелеянной в мечтах поездки в Восточную Европу и далее в Испанию и на Туманный Альбион.

Предлагались и потаенные карманы в потаенных местах, и стратегическое разделение оберегаемого на части, и отказ от налички и пр. и пр.

Но все-таки... все-таки оставались какие-то лазейки, через которые чрезвычайно ловкие карманники всей Европы могли оприходовать наши кровные.

Свежий пример был налицо. Нашу близкую приятельницу, даму во всех отношениях приятную, да еще с ребенком-

подростком накололи в Вене так, что пришлось срочно обращаться в Австралийское посольство (слава богу, что оно там есть), ибо вместе с деньгами у «растяпы», как с очаровательной прямоотой оценила происшествие ее простодушная мама, уцепили, стянули, сперли, спи...ли, сбондили, стырили, сдернули с лопатником (кошельком, сумочкой) вместе и бесценный наш кенгуристый паспорт и кредитные карточки и прочие мелкие, но полезные вещицы.

Озабоченный сверх меры, я стал более внимательно присматриваться к поведению граждан собственного города, который считал всегда эталоном безопасности и однажды заметил кое-что занимательное. В трамвае напротив меня ехала семья туристов из Франции (судя по разговору) — мать с дочерью лет шести и их слегка утомленный жизнью глава семьи. На мужчине была надета безрукавка цвета хаки, ощерившаяся бесчисленным количеством карманов. Она сидела на нем, как бронезилет и, видимо, и выполняла сходную роль. Мужественный бородатый галл непрерывно вертел головой во все стороны в полной готовности грудью стать на защиту семьи, а женщина двумя руками вцепилась в изящную сумочку от псевдокардена, ни на секунду не выпуская ее из виду. И только рыжеволосое дитя с чисто французской непосредственностью кокетничала и строила глазки напрополую. Надо полагать, эта семья имела в наставниках не менее подготовленных доброхотов, чем мои собственные.

Первое же знакомство с ситуацией на месте, а это случилось в Бухаресте, подтвердило все опасения. Предупреждения, развешанные на всех входах и выходах из метро, означали неизменное — берегите карманы. Обстановка не позволяла ни на секунду расслабиться. Мы поселились в гостинице в двадцати минутах ходьбы от центра и с очень приличной кухней по вполне сносным ценам. Причина такой дармовщины выяснилась очень быстро. Прямо от входа, разбившись на компании, вдоль всей улицы расположились живописные, заросшие до

бровей субъекты в пестрых рубашках, в мятых, десятой свежести пиджаках с надвинутыми на глаза шляпами — явно цыганистого вида. Они громко разговаривали, дымили, размахивали руками, пили, закусывали и опраправлялись здесь же, на тротуаре.

Портье сразу предупредил: «После 9-ти вечера старайтесь не выходить, пользуйтесь обязательно транспортом, чтобы довозил вас прямо к дверям гостиницы».

Правда, тут же флегматично успокоил: «Сильно бояться не надо, они не агрессивны, только деньги отберут и все».

Девушка Иветта с мадьярско-украинскими корнями, наш личный обзорный гид по городу за сто баксов на зеленой «Тойоте» несколько развила тему: «Эта улица примыкает к еврейскому району, где во время войны было гетто. Район славился, как самый зажиточный в городе. Здесь возводились не квартиры, а апартаменты, с мраморными лестницами, стеклянными лифтами и внутренними висячими садами. Коммунисты умышленно, именно на этой улице устроили коммуналки для венгерских низов, т.е. цыган. И все было как везде. Но пришла перестройка и приватизация и цыгане оказались вдруг владельцами самого дорогого жилья, правда несколько подтрусцебленного, но те понимают что к чему и ждут, когда все это станет еще дороже и никуда не собираются двигаться. И по городу идет глухое ворчание. А обстановка и без того не спокойная. Все жалеют о сгнувшем социализме».

Когда я во время обзорной прогулки вышел из машины около очередной достопримечательности, оставив на заднем сиденье «Тойоты» сумку от камеры, девушка Иветта безапелляционно предупредила — этого делать ни в коем случае нельзя, за разбитое стекло и прочие неприятности платят туристы, не нужно провоцировать ограбление.

В тот же вечер мы несколько подзадержались, полагая, что всякие страхи обычно преувеличены, но метрах в ста от гостиницы нам навстречу вышли два типа довольно воинственного вида. Один шагнул в мою сторону и что-то произнес

без присутствия каких-либо вопросительных интонаций в голосе. Я глянул на часы — было без пяти девять, время еще наше, наше, черт возьми — на всякий случай я заявил: «№...» и решительно двинулся вперед. Тип с мрачным видом отступил в сторону, что-то пробормотал и смачно сплюнул на дорогу. Путь был свободен и в дальнейшем мы старались в такие критические ситуации не попадать.

Правда, как-то в одной из забегаловок жена по ошибке заплатила уборщице за пользование туалетом двести чешских крон (около 15 долларов) вместо двухсот форинтов (сущяя мелочь), та пошла за сдачей и исчезла навсегда — тоже разновидность грабежа — формально туалеты там бесплатные (в отличие от продвинутой Западной Европы), но услуга обычно проявляют собственную настойчивую инициативу, и даже установилась некая такса.

Обычно же жена мертвой хваткой держала в руках свою сумочку (как та француженка), а я на второй день по приезде буквально за углом отрыл базарчик, где и присмотрел у заезжей негоциантки из Монголии безрукавку с множеством внутренних потайных карманов с застежками, что оказалось весьма и весьма уместно.

В Вене на Праттере я вспомнил, что это именно то место, где когда-то промышляли самые знаменитые карманники Европы, и старался держаться подальше от любого скопления людей и, наверное, поэтому мы забрались на знаменитое Венское колесо обозрения. Но ничего интересного оттуда не увидели. Все течет, все меняется, и Праттер уже не лучший Парк отдыха для публики на континенте. Зато в Вене, в номере я стал пользоваться встроенным сейфом — очень удобно. Но это, если техника работает по евростандартам. Обнаружив такую же штуку в пражском «Акценте», я не задумываясь взял ее на вооружение и был тут же наказан. Я как-то подзабыл, что советское — значит лучшее, то есть никакое. Погрузив в сейф документы и билеты, мы с легким сердцем отправились снимать вечерние виды с воздушным шаром с Карлова Моста.

Но, вернувшись в номер, обнаружили, что сейф не открывается. Администраторша, очень бойкая на язык, с прекрасным английским нас успокоила, обещав, что в восемь нуль-нуль утра кровь с носу появится специалист и в пять минут решит нашу проблему. «Специалист» — девчонка лет 18-ти с каким-то странным аппаратом, похожим на те, что лет двадцать назад нам показывали в боевиках в сценах взламывания кодовых замков, появилась около 11, воткнула в разъем кабель, надела наушники и стала колдовать — слегка матерясь про себя на чешском, ибо никаких других языков она не знала.

Через некоторое время в ее аппарате что-то щелкнуло и загорелись цифры, она знаками объяснила, что это включился штрафной таймер на полчаса, после чего исчезла. Возилась она с сейфом часов пять, то появляясь, то вновь исчезая, когда включался злополучный таймер. Жена в конце концов устроила разнос администратору, заявив, что неисправный сейф полностью на ответственности гостиницы (на следующий день мы должны были вылетать в Барселону) и пригрозила обратиться к консулу. Бойкая полиглотка оторвала свою очаровательную попку от стула и, громыхнув на незадачливую помощницу, проследовала в номер, опережая всех на три корпуса и через пять минут сейф как миленький раскрылся, оставив нас в глубочайшем недоумении — что же это все значило.

В Барселоне в метро мы отбили уже откровенную атаку криминала. Прижатый к дверям в переполненном вагоне, я вдруг почувствовал, как легкая рука несколько раз скользнула по моей спине. Я с удивлением огляделся по сторонам. Рядом, спиной к той же двери стояла молодая испанка (каталонка, цыганка?), ничем не отличимая от прочих — приземистая с несколько тяжеловатой нижней частью, с безмятежным, незамутненным взором честных глаз. Я несколько потеснился, чтобы держать ее под контролем, но через некоторое время опять почувствовал сзади легкое, почти неощутимое прикосновение. Но я уже был настороже. Тут вагон встал

и несколько минут никуда не двигался. Потом объявили, что возникла проблема и нужно пересаживаться. Я успел предупредить жену, что здесь не чисто, потому что на эскалаторе во время длинного перехода вдруг различил движение руки у меня под несколько нависающим кендюхом, мгновенное, как молния, движение руки с необычайно длинными, тонкими пальцами и рядом обнаружил другую женщину, худощавую, с иссиня-черными глазами амазонки. А через некоторое время я уже распознал всю четверку. Их было три женщины и парень, лет тридцати, слегка приבלатненного вида, он умышленно растопыривал локти, придерживая и преграждая мне выход из вагона, чем и раскрылся. В вагоне уже на другой линии после длинного, длинного перехода диспозиция оказалась точно такой же. Рядом стояла моя «испанка» и опять шарила по мне, пытаюсь среди многочисленных, укрытых внутри карманов отыскать тот, где по моему мнению завелись вожделенные зеленые попугайчики. Но теперь я уже откровенно наблюдал их манипуляции и перемещения и это мое знание они угадали. Последовал знак вожака, и они отлипли от нас тотчас же. Через минуту я их уже нигде не видел. На этот раз пронесло. Поистине, Барселона фантастический город.

Говорят, что Лондон в этом смысле тоже не подарок. Достаточно вспомнить Оливера Твиста. Но нам здесь заботиться о сохранности добра вовсе не было необходимости. Ибо мы ничего с собой ценного не таскали. В гостинице ежедневно подавали с утра поджаренный бекон с яичницей, а днем принимающая сторона с помощью (гипотетической) русского культурного центра устраивала полуденный и вечерний фуршет. Так что мы неожиданно оказались на полном пансионе, ездили по недельной транспортной карточке и отпускались по полной. Так что обошлось без криминала.

Обокрали меня позже. Через месяц после возвращения, на Виктория-Маркете, в рыбном ряду. Я достал банкноту и, опустив кошелек в задний карман брюк, протянул ее продав-

цу. В ту же секунду я каким-то шестым чувством вдруг почувствовал дискомфорт. Интуитивно рука рванулась к карману, но он был пуст, пуст, пуст...

О, благодатный край, где все устроено для удобства граждан, полноправных и равноправных, даже момент отъема чужой собственности. Все предусмотрено. Звонок в банк, перекрывающий доступ к твоим счетам, бумажка из полиции, заменяющая тебе водительские права на время отсутствия «лиценса» и никакой волокиты, ну разве только досада на то, что ты не крутой парень из женской мечты, а нормальный, обыкновенный лох.

ФЕТИШ

Нет, ну надо же такому случиться. Какая досада. Конечно, 500 долларов не такие уж большие деньги. Недельку-другую подсуетиться, всего и делов-то. Но все же...

Ах, как не приятно. Куда я могла его деть? Наверное, положила на скамейку, когда перекладывала документы. Такой был удобный кошелечек, черт побери.

Плоский и длинный, как я всегда хотела. И взяла-то его у китайцев за пятерку, перед самым отъездом. Нет, не надо было лезть на этот камень. Говорили же «Донт тач!» — нельзя трогать, много раз предупреждали — «сакрофайз» — святыня.

Эти дикари тысячи лет ходят к нему молиться, или что там они делают.

Там, где-то наверху, над скалой, на склоне виден был их вырезанный из дерева истукан. Какой у него был свирепый вид. Не иначе, он теперь привяжется, зараза. И эта полосатая, как тельняшка, змея, на которую я там чуть не наступила. Фу, какая гадость. Я приняла ее за цветную тряпку. Хорошо, что она во время убралась в свою нору под водой. Так и стоит перед глазами неожиданно распрямившийся, медленно втягивающийся в черную дыру полосатый хлыст.

Бр-р-р... Не иначе, это было предупреждение. Вон и губы обложило. И, ведь, только у нас, у двоих. А не нарушай табу, не будь дураком... Оно, конечно, все это предрассудки, всякие там вуду-муду, только... Но, что же делать? Хорошо, что я переложила документы и паспорт. Паспорт — главное. Представляю, что было бы. Завтра ж улетать. А тут...

Там еще есть мелочи долларов на 30. Придется занять, это в конце концов решается, или позвонить мужу, чтоб прислал. Но время, время... Что можно посмотреть в таком городе,

как Сидней за один день, да еще так дико проколовшись. Я им, наверное, очень досадила, моим приятелям. Мы строили такие планы. Вот растяпа...

Мы идем так быстро, как это возможно вчетвером от причала «Капитана Кука» по улице Святого Георгия к торговому центру, туда, где полчаса назад сидели на скамеечке, наблюдая пеструю, сиднейскую толпу, пожалуй, несколько более молодежную и демократичную, чем Мельбурнскую. Да и город весь как будто несколько более городской. Я как раз перед тем заскочила в аптеку, за кремом от загара и теперь немножко порылась в сумке, переложив паспорт и денежную мелочь, чтоб была под рукой. Кажется, что-то пришлось выложить. И тут как-то все дружно встали и пошли. И вот...

Меня пытаются успокаивать, говорят, что деньги — ерунда. Главное, здоровье. Ну и какое тут здоровье при такой нервотрепке. Их сочувствие доходит до меня, как сквозь вату.

Первый шок прошел, но отравлен уже весь день, да и все задуманное давно путешествие на 14 этажном океанском лайнере по островам Новой Каледонии с суточной остановкой в Сиднее. Все моментально отдалилось, выскочило из головы — и этот грандиозный, шикарный корабль с 2000 пассажиров и шестью сотнями темнокожей вышколенной obsługi и бесконечная жвачка и детские забавы, которыми любят развлекаться мои новые соотечественники и две «каски» с красным вином, контрабандой пронесенные на корабль в багаже, и день за днем совершенно потрясающая бирюза Океана, раскинувшегося во все концы, куда достает глаз.

Я пытаюсь отвлечься, вернуться в атмосферу беззаботной праздности и хорошо заплаченного любопытства. Это мне удастся с трудом.

Поблекла вся яркость накопленных впечатлений: те невозможной, невероятной притягательности виды лагун, усеянных богатыми яхтами в Нумие и нарочитые перформансы, устраиваемые на островах чернокожими людьми, прикидывающимися дикарями, какими и были их предки, когда туда пришла трехмачтовая каравелла Джеймса Кука. За прибрежной линией зарослей и кокосовых пальм легко можно было

обнаружить их круглые, островерхие жилища, покрытые травяными матами, как это делалось и 200 лет назад. Но теперь рядом, нередко, обнаруживались скромные домики, сложенные из бетонных блоков, потрепанные автомобили и спутниковые антенны. В парке-музее канаков в небо упираются циклопические сооружения такой же конической формы высотой в пятиэтажный дом. Это уже не для жилья — что-то вроде первобытных храмов. В таком «вигваме» круглый год одинаковая температура, они выдерживают любой ураган и могут простоять десятилетия. Дым очага, расположенного в центре струится вертикально вверх.

Богатая смолой, тропическая древесина, сгорая, возбуждает какие-то древние закоулки памяти. Прямые, сплетающиеся далеко вверху стволы, образующие каркас, изнутри выглядят, как готические колонны.

Да, не хило строили папуасские инженеры.

Объясняться с местными жителями не получалось. Туземные дамы с набедренными повязками из пальмовых листьев для экзотики или в широких запашных юбках очень характерной тропической раскраски (одну я себе даже приобрела) разговаривали исключительно по-французски, а ля провансаль. Очень мило. Трудно мне с вами. Бонжур, шерше ля фам... Что там еще...

В местной лавочке любезная продавщица уже совершенно европейского вида с очаровательной парижской непосредственностью демонстрировала, как обращаться с такой юбкой, абсолютно не озаботившись видом своего нижнего белья...

Ну, вот и наша скамейка. Конечно же, ни на ней, ни под ней никакого кошелька и близко нет. Здесь где-то ходил парень с рекламой очередной отравы. Вон он сидит на тумбе, закусывает. Рядом валяется его круглый фанерный щит, обещающий кучу удовольствий со скидкой. Нет, он ничего не видел, нет, никто не спрашивал. Я иду в соседний магазинчик с бижутерией. Вывеска перед входом предупреждает, что этот дом построен в 1891 году. Меня это уже не вдохновляет. Меня интересует мой кошелек. Но, похоже, он исчез навсегда.

Неожиданно в разговоре прорезается новая тема. Дескать, где-то, кто-то, куда-то и в результате...

У кого-то днем сперли на Виктория-Маркете кошелек, а вечером позвонили и вернули. Ну да, держи карман пошире. Эдакие Робин Гуды местного разлива.

Тем более у меня-то там никаких ни адресов, ни телефонов. Но чем черт не шутит. Все-таки 5 сотен. И расслабиться можно, и в казино заглянуть, и в тряпках пошурудить. А тут считай каждую копейку. Весь кайф коту под хвост.

Не терпящая обычно никакого давления, я послушно иду в полицию и заявляю о случившемся. Тем более, что, может быть и сперли. В той же, скажем аптеке. Я, вообще-то не уверена твердо, что его выкладывала, там, на скамейке...

Нет, в полиции меня не принимают за идиотку, а внимательно слушают и записывают. В последнюю минуту приятельница сообразила дать им номер своего «мобайла», мало ли что, я-то им сроду не пользовалась. Хватит с меня и домашнего. И так покоя не дают...

Из полицейского участка я выхожу, окончательно примирившись с потерей. Теперь, главное, как лучше использовать остаток времени. Уже слышно легкое погромыхивание моих товаров. Я все ж таки им здорово подгадила. Мы идем в гостиницу, чтобы как-то распланировать вечер. По дороге я прихватываю бутылочку, чтобы снять дикое напряжение.

Мы наскоро чаевничаем в номере, когда неожиданно раздается сигнал мобайла.

Подруга что-то слушает и смотрит на меня сумасшедшими глазами: «Похоже, они нашли и зовут нас в участок» — говорит она почему-то шепотом. Я принимаю это за розыгрыш и думаю с раздражением — нашла повод шутить. Но она серьезно и решительно собирает вещички. И тогда только до меня доходит.

Говорят среди тех, кого высадили на берег Австралии почти 200 лет назад, вместо того, чтобы вздернуть на какой-нибудь Ковент-Гарден были и мелкие воришки. Чопорные пуритане не делали большого различия, украл ты булку хлеба или взял кого-то на гоп-стоп в темном переулке.

Не знаю, какой это давало эффект в Лондоне, но, похоже, жителям Австралии изначально была сделана добротная, долговременная прививка.

Полицейский, вручая злополучный кошелек и добродушно улыбаясь, с грустью заметил, что нашедший почему-то пожелал остаться анонимом и, к его сожалению, таких людей становится все меньше. «Очевидно, под наплывом тех, кто здесь теперь громко и скандально напоминает о криминальном прошлом отцов-основателей. Им-то как раз не мешало бы помнить, откуда родом Багдадский вор» — думаю я. И с гордостью ощущаю себя маленькой частью нашей волшебной страны Оз.

Когда на следующий день я пытаюсь взахлеб рассказать эту историю приятелю, который прожил в Австралии уже тридцать лет, он продолжает невозмутимо жевать, со скукой глядя в окно на морозящий дождь. Возмущению моему нет предела:

— Ты что, оглох? Ты не слышишь, что я тебе рассказываю?

— Слышу, слышу — отвечает он голосом Румяновой.

— Ну и что? Со мной было то же самое пару лет тому. Я оставил портмоне на скамейке, в парке, и мне его тут же вежливо принесли домой.

Интересно, а я бы принесла?

ЗАКОН ИНДУКЦИИ

Дик Стоун, второй помощник капитана сухогруза «Эврика», приписанного к Панаме, заступив на вахту, спустился в трюм, чтобы проверить найтовку груза.

Ветер крепчал, и судно слегка валяло на крутой волне.

В одном из отсеков, загруженном ящиками в порту Адена более суток тому, ему послышался странный звук — то ли вздох, то ли всхлип. Это не было похоже на крысиную возню. Он насторожился, включил фонарик, и, высматривая источник, стал осторожно двигаться вдоль штабеля. Звук повторился прямо у него над ухом, и страшная догадка немедленно вызвала в воображении кучу неприятностей, замаячивших впереди. Еще не рассеялся кошмар, пережитый экипажем совсем недавно, в предыдущем рейсе на Шпицберген с группой экстремалов, охотников до жареного, когда на туриста, да еще из самых подготовленных, офицера и охотника, неожиданно с тороса набросился белый медведь, в мгновение ока разорвавший ему горло до самого позвоночника. Утробно рыкнув, зверь моментально, как привидение, растворился среди ледовых нагромождений. Сколько было потом возни, нервоотрепки и незапланированных расходов, чтобы переправить труп родственникам в Техас.

Схватив топорик с ближайшего пожарного щита, Дик несколькими ударами отодрал пару досок, чтобы удостовериться в самых своих безотрадных предположениях.

— Оппа-на!.. Нате... Здравсте...

Из сумрака ящика на него уставились слегка испуганные миндалевидные глаза. В них застыла тревога, ожидание и в то же время некая мысль, идея, даже насмешка. Устроивший здесь логово мужичок явно смотрелся последователем Магомета. Но чем-то неувелимым он выламывался из привычного

образа нищего, забитого насельника провинциального арабского бидонвиля, рвущегося любыми путями на Запад в поисках куска хлеба с куском масла.

Дикая мысль мелькнула в сознании офицера, единственного, кроме капитана белого человека на этом судне, совершающем со сменной командой случайные фрахты самого различного, иногда и сомнительного назначения — от перевозки оружия до туристических круизов в самые экзотические места, еще остающиеся на земле. Рука невольно потянулась к бедру, где уже длительное время непременно находился заряженный «Смит-Вессон». Гражданские рейсы в новом, глобализированном мире стали полны неожиданностей и крови.

Самым правильным было бы прикончить и выбросить в море этого незваного гостя, проникшего каким-то образом на борт через все пограничные и таможенные барьеры, сквозь полицейский кордон и настороженность команды, слишком дорожившей своей случайной работой, чтобы проявлять рискованный альтруизм. Но кое-что удержало помощника капитана от первого побуждения. Среди набранной команды была пара-тройка его сплоченных единомышленников, уж, верно, принявших какое-то участие в контрабанде этого живого товара, без их помощи ему сюда никак не забраться...

Нет, нет, это не возможно, как бы ни хотелось... Дело вылезет наружу и неизвестно чем кончится.

Две недели тому как раз закончился процесс над руководством французского рейдера. Не повезло храбрым морякам. Они обнаружили в контейнерах, загруженных в Алжире, целый выводок непрощенных пассажиров и, не долго думая, расстреляли у борта восемь арабов. Тех самых, что полвека тому с кровавым энтузиазмом изгнали паршивых галлов со своей земли. Но не остановились на этом, а буквально на плечах растерявшихся беглецов ворвались в их обоз, прямо в сердцевину томного, изнеженного Запада, как нож в сданные, взбитые сливки. Растеклись мутными реками, осели в самых дальних пределах, по каналам торгового

Амстердама и дальше, дальше по фиордам и островам Скандинавии в вотчине давно замиренных варягов и викингов. Расстрелом руководил старпом, бывший как раз на вахте. Участвовал еще второй помощник и пара самых надежных матросов, умевших держать рот на замке. Они потом обшарили все судно, до самых заветных закровов, но никого больше не нашли и успокоились. Были чужие люди и нет чужих людей. Так полагали. Да только затерялся, оказывается, на борту девятый. И так хитро затерялся, что только в Марселе и вынырнул из мрака. И сразу к обществу. А Марсель, дело известное, давно уже неотъемная часть исламского мира. Народ там горячий, шумный, такой фейерверк устроили, едва экипаж не разорвали. До гаагского суда чуть не дошло, мол геноцид и холокост многострадальной арабской нации. Ну и вlepили капитану и двум его помощникам по десятке. Учитывая нынешний контингент французских тюрем, вряд ли кто из них на волю живым выйдет.

Так что когда капитан «Эврики» Генрих Шварц, русский мореход, узнал, что за лишний груз обнаружился на его судне, он невольно схватился за голову. Старый морской волк, гигант шести с лишним футов роста, избородивший все моря от Арктики до Антарктики едва ли не под всеми флагами земли, включая те державы, до которых и морской воздух-то никогда не достает, чуть не взвыл от досады. Куда теперь с этим придурком деваться. Это не времена теплохода «Вера Артюхова». Нынешнюю туземную полицию на козе не объедешь и не откупишься. Ублюдка придется кормить, поставить на медицинское обслуживание, обеспечить приличным спальным местом и т.д. и т.п. Его не законопатишь в какую-нибудь трюмную конуру. Как же — мировая общественность. Эти левые сумасшедшие журналюги — им только дай повод — такой вселенский плач разведут — никуда потом не подрядишься. Это в лучшем случае. А то еще нож в бок получишь в каком-нибудь захламленном европейском порту от обрешанного фанатика.

Ну и куда его девать? Возвратить обратно — это когда еще туда придешь, а может, вообще, фрахт в Аден «Эврике» не светит. Ни в одном другом арабском порту нелегала, конечно же, не примут. Здесь движение только в одном направлении, давно проверено.

Капитан распорядился доставить к нему непрошенного пассажира.

Перед ним предстал молодой, смуглый до черноты семит, весь заросший густой, лоснящейся бородой, слегка помятый, но заведенный, как пружина.

Выяснилось, что безбилетник вполне сносно объясняется на английском. Таких капитан во множестве встречал в средиземноморских портах, но в экипаж брал неохотно — они легки на скандал и на драку с поножовщиной. Приглядевшись, он заметил, что тот зажимает в правой руке карманного формата книгу в плотной черной обложке с золотой арабской вязью:

— Что у тебя в руках? Давай, клади на стол, вытряхивай все из карманов. Деньги, наркотики, оружие, что у тебя там?

— Ничего. Ни денег, ни наркотиков у меня нет. А это — Коран. Он всегда со мной. Вам нельзя прикасаться.

— Дай сюда. Здесь я решаю, что мне можно и что нельзя.

— Нет. Вы не можете забирать, это святотатство. Это всего лишь Коран. Книга.

Помощник заломил упряму руку, вырвал книжицу, и сразу стало ясно, о каком святотатстве идет речь. В тщательно вырезанной нише были аккуратно заложены 500 американских долларов и египетский паспорт на некоего Мухаммеда Барку. Не трудно было понять, что паспорт — всего лишь грубая, дешевая подделка

— Значит, так. Ты заявил, что денег у тебя нет. Будем считать, что их не было. Выходит, ты египетский гражданин? Что же ты делал в Адене? Зачем ты забрался на мой корабль? Хотел взорвать? Спешешь к гуриям? Говори правду, или я скормлю тебя акулам. Запомни, ты теперь никто и зовут тебя никак.

Воин Аллаха, осквернивший святую книгу паршивыми американскими бумажками, испещренными масонскими знаками, задумался на минуту... Видно было, что он поплыл и что-то про себя решает. Терять уже было нечего.

— Хорошо, я скажу правду. Меня так научили. Два года я ходил в мечеть, там меня инструктировали, как попасть в Европу. Паспорт я купил. В любом порту можно купить египетский паспорт за сто долларов. Я выполнял для мечети разные работы. Денег мне не платили. Они говорили, что собирают их для меня, чтобы я смог сделать все, как они учили.

— Как ты попал на корабль?

— Я дал полицейскому взятку, пятьдесят баксов. У нас от такого заработка никто не откажется. А дальше я уже знал, что делать.

— Кто тебе помогал из экипажа?

— Никто. Я знал, как пройти на корабль вместе с грузчиками и где мне спрятаться. Я имел точные инструкции.

— А зачем тебе египетский паспорт?

— Не знаю. Мне так сказали. Так все делают.

Он явно что-то не договаривал. Кого-то прикрывал. Но это уже не имело значения. Экипаж был сборный. Сплошь азиаты и меланезийцы. Заводить сейчас бодягу, разборки, себе дороже. Кто знает, что у них на уме и где они проходили подготовку. Ладно, решил капитан, надо просто избавиться от этой головной боли в любом доступном месте.

В Литании, где была первая остановка, эмигрантская служба просто отмахнулась: «Нет, нам эмигранты не нужны, своих безработных выше крыши. Нет, мы не принимаем ни беженцев, ни переселенцев».

Другого капитан и не ожидал. Похоже, приятель поселился на судне навеки и с комфортом.

В Амстердаме его как будто подменили. Он вдруг весь напыжился, стал требовать встречи с всякими международными правозащитниками и наконец выудил откуда-то заявление, что он, оказывается, политический беженец из авто-

ритарного Египта и слезно просит убежища в очень демократической Голландии. В ход пошел и пресловутый, приобретенный в портовском туалете стодолларовый паспорт.

Капитан не стал оглашать результатов собственного расследования. Пусть их. Разбирайтесь сами. Эта эмиграционная голландская служба вела себя, как Армия Спасения. Фальшивый оппозиционер, якобы бежавший от самовластия Мубарака представлялся им воплощением демократического духа, неизвестно какими ветрами занесенного в дувалы арабских предместий. Казалось, они слились в экстазе.

Капитану очень хотелось, чтобы у этих стерильно цивилизованных людей открылись глаза, чтобы они наконец поняли, какой грандиозный замысел воплощается в жизнь их собственными руками. Но еще больше ему хотелось избавиться от прицепившейся заразы. И он помалкивал. Те инструктора из мечети взяли в расчет и его собственную психологию. Нет, он не станет по своей инициативе таскаться по всему миру с вечным нахлебником на борту. Вечерами, лежа в номере, или тяжело набираясь у стойки бара, капитан прокручивал в своем перегруженном мозгу тяжкую историю своей Родины, трижды в течение одного века пережившей опустошительные катастрофы, испытания смертью и голодом, анархией и беспредельным произволом. Катастрофы, последняя из которых выкинула его за борт, сделала неприкаемым скитальцем, наемником без роду и племени. И все это во имя красивой мечты, во имя всеобщего счастья, равноправия, во имя либерализма. Горькая истина открывалась ему во всей ее неприглядности. Террор, рукой которого он сам едва-едва не стал, связан с этой мечтой как меч с ножами. Да нет, какое там связан. Он именно ей и порождается. Закон индукции. Раздувшийся, распухший либерализм выхаживает террор, как пчелиная матка. Тупая сила не терпит болтливой слабости, она возбуждает в ней звериные инстинкты, как у маньяка при виде крови. Похоже, дух свирепого Тамерлана покинул свою легкомысленно вскрытую гробницу. Мумии мстят тем, кто нарушит их священный покой.

Через две недели после прибытия в Амстердам ничем не примечательный житель грязноватого города Адена, скромный прихожанин одной из его многочисленных мечетей, за 100 долларов превратившийся в либерального борца за демократию, египтянина Мухаммеда Барку, совершил еще одно превращение. Он сошел с корабля, обласканный европейской Фемидой, чтобы стать добропорядочным голландским гражданином, наследователем бюргеров, купцов, мореходов, великих художников и протестантов

Но русский капитан Герман Шварц в это не верил. Ну, ни капельки не верил.

АНТИЭНТРОПИЯ, ИЛИ ЗАКОН ЖИЗНИ

Около трети европейцев искренне полагают, что в нынешнем мировом кризисе виноваты евреи.

Из интернета

Каждая серьезная организация раньше или позже обзаводится собственными мифами. То есть наводит макияж, мэйк ап. Да и как без них. В мифах вся соль. Именно они придают учреждению лицо, обаяние, неповторимость. Впрочем, так же, как отдельно взятому человеку и даже отдельно взятой стране. Или народу. Можно сказать, что и все народы как-то однообразно справляются с пресностью будничного существования, обмениваясь между собой мифами о Евреях.

Пожалуй, миф и самость тождественны. И, конечно, наш Политехнический институт не был исключением. И наша любовь и привязанность к Альма-матер ласково укутаны в эти мифы. Жаль, что на свет до сих пор не появилась книга с таким, скажем интригующим названием, как «Стрыйские были» или «Легенды Львовского Политеха».

Какие «тайны мадридского двора» вскрылись бы на треугольнике, образованном общежитиями на Чистой, центральным корпусом на Парковой и Академичкой.

Когда-то я обещал моему сокурснику Толику Радковскому, что напишу о нашей безденежной, но такой фантастически интересной жизни. Увы.

Детали испарились из памяти. Но мифы, мифы остались.

В них декан радиофака Замора, альпинист и заводила, символ мужественности и гражданской отваги, чья рука осталась где-то на горных кручах Кавказа, своим видом и примером вдохновлял будущих инженеров жить по правде.

В них наш коллега, сосед по общежитию, матрос Маланчук, пять лет проходил на лекции в морских клешах, позаимствованных у судового старшины на дембель.

Регулярно присылал ему отец — колхозный бригадир из Ставрополя — небольшие грошики на обзаведение, вырванные из скудного пейзажного хозяйства. И в ближайшее воскресенье добросовестно отправлялся Маланчук на Городецкую в поисках «приличной пары брюк». И каждый раз вместо штанов приносил «пару бутылок» с белой головкой, бурча под нос — вот мол простому человеку и портков нормальных негде взять и заливал до ночи тоску, вызванную этим приискорбным фактом.

Однажды курсе на третьем он все-таки отоварился какой-то задиристой городской шестиклинкой. Тут же собрал соседей по комнате и повел их отмечать столь необычное событие. Вернулся он за полночь в полной отключке.

Модную кепку он забыл в какой-то подвальной харчевне.

Или, скажем, ходячая легенда института, высший математический авторитет, профессор Сунчелеев, выписанный чуть ли не из МГУ, откуда его поперли, якобы, из-за непробудного пьянства (легенда есть легенда, ее достоверность во все не обязательна. Чем больше домыслов, тем больше шарма). Сунчелеев и взаправду был ученый гигант, эдакий типа корифей Возрождения. На его лекции любопытствующие студенты шли, как на корриду. Он умел прозрачно подать очень сложные вещи, густо сочленяя степенные функции с философией и практикой. Но, бывало, что сквознячком сносило куда-нибудь под стол маленькую шпаргалку, клочок бумаги с многоэтажными выкладками, который он имел привычку прихватывать с собой, уже не надеясь на свою проспиртованную память. Нам с высоты амфитеатра этот клочок был хорошо виден, но из солидарности все молчали. Гордый восточный человек Сунчелеев никогда бы не склонился, никогда не бы не унизился, ползая перед студентами на карачках подле кафедры. И, отрешенно потоптавшись с минуту в гробовом молчании аудитории, он просто уходил, не попросившись и ни разу не глянув в зал. Как-то на Новый год в Доме Ученых я ви-

дел профессора в пьяных слезах, стоящим на коленях перед своей очень молодой и яркой женой, которая звонко и злобно лупила его ладонью по щекам.

В смутных разговорах вполголоса жили в наших легендах почти уже выпускники Ежиков-Бабаханов сотоварищи, не побоявшиеся невероятного ректорского гнева всемогущего Максимовича (чья мохнатая рука через его жену, бывшую радистку Героя Николая Кузнецова, тянулась прямо в киевский обком), предав гласности занятные проделки заведующего столовой, с чьих рук питалась вся институтская головка. Выяснилось, что скромный труженик от котла и приварка нежно скармливает студентам павших от голодухи поросят из прикарпатских колхозов. Дело было темное, с привлечением «конторы», с попытками свирепого шантажа, с ярлыком о клевете на самую честную в мире советскую власть. Ребята держались стойко. Ежикова-Бабаханова, внука крупного р-р-еволюционера из Средней Азии пытались даже завалить на сессии, вычистить из института. Но, увы. У него была светлая голова. Зубы обломали об нее вуйковатые скороспелые доценты, заменившие в ударном порядке вырезанную во время войны польскую профессуру. Я потом встречал его фамилию среди руководителей студенческих стройотрядов, подвизавшихся летом где-то на Сахалине.

А подельников Ежикова-Бабаханова развеяли во время летних каникул, как пыль из тощих общежитских матрасов — кого в армию, кого в Тмутаракань, а кого и подальше.

Фамилия Полищук в институте была именем нарицательным. Так называли преподавателей, грудью стоящих за гегемонию «ридной украинской мовы». Хрущевская и недолгая послехрущевская весна были в разгаре, так что Полищуки ломались в открытую дверь. Мову еще не навязывали, но и пострадать за нее как-то не получалось. Героям этих битв приходилось сражаться бутафорскими шпагами. Ну не было теории автоматического регулирования на украинском языке, не было. Ну был Иван Франко, была Леся Украинка, была красивая певучая речь Прикарпаття, смешавшая двенадцать языков в «западеньску мову». Но она как-то совершенно не

вязалась с электрическими аппаратами и готовыми вот-вот возникнуть вычислительными машинами. Невольно вспоминались перепертые в страду борьбы с безродными космополитами с забугорного на русопяцкий язык «силометры» и «напряжометры». Поэтому редкие лекции, что читались на украинском, собственная рука автоматически выводила на великорусском.

Так уж случилось, что электрические измерения, науку чрезмерно дотошную, запрактизованную и педантичную читал как раз доцент со злополучной фамилией Полищук. На первой же встрече он обнародовал свой универсал. Дескать «беспринципная администрация требует, чтобы я читал лекцию на русском языке, если в потоке имеется хоть один иностранный студент». У нас их было несколько и оба из Индонезии — каким ветром их занесло на наш режимный факультет — ума не приложу (к диплому, как неременный довесок, шел допуск соответствующей «формы» — степень доверия определял 1-й отдел). Должно быть, оба были сильно окрашены в красный цвет. После смены власти в Джакарте они «швыдко зныклы». Но Полищук гнул свое.

— Я не буду читать на русском, не разгоняйтесь. Но господа иностранцы, если считают нужным, могут остаться. Я лично для них повторю лекцию на русском.

Приосанившись, как горный орел, он окинул аудиторию пристальным взглядом и многозначительно с ехидцей добавил:

— Алэ цэ мени дуже не спидручно.

Посланцам из далекой Джакарты это тоже сразу показалось «не спидручно».

Что ж статус иностранцев в имперской России всегда был высок, даже если это всего навсего «зачуханные азиаты», чурки. Да что Полищук, с ним с глазу на глаз можно было сойтись только на экзаменационной сессии, а на практических запятых, в течение всего остального времени, его представлял ассистент Шморгун.

С первой встречи у нас с ним возникла острая взаимная неприязнь. Тот имел неприятную привычку проверять подго-

товку студентов перед лабораторными работами. Это значит, нужно было буквально заучивать наизусть длиннейшие методички, им самим сочиненные. Легче было вычитать целый взвод натренированных графоманов. Ничто не помогало, ни чай, ни кофе. Я засыпал на первых же двух строчках, не в силах побороть скуку навязанного мне предмета. Шморгун со злорадством предрекал, что эту науку мне ни в жизнь не одолеть и лучше заранее переквалифицироваться в управдомы. Спасли меня сокурсницы, сделавшие предьяву шалуну, дескать, это наш лучший студент. Халдей, хоть и был молод, но что к чему соображал. И сделал свои далеко идущие выводы.

Он задержал меня после занятий и без свидетелей, тет-а-тет заявил, что у него для меня есть только две оценки — или двойка или пятерка. В последнем, несмотря на отрицательный дискурс, было что-то обнадеживающее. Через год я столкнулся с таким же зазеркальным подходом на военной кафедре. Но тогда я как-то нутряно ощутил, что здесь целая установка, целая жизненная позиция и кое-что понял. В этой безвыходности был выход, прорыв, иной горизонт.

Я окопался в библиотеке и очень быстро выяснил, что кафедра измерения в Политехе — это вещь в себе, со старыми, консервативными традициями, со своей Школой, пережившей и Австрию и Польшу, что их разработками питаются все приборостроительные заводы страны. И дело сразу пошло. Так что виват Шморгуну и его принципам, пробуждающим спящие зерна занозистого тщеславия.

Среди самых симпатичных мифов — СТМ — студенческий театр миниатюр.

Гений Аркадия Райкина вызывал к жизни целый рой подражателей разной степени талантливости. Наша контора имела, к счастью, одного, но он стоил целого театра, да, собственно им и был. Нередко на доске объявлений появлялись объявления типа: «В воскресенье выезд в подшефный колхоз концертной бригады в составе: Эстрадный Ансамбль, Симфонический Оркестр и Озеров. Явка всех участников обязательна». Б. Озеров, по совместительству мой сокурсник и был этим СТМ, и непременно гвоздем любой студенческой программы

в течение многих лет, даже когда уже сам он работал на закрытом заводе номер 125. Под банкетную канонаду в честь защиты диплома гламурный Боря очень удивил своих почитателей и тайных завистников.

Выяснилось, что весь его высокий стиль, предмет массового поклонения и подражания все эти годы искусно выкраивался из очень тощих маминых возможностей, которые та добывала чуть ли не поденным тяжким трудом. И еще оказалось, что король эстрады Б.Озеров не только непрерывно продуцировал хохмы, тотчас превращавшиеся в идиомы студенческого сленга, но как-то ненавязчиво и даже скрытно от всех упорно грыз гранит науки, так что его красный диплом всех шокировал.

Думаю, не ошибусь, если предположу, что среди мифообразующих фигур технических ВУЗов обязательно присутствуют преподаватели начертательной геометрии. Чем это объяснить — то ли устойчивой неприязнью студентов к названному предмету, инстинктивно числящих его в разряде наиболее схоластических, не связанных с будущей практикой, то ли от непривычки иметь дело с чистой абстракцией, с математикой математики. Не знаю. Но для нас этот вызывающий дрожь предмет, похожий на укрепленный вражеской дзот в ежегодной войне с неотвратимой экзаменационной сессией, был персонифицирован с невзрачной фигурой доцента Глаговского, оттянувшего на себя добрую половину всего студенческого фольклора на первых курсах. Задолго до того, как произошел боевой контакт, все уже знали о многолетней позиционной войне, в которой у самих студентов не было никаких шансов одержать победу. Главным сюжетом этой войны был, якобы гроб с мумией павшего студента, неизменно доставляемый Глаговскому на дом в день его рождения. Явившись на консультацию накануне предстоящей экзекуции Глаговский неожиданно подтвердил всю обоснованность вьющихся вокруг него легенд. Он заявил, что к нашей группе относится с особой теплотой. Так как именно из нее будет извлечен пятисотый юбилейный персонаж в списке его тщательно учитываемых неудов. При этом из недр его кургузого пиджачка, сочетавше-

гося с неизменной черной бабочкой, был извлечен несколько поистрепанный карманный гроссбух, свидетельствующий о нашем непроходимом и всеобщем кретинизме. В качестве жеста особенного презрения он предложил желающим попытаться сдать экзамен с кондачка, прямо на консультации. Слабó, дескать, вам, уродам. И как гроссмейстер, что в партии с простым смертным отказывается от ферзя, он добавил: тот, кто сдаст успешно, завтра может на экзамен не приходиться, а кто провалится, сможет иметь вторую попытку. Впрочем, по его мнению, шансов на успех ни у кого не было и быть не могло. К его неопишуемому удивлению и разочарованию шанс, как оказалось, таки был. Один.

И реализовался. Мною. Чем горжусь. Что доказывает, что на всякого мудреца...

Возможно, потому на следующий день Глаговский поставил нашей группе мат, залепив одиннадцать двоек.

Все это неожиданно ожило в моей памяти, когда я вычитывал у автора популярных «Легенд Невского Проспекта» Михаила Веллера рассуждения о метафизике Жизни и Смерти. В связи с тем, что в различных разделах прикладных наук именуется Энтропией. Вопрос, конечно, интересный.

К тому же из серии нашего студенческого мифотворчества.

Ибо нам посчастливилось прослушать несколько лекций блестящего молодого преподавателя физики из того же — вы будете смеяться — бездонного клана Полищук. Тех лекций было две или три, но запомнились они навсегда, даже не содержанием, а царившей на них атмосферой. Это был профессионал. Что да, то да. Оратор, романтик своего безумно (в его изложении) интересного предмета. А после он исчез и из института и из нашей жизни. Говорили, что он оказался соучастником некоего интеллигентского протестантства с националистическим уклоном. Глухое упоминание об этом событии я нашел позже в примечаниях к «Крутому маршруту» Евгении Гинзбург. Через несколько лет моя приятельница Данута, симпатичная уроженка Наварии, богатого сельского пригоро-

да Львова, с которой в бытность мою дежурным электриком в сборочном цехе радиозавода мы частенько коротали вечерние часы в разговорах подле ее откачного поста, рассказывала мне, что бывала она в одном таком доме, где собиралась местная культурная элита. И где за каждое произнесенное порусски слово брали пеню, как за матерщину. И встречала там она этого физика Полищука. В Сибирь его не отправили, в управдомы не заслали. Но якобы видели его в лесотехническом институте, который казался нам в табели о рангах чем-то вроде бурсы.

А к нам пришел и бубнил этот предмет в течение двух семестров зануда Кутовый, самый изошренный и последовательный борец со шпаргалками. И дернуло меня с его помощью выяснить суть понятия той самой, загадочной энтропии. Мне казалось, что в ней кроется нечто очень важное, корневое, может быть даже более важное и всеобщее, чем неизменная скорость света или теория относительности. Я задавал вопрос про энтропию Кутовому трижды. Первый раз во время лекции. И потом на консультации перед экзаменом. И еще специально пошел на консультацию с параллельной группой. И каждый раз скрупулезно записывал ответ — слово в слово. Бесцветным, мертвым языком Кутовый давал голые математические выкладки, ни разу не отклонившись от отработанного текста, убивая малейшую попытку доступно прояснить физический смысл.

Мой восторженный, незамутненный патриотизм и доверие к родным стенам института как-то тогда досадно полиняли. Со временем, правда, досада прошла, когда выяснилось, что количество вопросов, на которые у меня нет ответов, непрерывно растет, грозя превратиться в безбрежную лавину. И что там недопонятая энтропия рядом с недоумением, от какой сырости вдруг проклевывается и неудержимо заполняет пространство жидоедство, напоминая апокалиптические картины нашествия инопланетян по Герберту Уэллсу.

Тем не менее, выплывшая неожиданно у Веллера эта тема и через сорок с лишним лет оказалась для меня по-прежнему столь же любопытной.

Ну-ка, ну-ка, что же там накопал наш маленький Веллер, не устающий ревниво пинать тень безвременно ушедшего от нас большого Довлатова.

Ага, вот оно: «Все сущее структурируется извне, а разрушается само». Туманно, но образно, как и следует писателю. Закон энтропии сформулирован как закон неизбежности смерти, заложенный в фундамент мироустройства. Ничего нового. Кто не слышал о «красной смерти», ожидающей мир. Когда все станет абсолютно одинаковым и холодным. Бесконечная одинаковость бесконечности. Бесконечная грандиозность заурядности, невысовываемости.

Мертвечина. Победившая Энтропия, которая в конце дней заполнит собой Вселенную.

Но ведь и жизнь взялась не от насморка. Должен же быть и закон жизни, который просто еще никто не сформулировал, не допер. Так полагает Веллер. Оптимизм лириков против пессимизма физиков. И закон этот должен звучать как неодолимое стремление окружающего мира к структурированию, к эволюции усложнения. Закон самоорганизации хаоса. Все стремится к хаосу, а хаос стремится к организации. Неплохо. «Она его за деньги полюбила, а он ее за безразличие к ним».

Электрон, захваченный ядром, начинает бешено вращаться вокруг него по орбите. Вода, выливающаяся из раковины или из ванны образует вращающую воронку, по часовой стрелке в южном полушарии и против часовой стрелки — в северном. Частицы, сосредоточившись в бесконечном количестве на ограниченном пространстве, создают поле гравитации. Мы не знаем природы этих явлений, но убедились в их неизбежности. Биология утверждает, что виды, выживающие за счет увеличения объема мозга, никогда не двигаются в обратном направлении. Может уменьшаться все — объем костей, мышц, но достигнутый объем мозга останется неизменен или увеличится — это завоеванная жизненная позиция. Вектор жизни не воспроизведение, как мы привыкли считать, а структурирование. От простейших молекул до человеческих сообществ. Антиэнтропия — усложнение организации мате-

рии, вакцина от истощения энергии, пружина, заведенная от момента сотворения. Мудрость зрелости взамен огня юношеского безрассудства.

Однако. есть одно замечание. По большому счету, Жизнь с большой буквы — это существование вида, не индивидуума. И здесь необъятный простор для игрищ ума.

А вы говорите: «Если в кране нет воды...» Это слишком просто, чтобы быть истиной в последней инстанции. И совершенно недостаточно сложно, чтобы выживать в мире, в который изначально заложена мина самоуничтожения.

ПАРТБИЛЕТ

— Ну, почему, почему Людмила Улицкая стала христианкой? Чего она там потеряла? Этот Мень, ля-ля, трюфеля наделал делов, сам перекувыркнулся и других за собой потянул. Он похуже Торквемады будет, это не интеллигентский выпендрож, а настоящее подлое предательство. Разве так вели себя евреи раньше. Вон в Испании шли на костер за веру.

— А, собственно, какая тебе разница, христианка Улицкая — не христианка, буддистка, хористка. Я слышал от тебя неоднократно, что ты убежденный атеист, никогда не заглядывал в синагогу и уверен — если Бог не заступился за евреев и допустил Холокост, то его либо вовсе нет, либо это не тот Бог, которому евреи должны кадить.

— Да, я так считаю и, черт меня побери, если я за прошедшие 70 лет услышал хоть один стоящий аргумент, чтобы поменять свое мнение. А этот жопастый Дима Быков. Как терев на току — сам себе поет, сам себе слушает. «Израиль — неудачный проект». Сам он неудачный проект своих несчастных родителей. Жирный, неопрятный, самодовольный. Типичный предатель, евангельский Иуда. И то, что он везде мелькает, это его 30 серебряников. Когда персона реально нон грата есть куча способов сделать так, чтобы о нем быстро забыли. Героический Солженицын на деле оказался тщательно замаскированный то ли агент, то ли провокатор.

— Ну, знаешь, предательство — это слишком громко. Человек поступает в соответствии с обстоятельствами. Соглашатель, конформист, к тому же не бесталанный — да, это о многих можно сказать, упомянутые далеко не самые главные. Когда-то очень умная папина дочка Таня Бек взяла интервью у 14 выдающихся российских литературных генералов от Александра Кушнера до Асера Аппеля. И все они хором

заявили, что считают себя русскими поэтами, прозаиками и далее по списку. То есть, прежде всего, не евреями, по сути. Что делать, кусать хотица. Не на войне, небось.

— А вот как раз на войне. И мы платим на ней самую большую цену. Уже 2000 лет. Нас слишком мало. Других считают миллионами (китайцев или индусов, например, сотнями миллионов), а у нас после такой бойни счет пошел на единицы. А эти люди собственную задницу греют, а еще прикидываются своими, чуть ли не диссидентствующими филосемитами.

— Ты прав, с этим не поспоришь, но человека нельзя испытывать слишком долго. Ресурс не тот. В Абу Грейве самые крутые алькайдовцы сдувались на раз и начинали взывать к гуманному мировому сообществу. Их Бог позволяет им делать все что угодно в отношении «безбожников», но только пока они «над». А, оказавшись «под» вспоминают вдруг о правах человека, так, как будто они и есть самые последовательные поборники этих прав. Потрясающее бесстыдство. Но у либералов при этом слюни текут от восторга — вот видите, мы говорили, они всё понимают, у них просто детство было тяжелое. Э, господа, медведь задравший на сцене дрессировщика, тоже все понимал, только в какой-то момент стал самим собой. Это вполне по-человечески. Кстати, насчет Испании и костров. Так-то оно так, только совсем не так. На костер отправляли как раз не тех, кто предпочел остаться евреем, а тех, кто был обращен, но сделал это не искренне, понарошку. По крайней мере, так считали правоверные католики-испанцы. Именно этих фальшиво обращенных героизирует еврейская улица. Нечто подобное произошло и в советское время. Чистки, протянувшиеся с 30-х в поздние хрущевские времена как две капли воды повторяют времена инквизиции — пытки, смехотворные обвинения, похожие на пароксизмы ревности, основанные не на фактах, а на предполагаемых извращенных побуждениях и признаниях, полученных под пыткой. КГБ и Инквизиция как они близки. Обе эти организации заточены были на борьбу с неискренностью новообращенных. Нет доверия, ревность до сумасшествия, до дыбы.

А насчет Улицкой ты ошибаешься. Ее нянька еще в детстве окрестила.

— Неужели? Я не знал, нужно проверить.

— Проверь, не проверь. Дело не в этом. Я приехал сюда в 96-м. Через пару лет попал на концерт Ларисы Долиной. Она гордо расхаживала и распрыгивала по сцене с могодновидом на золотой цепочке и вдохновенно пела еврейские песни. А еще лет эдак через 10 я ее видел из-за кулис на другом концерте. Уже с золотым крестиком на, возможно, той же золотой цепочке. Кстати, а чего это ты так сосредоточился на Улицкой? Гораздо точнее этой откровенно проеврейской христианки свою позицию высказал поэт Александр Кушнер: «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Хлестко и точно, как лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!». Выражение стало широко известно и как-то никто не сосредоточился на том весьма забавном моменте, что это, по сути, манифест всех прошлых, нынешних и будущих конформистов, а вовсе не абсолютная истина на все времена. Емкая и содержательная формула, как и должно быть у талантливого русского (в смысле не еврейского, несмотря на фамилию) поэта, для которого акмеисты гораздо ближе, чем все перипетии сложной и трагической еврейской истории. Кстати, формула эта насквозь живая.

— А чего это ты так сурово? По-моему, так очень красиво сказано и запоминается сразу и на всю жизнь.

— Да, потому что времена выбирают, еще как выбирают. Активная, героическая позиция как раз чаще означает выбор времени прошедшего, а не настоящего или будущего. Сионизм своим ориентиром взял времена двухтысячелетней давности. Россия, поиграв во всемирную революцию, сейчас находится в глубоком поиске собственной идентичности, пытается обнаружить ее в своем языческом прошлом. Тем же самым занималась Германия эпохи Гитлера. Оттуда, из своего мифического далека были вытащены все до сих пор вызывающие ужас атрибуты — свастика, черная форма СС с пучками молний и прочее. Советский Союз рухнул во многом из-за того, что в нем практически никто не жил. Ну, за исключением пар-

тийных бонз и их приближенных шестерок — конформистов, в том числе генералов от искусства и специфических, возвращенных системой жуликов, своеобразных шулеров за карточным столом истории. Все остальные пребывали или в тщательно лелеемом прошлом, например, красные командиры, с гордостью напялившие на себя золотые офицерские погоны или — большинство, в далеком, недостижимом будущем, горизонт которого постоянно смещался — сначала на годы, потом на десятилетия. Потом исчез за горизонтом, когда Ельцин назвал его химерой.

— А в каком времени мы живем?

— Ну, мы-то с тобой ни в каком. Мы, выбрав эмиграцию, да еще в возрасте уже далеко не Иисуса Христа выпали из исторического процесса. Но мы можем в этот процесс опять попасть. И вовсе не по собственному желанию. Советский Союз не единственная химера, в которой люди числились, фактически пребывая, словно в романе Уэллса или Марка Твена в другом времени. Или в другом измерении. Сознание вещь насквозь релятивистская и словно девка-оторва вовсю гуляет между настоящим, прошлым и будущим. В наше безоблачное безвременье уже ворвался ислам, который тащит нас всех за волосы прямиком в век двенадцатый, где на сегодняшний день пребывает треть из их полутора миллиардов (столько примерно, по всем подсчетам, открыто или тайно симпатизирует Аль Кайде или ИГИЛ), остальные две трети так же, как в бывшем Советском Союзе, верят в реальность будущей бесконечной (после смерти) райской жизни, и этим живы. Земное настоящее и тех и других, как понимаешь, их волнует мало, их там попросту нет.

Поэтому и нет никакого плавильного котла культур. Как можно смешаться с теми, кто отсутствует.

Так что еврейский конформизм в лучшем случае есть безвременье.

— И как со всем этим быть. У тебя, что, есть решение?

— У меня нет. Эту квадратуру круга в свое время пытался с прямоотой древнего римлянина разрешить Наполеон, человек, умевший четко поставить и положить. Действительно,

сказал себе Наполеон. Доколе. Тем более что побывал в Палестине и проникся. И тогда он вызвал к себе самых авторитетных из кагала. И сказал им: «Я твердо решил закрыть еврейский вопрос. Сейчас или никогда. Соберите ваш синедрион и решайте, что для вас важнее — Франция или Тора. Вы утверждаете, что ваше государство — это Книга. Нам, французам, этого не понять. Отецеств не может быть двух. Франции нужны граждане ответственные и патриотичные. Всякие другие это пришельцы, как говорится в вашей Книге. Если вы выбираете Францию, то Франция выбирает вас. И вы получаете все права. Как все остальные французы. Вы можете оставаться евреями, но в первую очередь вы должны быть французами. Вы можете коллекционировать бабочек или увлекаться древними пирамидами, но Франция превыше всего. Но если вы выбираете Тору, то и права, естественно, должны требовать у Бога, а не у французского народа». Сигнал был понят. Синедрион принял историческое решение в пользу Франции.

— И что, это что-то изменило? По-моему во Франции до сих пор гоняются за евреями с дубьем, как гонялись за нашими дедушками и бабушками в России. И сегодня самая большая эмиграция в Израиль — это из России и Франции.

— Я просто хочу отметить два момента. Первое, это то, что гитлеровское «Дойчланд, дойчланд юбер аллес» явно скопировано с наполеоновского «Франция превыше всего».

А второе, то, что Наполеон евреев слегка надул. Вернее, ему надули в ухо те, кто сомневался в неискренности «новообращенных французов». Евреи получили партбилеты французских патриотов, но все же были урезаны в правах. Им был закрыт вход в определенные сферы (как сейчас для арабов в Израиле и тоже из-за недостаточного патриотизма) — на госслужбу и, прежде всего, в армию. Но они постепенно расширяли свое участие и в этих закрытых сообществах. Пока не разразился скандал с делом Дрейфуса. Это дело показало, что неприязнь и недоверие к «новообращенным французам» ничуть не убавилось. А сам процесс, который ультрапатриоты проиграли, дал толчок сионистскому движению. Котел взорвался. Сам Герцель об этом говорил. Этот австрийский, а не француз-

ский патриот, обрезанный в детстве, но воспитанный в немецких, а не в еврейских традициях (как это на нас похоже!), после дела Дрейфуса совершенно переменяет свои взгляды. «Если не мы за себя, то кто за нас». Он понял глубинный смысл этой старой еврейской мудрости. И взял ее на вооружение.

И все же мне кажется, что конформизм сродни шизофрении.

Два в одном уживаются только в больном сознании. Для абсолютно здорового человека это не комильфо. Раньше или позже бабахнет. Другой вопрос, существует ли в реальности такая ситуация, когда партбилет вызывает чувство раздвоения.

— Что ты имеешь в виду?

— Приезжал тут пару лет тому один преуспевающий писатель из Москвы (он, например, хвастался, что недавно приобрел в собственность бывшую дачу Цветаевых). Меня попросили его встретить и уделить внимание. Я уделил. Приехал он не один, а со своим собственным Санчо Пансой. Если послушать — еврей до мозга костей. И далеко не дурак. Даже иногда, на Судный День, посещает московскую синагогу, где его, естественно, кому надо, отслеживают. И на Песах мацу на стол ставит. Приезжал он к нам по совершенно замечательному поводу. Здесь в только что построенном суперсовременном конвеншенцентре состоялась выездная сессия ООН. А он, оказывается, возглавляет Комитет по борьбе за мир. Ни хрена себе! Оказывается, есть такой в России, до сих пор. Жив курилка, и штат некий имеет и постоянное представительство при ООН. А, главное, возможность участвовать в официозах. При этом столы там, мама не горюй... Мужик, хоть и еврей, в английском ни бум-бум. А зачем? Есть референт, есть переводчики. Не жизнь — малина. И так много лет. Говорит, на шару весь мир объездил. Можно было такооое понаписать... Но он не по этим делам. За синекуру надо платить. И вот он, еврей, сооружает книгу. Наполненную псевдохристианской мистикой, основным содержанием которой является некая мессианская роль, предназначенная якобы русскому народу-богоносцу. Этакий опрощенный и осовремененный (путинои-

ды, менты, оборотни) Достоевский. Я прямо чувствовал в наличии в пиджаке новоявленного провидца партбилет с двуглавым орлом и профилем Владимира Ильича. Мы даже некоторое время еще переписывались. Но однажды он попросил высказаться по поводу его романа, который был тогда в московской тусовке на слуху. Я высказался, призвав в свидетели тень Льва Толстого (специально перечитал его «Евангелие...»). Дальше тишина. Должно быть, обиделся. Нет, интересно. Я понимаю, сделал неприличное в приличном обществе — то ли голым вышел, то ли воздух испортил, так сиди тихо, авось забудут, а умные не заметят. Так нет, надо чтоб еще похвалили и держали за приличного. И никакой раздвоенности. Ну, абсолютно никакой.

— Ну, а ты сам как, тебе приходилось ощущать нечто подобное?

— Ты знаешь, я в свое время подошел к состоянию заслуженного конформиста очень близко. Я начинал свою инженерную карьеру очень резко. До института успел и поработать, и армию отслужить, и еще поработать. Так что возраст поджимал, раскачиваться некогда было. Я сам напросился из-за кульмана на живую работу и мне дали лабораторию, где можно было вести собственные разработки. Через неделю ко мне пришел директор завода и сказал: есть проблема, мы испытываем провода высоким напряжением в водяных ваннах. Ванны занимают чуть не половину площадей всех цехов. И замедляют весь процесс производства неимоверно. Нужно убрать ванны и сделать процесс непрерывным. Если решишь эту задачу, я лично распоряжусь, чтоб твою фотографию навсегда повесили над проходной в золотой рамочке. Я или был наивным или у меня плохо с юмором тогда было. Задачу эту я решил. Получил свой первый патент. О ваннах, действительно, быстро забыли, через год привыкли, как будто, так и было. Ко мне прилепилась, правда, с этого времени кличка «доктор». И некий неколебимый авторитет. И это все. Фортуна двинулась было дальше в сторону реального конформизма. Через некоторое время меня ознакомили с документом, требующим на предприятии с целью и т.д. ввести должность

Главного Специалиста по автоматике. Я уже раскатал губу. Уже у меня в кабинете появился и стал завсегдаем старичок из парткома, который стал интенсивно натаскивать меня в ум, честь и совесть нашей эпохи. И тут грянул гром. Утонула атомная подводная лодка «Комсомолец». А утонула из-за пожара. Из-за короткого замыкания в кабеле. А жилы в кабеле испытывались по моей новой методике. Несколько месяцев я ходил как по тонкой проволоке. Но как-то все обошлось. До сих пор удивляюсь. Подействовал аргумент, что американцы свои провода для космоса испытывают исключительно в непрерывном режиме уже много лет, и ни одного отказа у них не было. За время этой нервотрепки идея глобальной автоматизации как-то плавно сошла на нет вместе с гипотетической должностью. Да и бог с ней. Одним соглашателем меньше.

АТАС, РУССКИЕ ИДУТ...

«И увидел Всесильный землю, что вот: растлилась она,
ибо развратила всякая плоть путь свой на земле»

Бытие

Эта история недостаточно парадоксальна, чтобы быть неподкупно правдивой и слишком реалистична, чтобы возбудить воображение. Лучшим эпитафием для нее послужила бы вырвавшаяся как-то у Черномырдина знаменитая фраза, которая моментально, как плевок, прилипла к целой эпохе. Единственный парадокс здесь — это наша чистая, наивная вера в то, что этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Вера, которая и привела многих из нас в этот чужой и заманчивый мир.

Меир Орлик был человеком легким, остроумным и религиозным. Происходил он из рода коэнов, полагающих, что ведут они свою родословную от самого Аарона, брата Моисея, оттого ко всем шестистам тринадцати заповедям, завещанным Пророком своему народу, относился с внутренним трепетом, будучи при этом пройдохой и знатоком великого множества уловок, предоставляемых Талмудом деловому человеку.

Он любил поговорить о важности еврейского воспитания и не запрещал своим детям то, что на языке идиш называется клоц-каше, то есть задавать глупые вопросы, не стесняясь спрашивать об общеизвестном.

Однако, многочисленным этим мальчикам и девочкам, собственным и приемным, дал исключительно светское образование, как говорится, вывел из черты оседлости в люди. Оттого и сам на склоне лет оказался унесенным из родного белорусского захолустья прямо в центр Москвы, на Таганку с видом на Кремлевские башни, сменившие к тому времени православные кресты на рубиновые масонские звезды.

В молодости у Меира случилась история, которая имела дальние и, в некотором роде, мистические последствия. Служил он тогда коммивояжером, то есть разъезжал по густо разбросанным еврейским местечкам, прилепившимся у края запретной российской метрополии, с чемоданчиком, где поверх смены белья и непременно талеса размещались приятно пахнущие заграницей образцы всякой галантереи и парфюмерии.

Миллионером с этого не станешь. Но зато была живая копейка и ежедневное общение с разнообразными людьми, что, как известно, развивает склонность к меланхолии и житейскому мелководному философствованию. В одной из таких поездок он повстречал свою Рахиль. В отличие от библейского Лавана, ее родители не требовали отработать семь лет за невесту, а, напротив, как-то поспешно стоворились и поставили молодых под хупу. Каково же было удивление Меира, когда поутру в своей постели он вместо Рахили обнаружил ее старшую сестру, дурнушку и хромоножку. Он было бросился протестовать, но его пыл тут же охладили:

— Что за базар, все по Закону, не положено младшей выходить замуж поперед старшей.

Как человек честный, Меир задержался в этом ритуальном браке на несколько лет.

В 1918-м году хромоножка, будучи женщиной решительной и дальновидной, с тремя детьми, прижитыми с Меиром, перебралась в Палестину, но на этом Одиссея не закончилась. Открыв в себе охоту к перемене мест, двое ее сыновей в один прекрасный день обнаружили в Австралии.

Этих дальних, но, тем не менее, кровных, родственников по наводке своей тетки Махли разыскал Арон (в миру Арик), внук Меира, когда в начале 80-х пополнил список отказников, узников Сиона. Тетка пребывала в старых девах и, наверное, по этой причине стала со временем настоящей ходячей энциклопедией по дальней и ближней родне, кое-где случайно сохранившейся после тотальной чистки, осуществленной последовательно красными, белыми, черными и коричневыми.

Арик, с типичной внешностью, вынесенной из еврейских местечек, еще не захваченных волной грядущей акселерации, несмотря на постоянно обсуждаемые на кухне проблемы с пятой графой, сделал, как это случалось (случалось, случалось, чего уж там) и с другими обсуждателями, вполне успешную научную карьеру. То есть, оперируя привычными терминами того времени, окончил институт, и, не задержавшись за кульманом или на строительной площадке защитил кандидатскую диссертацию и даже одолел докторскую, которую, однако, ввиду последовавших форс-мажорных обстоятельств, ВАК не утвердил. Тем не менее, он стал, как говорится, широко известен в узких кругах и позиционировался, как эксперт по практическому использованию голографии, очень перспективного в то время раздела оптики. И тут у него проступил густой румянец и ощущение дискомфорта, он вспомнил даже о том, что дед его был коэн, т.е. обладал правом произносить благословения в синагоге, в которое выродился обряд жертвоприношения в разрушенном Титом храме и все окончилось посещением ОБИРа. Ощувив ветер истории в своих парусах, Арик, вскормленный пресным молоком официального атеизма, оторыл вдруг в себе иудея Аарона, его охватило всепоглощающее желание посетить святую землю, вдохнуть знойный воздух библейской пустыни, прикоснуться к древним камням, к останкам храмовой Стены Плача. Это страстное желание живет в Арике до сих пор, правда Стены он так и не коснулся, ибо уже тогда, даже в фантазиях, не мог представить себя среди черных лапсердаков ортодоксального Иерусалима или в каком-нибудь забытом Богом ориенталистском Бат Яме, набитом выходцами из Йемена и Марокко, а избрал своей конечной целью университетский Мельбурн в патриархальной, тихой Австралии.

Естественно, с академической карьерой было покончено, как естественно и то, что Контора его выпускать из страны и не собиралась. И не мудрено — он ведь успел засветиться в недоступных простым смертным офисах Туполева и Ильюшина, да и на стапелях Ленинградской верфи. Его прикладные интересы в современной физике как раз и касались неразру-

шающего, то есть исключаящего какое-либо хирургическое вмешательство, контроля продукции этих самых засекреченных объектов державы, всяких там сотовых панелей истребителей, бронелистов обшивки субмарин и прочего.

После пяти лет пребывания в глухом отказе Арик круто закосил под «датишника», обложился религиозной литературой из самиздата и ошивался около московской хоральной синагоги, мозоля глаза вездесущей Конторе, которая продолжала держать его на коротком поводке. Формально — по уже озвученным мотивам. Правда, времена изменилось, и, так называемые, государственные секреты, если они и были (что вряд ли, ибо большая наука давно уже вещь интернациональная, и каждый шаг в ней достигается совместными усилиями), давно обесценились усилиями тех, кто уже уехал, получив наконец вождеденную американскую или израильскую визу.

Впрочем, резон у Конторы все-таки был. И это становится ясно по прошествии многих лет. Приобщение к запретному не было обязательно чем-то материальным, что можно продать или выдать зловредному врагу. Он нес его в себе на клеточном уровне, как инфекцию, как тайный ресурс страны, настроенной на производство оружия, как свою единственную героически бессмысленную функцию. Второе качество, которое было от него неотделимо, которое нельзя было отслоить, запретить к вывозу и не выпустить за границу — это то, что выкристаллизовывалось в нем от постоянного давления и едва замаскированной травли. Тут особого выбора не было. Не убывающий избыток адреналина не оставлял ничего иного — либо сломаться и примириться, либо... Школа выживания, эксклюзивно организованная для беспокойного племени, на деле выродилась в систему отбора и воспитания эдаких очкастых, далеко не атлетического вида суперменов, советских ниндзя, расплзающихся потом по всему миру. Товар это, конечно, штучный, не массовый, но заметный и напрасно приписывают Богу результат, который суть не что иное, как побочный, непредвиденный и не желательный эффект. Авторам известен вполне банальный случай, когда в семье, ну, очень

добропорядочных кандидатов наук рос на московском асфальте такой себе нормальный ребенок, в меру шкодливый пацан, без всяких фантазий и претензий, с замашками будущего слесаря или бухгалтера. До двенадцати лет он и не подзревал, как ему подгадили родители с происхождением, даже по-мелкому участвовал в травле себе подобных. И вдруг все выяснилось — кто-то из товарищей ему популярно разъяснил — чего мол, а ты-то кто? Ну, истерика, само собой, духовный кризис и все такое. Ребенок бегал по улице и истошно орал: «Евреи, евреи, кругом одни евреи!». Полгода ушло на перерождение организма. А там все устаканилось и вошло в колею, т.е. нормальный аттестат, институт, кандидатская, труд, труд, отвоєванный грант на учебу в Штаты, опять труд, труд и, наконец, профессорская кафедра в Нью-Джерси. Нормально.

Сам Арик развитие в нем системой качества полагал везением, чуть ли не божественным даром. Не понимая еще истинной цены того, что в него закладывалось ежедневной многослойной холодной ковкой, он пытался в соответствии с ценностями, которые культивировала окружающая среда, все перевести в физическую сферу и то, что с ним происходило, списывал на последствия занятий боксом, куда он по молодости было нырнул, чтобы укрыться от бытовых недоброжелателей. Но недоброжелатели оказались вездесущими и хорошо держали удар. А про него раздраженные родственники, попавшие по его вине под колпак, потом говорили, что ему на ринге отбили всю голову. Отец его, питающий к сыну самые нежные чувства, вынужден был даже формально отказаться от «предателя и отщепенца», чтобы оградить от неприятностей всех остальных, и с этого момента их отношения держались в глубокой тайне и обставлялись предосторожностями в духе голливудских шпионских страстей.

Арик пробыв в отказниках долгих семь лет, подрабатывая (чаще — числясь), где придется, вплоть до традиционной котельной, ухитрившись при этом не выпасть из стремительного научного потока, постоянно мелькая то на конспиративных квартирах, помогая паковать багаж тем, кто уже получил отмашку из ОВИРа, то на престижных академических тусов-

ках, куда он проникал правдами и неправдами, бывало, что и под чужим именем, если иначе не получалось. То, что составляло суть его докторской диссертации, слава богу, не пропало зря. Он создал свою подпольную школу диссертантов, щедро делясь идеями и связями в нужных кругах, понятное дело, не бескорыстно. Незадачливые, но проницательные доценты и преподаватели университетских кафедр с отваливающею окраской, именно они оплатили его долгое сидение в отказе — зеленая, прагматическая поросль, сменившая отъезжающих романтиков. Дело это было сложное, рискованное, конспиративное и требовало много времени, ловкости и отваги.

Но был Арик очень мобилен и успевал еще сбегать на пруд в лефортовском парке, чтобы нырнуть в ледяную воду, размяться в спортзале со своим приятелем, катакомбным тренером по каратэ или с другим приятелем, уже известным киношником отсидеть несколько дней на закрытом просмотре заокеанских лент. В общем, загнав себя во внутреннюю эмиграцию, Арик вовсе не ощущал себя в качестве изгоя, напротив, не привязанный к службе, пребывал в эйфории, испытывая ни с чем не сравнимое, пьянящее чувство свободы.

Конторе, которая отслеживала все эти его резвые перемещения приходилось трудиться на полную катушку. У Арика никогда не было снобистского презрения к умственным способностям ее работников, которые иногда обнаруживались в образе странных, бомжоватых типов у него под окнами в кустах, а то и под видом участкового в их коммуналке, вдруг заинтересовавшегося развешанными по всей его комнате огромными черно-белыми фотографиями картин Сальвадора Дали переснятыми из парижского альбома, посвященного юбилею Поля Элюара... На одной из них была запечатлена спина сидящего на стуле Адольфа Гитлера с обозначенным пунктиром изящно выгнутом позвоночником, спина, которую сюрреалистичный каталонец, по его собственному признанию, находил чрезвычайно сексуальной. Еще больше удивили любопытного «мента» собственноручные, выполненные в примитивистской, намекающей на импрессионизм, манере картины хозяина комнаты — ряды монументальных полотен,

посвященных народной теме голого женского зада. Друзья и знакомые определили это направление живописи неофита, как «жопизм». Рядом гнездились еще пахнущие свежей краской офорты с силуэтами и лицами, снабженные пояснительными надписями и выдержками из Торы, в духе уже набирающего обороты в Москве концептуализма, долженствующие свидетельствовать об открывшемся религиозном чувстве, о мелочности всего земного, о том, что научная карьера — это последнее, что Арика сейчас волнует. Позже, при выезде экспертная комиссия половину полотен — числом пятьдесят, определила, как порнографию и запретила к вывозу, очевидно оберегая остатки нравственности загнивающего Запада, ко второй половине они отнеслись более снисходительно, воздержавшись объявлять их, однако, национальным достоянием.

Несколько раз, как это было принято, Контора для острастки науस्कивала на него милицию и тогда его на несколько суток засовывали в застенок за тунеядство. Там были люди грубые, в гимназиях не обучались и могли запросто отоварить по зубам.

К тому же приходилось постоянно держать уши на макушке, на допросах было видно, что дело его толстеет прямо на глазах, вопросы приобретали весомость, они все ближе подбирались к его тайне, каждая такая встреча могла закончиться катастрофой.

Не исключено, что легко мимикрирующие агенты кишели и среди романтически настроенных отказников, кучкующихся возле синагоги, где как бы образовался центр по сливу информации, большей частью типа ОБС. Внешне эта активность, совершенно не возможная в предшествующем десятилетии, выглядела очень волнительно. Один из свидетелей описывал ту обстановку торжественным хореем: «хороший был настрой, многообещающий, особенно насчет прошлого и будущего, учитывая неотступный присмотр недреманного чекистского ока». У них была своя, отработанная на нескольких поколениях совграждан, железная метода. Все соседи по коммунальной квартире дружно стучали на Арика в корявом народном стиле: «Считаю своим патриотическим долгом со-

общить...» еженедельно рапортуя о его высказываниях и посетителях. Рапорты сдавались куратору — атлетического вида выходцу с Кавказа, как раз начинавшему свою карьеру на Петровке 38, сожителю молодой, дородной работницы прилавка, обитавшей в ту пору рядом по коридору, через стенку от Арика. Однако, мент этот, неожиданно для всех, искренне привязался к Арику и за дружеской поляной в какой-нибудь шашлычной регулярно стучал ему в ответ о происках Конторы. Так что Арик держал в своих руках ниточку из расставленной сети и иногда подергивал ее для дезориентации охотников, что было особенно важно, учитывая его подпольную «просветительскую» деятельность и, в конечном счете, помогло избежать самого худшего. Нет, не перевелось еще товарищество на Руси!

Отбросив всякую конспирацию и занимательные ментовские игры, его незадолго до отъезда вызвали прямо на Лубянку. Мысленно он уже подготовил себя к роли страстотерпца — черт их знает, что они там накопили. Он уже поднабрался опыта поведения на допросах, знал, что ни в коем случае нельзя надеяться на авось, паниковать или давать волю эмоциям. Главное, заранее упаковать легенду в золотую обертку неопровержимых фактов. Было жутковато, все ж таки к тому времени у Арика уже две семьи образовалось и трое детей. Принимал его некий высокий чин, с лампасами. К его удивлению, все пошло по другому сценарию. И хотя кофиев с ним не распивали, но и не выбивали зубы, не лупили валенками по почкам, и не загоняли иголки под ногти. Напротив, вполне доброжелательно, прямо по-отечески, проявив потрясающую осведомленность во всех его семейных и бытовых обстоятельствах, посоветовали кончать бодягу с выездом, а заняться, наконец, устройством нормальной жизни, посулив немедленно устроить все лучшим образом, вплоть до отдельной трехкомнатной квартиры. Ого!.. Арику даже пообещали хлопотать собственную лабораторию, на что уж точно он не мог рассчитывать ни в какой Израилровке. Удивляло полное совпадение с убеждениями последнего русского царя, заплатившего за них своей жизнью в далекой уральской мухосрании:

— Нам нужны люди выдающиеся, остальные пусть уйдут, куда хотят, хоть в преисподнюю, хоть в Палестину.

Кормиться с таких рук Арику показалось запахло. Что-то подсказало ему линию поведения. Он впал в сомнамбулическое состояние и выдал отработанную увертюру «об открывшемся религиозном чувстве, о мелочности всего земного, о том, что научная карьера — это последнее, что его сейчас волнует». Арик нутром сообразил, что в глазах русского вертухая лучше прикинуться простаком.

Момент был критический. «Двойной агент» сообщил Арику не без тревоги, что бюджет на ведение его дела исчерпан, их приятельство уже перестало быть секретом и можно теперь ожидать всякого. Арик понял, что терять уже нечего и погнался за большой волной. Он начал открыто, прямо с коммунального телефона демонстративно обзванивать границу, призывая реальных и мнимых родственников дружно вступить за него. В коридоре на полный ор зазвучали ужасающие, запретные, приравненные к мату, слова: «Тель-Авив... Мельбурн... Нью-Йорк...».

К тому времени он уже фигурировал в списках, которые в нужный момент подсовывали самому Рейгану, что в конце концов и сработало.

В Италии Арику для начала предложили работать в недрах Пентагона — эмиссары последнего внимательно отслеживали пока еще робкое движение из империи зла через Вену и Рим на Запад. Дружок его в свое время не упустил такой фарт и до сих пор процветает под звездно-полосатым флагом. Но Арик твердо нацелился на Австралию, к счастью обретенным потомкам деда Меира. Он представлял эту страну, как девственно чистую, не замусоренную излишними новациями. Пепел первопроходцев, его современников — целинников стучал в его сердце. Он тоже успел наглотаться романтики в студенческих стройотрядах, добравшись до самого Сахалина, где его, кстати, показательно изгоняли из комсомола, в котором он, если по-честному, никогда и не состоял. Расчет на то, что в Австралии, в отличие от Европы или Штатов, нет толкучки на рынке научных идей, оправдался на все сто.

Мельбурн встретил его со всем возможным радушием. Тут все пошло в корзину — и его семилетнее героическое противостояние и экзотический профиль его научных занятий, да и то, наконец, что при таких стартовых данных другие-прочие обидно обходили Австралию и предпочитали осесть где-нибудь в Оттаве, Дюссельдорфе или Нью-Йорке. Хотя страна в научных лидерах не числилась, Мельбурн считался университетским городом вполне в духе старой, доброй Англии. Это внушало надежду и Арик, обласканный поначалу нарочитым вниманием, естественно бросил якорь на кафедре физики ведущего вуза, питая честолюбивые планы вытащить местную науку из захолустья. И, действительно, он сразу же проявил непоседливость и прыть, так что через несколько лет в Патентном Бюро оказалось больше двух десятков его заявок, едва ли не столько же, сколько от всех других изыскателей по его профилю на континенте. Он стал безусловным монополистом во всем, что касалось совместного применения слов «голография» и «контроль», то есть первая цель была достигнута. Но со временем выяснилось и кое-что другое, более прозаическое. Работа на кафедре оказалась скорее почетной, чем ценной, а попросту нищенски оплачиваемой и вероятность когда-нибудь в будущем занять профессорское место не многое меняло, да и возраст поджимал. Все-таки потеряны были годы и годы. Грустная реальность, по обыкновению, явила свою козью морду.

И тогда Арик сделал очередной резвый ход. Он решительно ушел в бизнес, создав свою консультативную фирму «Спекл», нацеленную, прежде всего, на проталкивание секретных достижений разваливающегося российского военно-промышленного комплекса на местный базар. Должно же было принести хоть какую-то пользу то, за что его семь годочков (сакральная цифра, мы еще о ней вспомним!) держали на цепи.

Вернувшись в Москву через два года после отъезда уже австралийцем в законе, у которого на визитной карточке латиницей гордо красовалось: «Доктор...» он обнаружил, что там только об этом и мечтают.

Российский интеллект, в одночасье отданный во власть рыночной стихии и криминала решительно менял масть, не брезгуя никакой новой ролью. Это было горячее времечко. За пару-тройку первых лет существования через фирму «Спекл» и ее филиалы, возникающие, как грибы после дождя по обе стороны рухнувшего железного занавеса прокатились представители дюжины самых крутых брендов советской эпохи: генералов и маршалов от науки — от президента Российской Академии Наук, и председателя комитета по космической Связи до вышколенных и вылощенных хлопцев из бывшего суперэлитного Внешторга. С их подачи фирма обзавелась уникальным, не виданным до того в Австралии оборудованием хайтека: лазерами-шмазерами и мощными телескопами штучного производства российских сверхсекретных СКБ, вышла с услугами стереоскопического кино и космической связи и укрепила монополию в области голографического неразрушающего контроля.

Но брак русской науки с Австралией в целом не состоялся. Невеста оказалась не только переборчивой, но и себе на уме. Те, у кого в руках были деньги, легко раздавали только улыбки на разорительных презентациях с неременной черной икрой и смирновской водкой. Да и конкуренты не дремали — местные влиятельные круги оказались глубоко законспирированы, защищены от опасного чужого проникновения кучей протекционистских законов и юридических крючков. Так что никто и никогда не узнает, какие возможности были упущены в тот короткий момент, когда можно было на халяву хлебнуть из большой русской лохани. Особенно ревниво за деятельность Арика в стране наблюдала бывшая в той же теме австралийская контора «Эталон».

Тем не менее, через десять лет фирма «Спекл» невероятным кульбитом была допущена к конкурсу на участие в проекте века — самом крупном военном мероприятии Австралии за всю ее историю и выиграла тендер у крупнейших и влиятельных (что гораздо важнее) корпораций.

Армия на пятом континенте не велика. В последние пятьдесят тысяч лет здесь не было ни одной серьезной войны

(японцы, правда, жестоко бомбили Северные Территории, что было, то было). До сентября 2001 воинский контингент включал в себя всего-то около 25 тысяч человек, хотя страна Австралия заслуженно слыла большой забиякой и непременно стояла рядом с Америкой во всех послевоенных конфликтах. С началом антикрестового похода магометан против Запада, несмотря на отчаянное сопротивление собственных пофигистов, армию увеличили аж в два раза. В конце девяностых уже как-то не хорошо вспомнили о соседях — двухсотмиллионной, вооруженной до зубов, все более исламизирующейся Индонезии, откуда уже в течение многих лет не прерывается все уплотняющийся поток нелегальных и не толерантных мигрантов — головная боль каждого австралийского правительства.

После долгих парламентских дебатов и консультаций с милым заокеанским дружкой Австралия решила раскошиться и построить для защиты западных границ аж шесть современных дизельно-электрических субмарин. Сумма на это из кошелька налогоплательщиков была выделена соответствующая — три с половиной миллиарда отечественных долларов, каждый из которых в то время не уступал американскому. Вообще-то такого класса субмарины можно было приобрести буквально за углом, на толкучке, новенькие и с пятилетней гарантией за сумму ровно в пять раз меньшую. Но, как говорил бессмертный Киса Воробьянинов, торг здесь не уместен. Государственный размах, как никак — целый подводный флот, не баран чихнул, можно сказать, национальная реликвия, икона, душевная вещь. Ну, решили изготавливать сами — это был сильный ход — и люди будут заняты и отрасль новая освоена и деньги внутрь страны потекут, а не к чужому дяде в карман. В общем, «Хотели, как лучше...»

Тендерный Проект закупили в Швеции, а главным субподрядчиком и исполнителем стала полугосударственная корпорация «Субмарина», для этой цели и созданная.

Как русские технологии «Спекла» попали на конкурс рядом с любимыми американскими и природно австралийскими, в этом есть главный вопрос, на который и сегодня нет от-

вета. Факт беспрецедентный. И самому Арику небезынтересно узнать, почему именно еврейскому парню из нашего города доверили исследовать остаточные напряжения в сварных корпусах боевых подлодок — это из области очевидное-невероятное. Конечно, Арик был тогда единственным в стране человеком, кто уже делал когда-то такого рода работы, плюс возможность открывать ногами двери в русскую науку, известную своим патологическим пристрастием к этим устрашающим монстрам, плюс рекомендации от самого могущественного на пятом континенте металлургического концерна, с которым он удачно и выгодно в то время сотрудничал.

Но всего этого было не достаточно, чтобы оттеснить других, родных, стоящих неизмеримо ближе к кормушке. Остается лишь догадка, что авторы проекта были патриотично возбуждены и старались избежать прокола любыми возможными способами. Однако, первый блин с неизбежностью вышел комом и произошло то, что произошло.

И не удивительно. Опыта изготовления «боченочков» высотой под десять метров и длиной в восемьдесят из броневой стали толщиной в ладонь ни у кого в стране не было и в помине. Ничего даже и подобного. Ну разве что котлов для электростанций и резервуаров, в которых хранят нефтепродукты. Такой опыт был. Что да, то да. Так ведь это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Где котел, а где субмарина. Но это не сразу выплыло. Лодка кроилась и варилась из громадных стальных листов. Нужна была технологическая культура, многолетняя школа, если хотите. Хорошего портного сразу видно по качеству швов. Сварить нужно было так искусно, чтобы не возникло значительных концентраций остаточных напряжений ни продольных, ни поперечных, чтобы листы не коробились и не наезжали друг на друга. Корпус лодки должен иметь идеальную, дельфинообразную геометрию — это ее не эстетическая, а боевая характеристика. Легче сто раз блоху подковать.

Арик в свое время создал и несколько лет вел голографическую лабораторию при металлургическом институте в Москве — сам нагрел себе место для работы над диссертацией.

Приходилось ему тогда оценивать и качество сотовых панелей бомбардировщиков и остаточных напряжений корпусов подлодок на ленинградской верфи. Был такой неоценимый опыт, приумноженный уже в Австралии практикой контроля многотонных валков прокатных станов на заводах Би-Эйч-Пи.

Сложности начались с первых же дней работы. Сотрудников Арика на военный завод в Аделаиде не допустили:

— Нам не надо лишних людей. Для рутинных работ у нас есть собственные профессионалы. Они свое дело знают.

Толку от этих «профессионалов» было мало, но любопытствовали они не хуже папарацци. Так что пришлось Арику крутиться там самому. Да еще обучать заводскую техническую головку, чтобы въехали в русскую технологию и манеру работы. Ему не надо было ничего изобретать. Он воссоздал в своей лаборатории дизайн в полном соответствии с хорошо знакомыми ему требованиями советского Госстандарта, исследовал на стендах образцы, апробировал свою методику и протестировал, то есть определил систему мер будущих результатов. Все это, вместе с мастерклассом для ведущих специалистов заказчика — они несколько раз приезжали к нему в Мельбурн, подолгу сидели, оценивали, осматривали и ощупывали — заняло около трех месяцев. За этот время на стапеле в Аделаиде развернулись поэтапно работы сразу над тремя лодками. Он завез туда лазеры и голографическую аппаратуру для съемок и утвердил календарный план работ. Арик приезжал в Аделаиду обычно в начале недели и проводил на заводе несколько дней, занимаясь измерениями до позднего вечера. Потом отвозил результаты к себе в Мельбурн для компьютерной обработки и оформления промежуточных отчетов. Аппаратура позволяла вести одновременное измерение остаточных напряжений сразу тремя голокамерами на площади диаметром около пяти метров. Никакие другие способы, будь то электрические, ультразвуковые или магнитные такого и близко не позволяли. Первые же построенные графики и эпюры показали, что не все в порядке в Датском королевстве. Отсутствие опыта сказалось самым неприятным образом. Под воздействием чудовищных остаточных напряжений в свар-

ных сочленениях огромное бронированное корыто морщи-лось, как стиральная доска. Отклонения геометрии на гигант-ских поверхностях иногда достигали нескольких миллимет-ров, для этого не обязательно даже надо было обращаться к голографии, они обнаруживались и менее чувствительным муаром, который многие замечали по бегущим теням на тю-левых занавесках в обычном свете. Арик регулярно сдавал эти тревожные отчеты, но, тем не менее, отношение к нему веду-щих специалистов оставалось неизменно доброжелательным, как будто все идет как надо. Иногда они даже сами принимали участие в испытаниях, так что могли убедиться, что он ника-ких карт в рукава не прячет. Ну и ладушки. Их собственная лаборатория и несколько подвизающихся подрядчиков тоже производили какие-то замеры состояния сварных швов — те отчеты неизменно были более благоприятны. По просьбе ру-ководства Арик проверил как-то своим манером и состояние трубных коммуникаций на одной из лодок — этих труб внут-ри лодки проложены многие километры. Результаты тоже были не утешительные. Но здесь реакцию он увидел сразу. Его даже похвалили, а трубы вырезали, так они потом и лежа-ли на внешнем стапеле, пятная эстетику строго выверенного воинственного ландшафта. Измерения на трех первых субма-ринах продолжалось в течение полугода. Наконец, была по-ставлена жирная точка. Он сдал отчет, в который, как честный человек, включил рекомендации, как в течение последующих семи лет ремонтировать лодки, разгружая законсервирован-ные напряжения в корпусах с помощью индукционных нагре-вателей и прочих экзотичностей.

Сбросив груз многомесячных забот, Арик зашел перете-реть вопросы проплаты с ведущим специалистом по свар-ке — вся его работа практически осуществлялась через этого человека. От него многое зависело. Главный Сварщик был профессионалом и прагматиком и, хотя к идее использова-ния русских технологий изначально относился скептически, все, что касалось лично его, делал очень добросовестно. Лед недоверия давно растаял и между ними, как казалось, сло-жились вполне дружеские отношения. Момент был очень

важный. Объем работ согласовывали заранее и по каждой лодке его оценка тянула на сто пятьдесят тысяч баксов. И теперь осталось только получить свои пол лимона на блюдечке с голубой каемочкой.

Обстановка была вполне располагающая. Главный Сварщик принял Арика радушно, предложил чашечку кофе и обещал все оформить без проволочек. Предстояла еще презентация результатов управляющему фирмы, Генеральному Директору Фрицу Мюллеру.

Они до сих пор не были представлены друг другу, хотя уже больше полугода работали в одном проекте и на одной площадке. Впрочем, Арику было доподлинно известно, что тот очень даже знает о его существовании. Был, был у основателя фирмы «Спекл» в руках о-ч-чень интересный документик. Дело в том, что есть в Австралии одна священная корова, которая, как жена Цезаря, стоит вне подозрений государственных институтов и денежных мешков. Это — налоговая служба, которая с одинаковой бесцеремонностью может залезть и в кошелек министра и в дырявый карман сезонного работника. Но и на старуху, как известно, бывает проруха. И вот цветет и здравствует некая солидная фирма и совершенно легально и за б-о-ольшие деньги учит, как облапошить всесильных и опасных налоговиков. Из того документика следует, что эта солидная фирма очень интересуется за налоговые льготы и, представьте, большие льготы концерну «Субмарина», имея на уме продвинутые инновации «Спекла». Вне сомнения, генеральный директор очень тесно общался с инициаторами такой многообещающей операции. Тем не менее, Арик ощущал некоторый холодок беспокойства. Оно и понятно. Все-таки результаты испытаний не вдохновляли, с этим надо было что-то делать. С другой стороны, он ведь только эксперт, не более того. Но какая-то реакция должна быть и это слегка тревожило.

И реакция последовала незамедлительно. К генеральному даже не потребовалось идти на прием. Он пришел сам. Выскочил, как черт из табакерки, распахнул дверь и вошел в кабинет.

Это было что-то. Арик впервые вживую видел отпрыска нацистских беженцев, укравшихся в Австралии после войны от разгневанных победителей. Они осели тогда в Аделаиде и основали крепкую и очень влиятельную колонию, это одна из австралийских реалий. И Арик об этом знал.

Он с любопытством рассматривал высокого, белобрысого, стройного арийца в черном из блестящей кожи, длинном пальто, со стальными глазами, не выражающими ничего, кроме холодного безразличия. Не хватало только фуражки с паучьей кокардой. Тот обошел вокруг Арика два раза, не сказав ни слова, не поздоровавшись, не кивнув, устремив все свое внимание на вызывающе семитский нос и так же молча и стремительно, вышел из комнаты, захлопнув дверь. Это было настолько неожиданно и демонстративно, что повергло Арика в шоковое состояние. Ничего подобного он не ожидал и нутром почувствовал приближение больших неприятностей. Ему невольно вспомнилось описание встречи композитора Хачатуряна с Сальвадором Дали. Не хватало только китайской вазы, в которую опорожнил тогда свое недоумение разгневанный музыкант. Несколько минут в комнате стояло молчание. Хозяин кабинета был поставлен в неловкое положение, но сказывалась чопорная английская выучка. Он, как мог, успокоил Арика:

— Брось, не расстраивайся, это просто недоразумение. Завтра все устаканится.

Назавтра они едва не столкнулись с Генеральным на пирсе. Фриц Мюллер обогнал их по пути в заводоуправление, снова не выделив из своего организма ни грана внимания. Главный Сварщик окликнул его перед входом в офис:

— Мистер Мюллер, я хочу представить Вам Доктора. Он проводил исследования наших лодок с помощью голографии.

Фриц, не оборачиваясь, с насмешкой бросил:

— Тот, который составил план на семь лет? План на 7 лет?.. У меня нет времени.

И скрылся за дверью.

Число семь, похоже, действовало на него самым непредсказуемым образом.

Арик прокручивал возможные ассоциации: семисвечник, семь лет войны, семь тучных коров, семь лет сиденья в отказе...

Спутник Арика развел руками:

— Здесь я бессилён. Я не понимаю, что происходит. Похоже, он не хочет тебе платить.

Ситуация действительно показалась Арику за пределами здравого смысла и невольно наталкивала на мысли:

— Что такое? Ему что, не нравится мой шнобель? Мы где находимся? Или Австралия уже не свободная страна и любой окопавшийся расист может творить, что ему вздумается. Да я целый год пахал как папа Карло, я приостановил все другие работы и хочу получить свои честно заработанные бабки.

Арик тут же позвонил Начальнику Производства, которому Главный Сварщик передавал его отчеты по испытаниям и пожаловался, что в нарушение всех договоренностей происходит какая-то фигня с оплатой. Живой, импульсивный галл, приглашенный на эту должность с министерским окладом, был полон участия:

— Не бери дурного в голову, Арик. Разберемся. Я видел твои счета, там все о'кей. Чтобы ты сильно не волновался, я сейчас, прямо не сходя с места, выписываю тебе чек на двадцать тысяч и передаю в бухгалтерию. Завтра сможешь получить. А с понедельника начнем проплачивать по полной программе. Это может занять некоторое время — у фирмы свои проблемы, но это тебя не касается.

Дело было в четверг, вечером Арик уехал к себе домой, а в пятницу позвонил в бухгалтерию, чтобы удостовериться, выпонил ли француз свое обещание. Там подтвердили:

— Да, чек такой поступил, но звонил директор Фриц Мюллер и сказал, чтобы мы вам ничего не платили.

Последовал еще один разговор с Начальником Производства, после которого тот лично поспешил бегом спуститься в финотдел и оформить все под свою ответственность — пока не поступил письменный приказ от Хозяина. Эти деньги через несколько дней пришли — то, чем, в конечном счете, расплатились с Ариком за девять месяцев интенсивной работы.

В понедельник он, на всякий случай сделал еще один звонок Главному Сварщику и тут ждал его удар:

— Арик, я должен тебя сильно расстроить: Фриц сказал, что ничего тебе платить не собирается.

Как говорится, приехали. Арик посидел, подумал, укрепился духовно и про себя решил: «Ну, погодите. Будет вам еще гусик с пусиком, не на того нарвались».

Прошерстив мысленно список людей, которые были ознакомлены с проектом, он связался с приемной Министра Военной Промышленности, мисс Хардт и попросил, чтобы ей передали его просьбу о встрече, что у него есть для нее очень важная и конфиденциальная информация. В приемной ответили, что у них так не принято, и он может все, что хочет, передать по факсу, и она сама решит, нужна ли ей эта встреча. Единственным трофеем этого разговора был номер факса.

Он еще раз тщательно просмотрел все отчеты, убедился в железобетонности выводов и в четверг еще раз связался с Начальником Производства, но тот подтвердил только, что в обход закусившего удила Фрица оплату производить не сможет. Такие крупные счета подписывает только директор. Арик сделал еще попытку избежать крупного скандала:

— Вы же понимаете, я не могу так просто отказаться от проделанной работы, я приму свои меры и это может быть не очень хорошо для репутации фирмы.

— Ну, что ж. Это ваше право. Я согласен, Фриц поступает по-хамски, но, к сожалению, его слово последнее.

Тогда Арик сочинил документ, который сработал, как спусковой крючок для одного из самых скандальных процессов в австралийской истории, который, тем не менее, остался глубоко законспирированным.

Он начал с того, что охарактеризовал выполненную фирмой «Субмарина» работу, как высокооплаченный брак. Он привел убедительные результаты своих исследований и сравнил с действующими нормами. Он писал, что его прежний опыт позволяет сделать вывод об очень серьезных отклонениях, позволяющих сомневаться в эксплуатационной

пригодности лодок. Однако, его результаты, полученные способом, ранее в Австралии не известным, игнорируются, и ему в отместку отказываются оплачивать заранее согласованный объем работ и услуг. Он еще раз подчеркнул, что его функции были лишь контрольные и с самим производством никак не связаны. И затем воспользовался добытым номером факса.

Это было похоже на донос. Но и с ним поступали не лучшим образом, так что входило так на так.

Потом была пятница, шаббат.

В понедельник он пришел к себе в офис и начал приводить в порядок бумаги.

Неожиданно, прямо с утра, появился курьер с протезом вместо руки и, перемещаясь как-то боком — все это напоминало завязку спектакля совершено в духе Гофмана — вручил здоровенный пакет под роспись, две папки, каждая листов по 250. На первом листе было написано, что компания «Субмарина» начинает процесс против Доктора лично и против компании «Спекл» по обвинению в разглашении особо конфиденциальной информации, согласно указанным пунктам заключенного ранее контракта. Одновременно с разницей в несколько минут такой же пакет поступил на имя руководства фирмы.

На этих двух с половиной сотнях листов были зафиксированы все мельчайшие телодвижения между двумя организациями, все протоколы совещаний, планы работ, презентаций, включая весь предварительный период до получения тендера на эксклюзивное право неразрушающего контроля корпусов подводок. Эти бумаги свидетельствовали, что Доктор и его контора в течение длительного времени имели доступ к секретной информации, которую он, якобы, преступно и предательски слил, обратившись напрямую в канцелярию военного ведомства.

В контракте действительно существовал пункт о конфиденциальности, запрещающей Доктору обсуждать вопросы, касающиеся подводных лодок с кем бы то ни было. Арику, естественно, было невдомек, что «с кем бы то ни было»

может распространяться на Министра Военной Промышленности, учитывая, что она сама и заключала контракт века с фирмой «Субмарина».

Ему предлагалось немедленно по получении бумаг явиться в здание федерального суда. Прихватив с собой один комплект папок, он отправился на встречу судьбе. Его встретил молодой интеллигентный человек в пенсне и с ухоженной бородкой а ля присяжный поверенный В.И. Ульянов. Он представился, как член коллегии адвокатов — позже выяснилось, еще и один из самых преуспевающих — и с места в карьер подкупающе демократично заявил:

— Ну, что Арик, давай подписывай бумаги, что ты согласен со всеми предъявленными обвинениями, дело тут совершенно ясное, чтобы не доводить его до суда. А мы обещаем постараться, чтобы ты пострадал наименьшим образом. У нас нет намерения засунуть тебя в тюрьму. Но реакция на поданный иск должна быть. Здесь нет состава уголовного преступления, но есть очевидный факт нарушения конфиденциальности.

Не чувствуя за собой никакой вины, Арик вдруг почувствовал себя в так хорошо знакомой ему роли диссидента и перешел в атаку:

— Я, во-первых — не согласен, во-вторых — ничего не подпишу. Меня семь лет держали в отказе, я пережил такие проблемы в Советском Союзе, какие вам и не снились, да у меня просто в голове не укладывается, что здесь может происходить что-то подобное. Я имею совсем другое представление о случившемся, прямо противоположное. И думаю, его не трудно будет защитить в суде.

Он видел, что огласки они не очень-то хотят и этого не скрывают. Так, может быть, наоборот, раздуть шумиху? В этот момент раздался звонок. Адвокат взял трубку и как-то повоенному почтительно выпрямился:

— Да, он находится у меня, — и передал трубку Арику. Какой-то важный человек на другом конце провода напористо, не допуская возражения тоном произнес:

— Я думаю, вам разъяснили ситуацию. Это не уголовное преступление, то, что вы совершили. Тем не менее, вы нарушили существующие нормы, вы нарушили секретность в области, касающейся безопасности страны и должны отвечать. Мы будем приходить с вами к какому-то наименьшему для сторон ущербу.

— Простите, с кем я разговариваю?

— Это представитель генерального прокурора Австралии. Человек, у которого вы находитесь, специально направлен нами, чтобы максимально защитить ваши интересы.

— Вы знаете, я не согласен с такой постановкой вопроса. Я не вижу своей вины в том, что раскрыл глаза самому заинтересованному лицу на реальное положение дел. Я готов судиться и буду судиться до последнего.

Адвокат недоуменно развел руками и положил трубку.

— Ну, знаете, Арик, все это выглядит крайне неразумно, просто по-детски. Вы хоть представляете, с кем собираетесь судиться? Корпорация «Субмарина» — это практически министерство обороны. Они замыкаются прямо на Генерального Прокурора. Вы что, собираетесь выступать в суде против государства Австралия? При таком несомненном доказательстве вины? Это не серьезно. Мне кажется, вы не вполне понимаете, ни кто вас обвиняет, ни в чем. Я бы на вашем месте не упирался. Моя задача не напугать, а разъяснить вам все, чтобы не раздувать из спички пожар. Мы все и вы, в том числе, в этом абсолютно не заинтересованы. Меня уполномочило правительство Мельбурна выполнить это деликатное поручение. Вы подписываете вот эту бумагу, что согласны с предъявленными обвинениями, и я готов защищать ваши интересы. Поверьте, что это немало.

Адвокат еще не врубился, с кем имеет дело. Надо было поинтересоваться историей, хоть немного представлять, кто вломил фрицам под Сталинградом. Папа Арика, кстати, принимал в этом участие. Нос, конечно, выдавал обвиняемого с головой, но школа-то была русской.

— Нет, я ничего подписывать не буду, никакой вины за собой я не чувствую. Не может быть, чтобы министр оборон-

ной промышленности был посторонним в этом проекте. Никакой суд этого не признает. Она была главным заказчиком, сама назначала исполнителей и кураторов. Я заранее поинтересовался, перед тем, как ей направить факс. Я считаю, что поступил, как честный австралийский гражданин и готов эту свою позицию отстаивать.

— Ну что ж, в таком случае здесь есть еще несколько бумаг, которые мы с вами должны обсудить. Но время к обеду.

Адвокат поднялся и взял в руки солидную, богато выделанную папку. «Интересно — подумал Арик — что он там еще заготовил?». У него мелькнула мысль:

— Знаете, у меня есть другое предложение. Я вижу, вам это дело доставляет массу неудобств. И вы настроены совсем не так, как я хотел бы. Совсем не так. Так что лучше отдайте мне все эти бумаги, я буду сам себя защищать.

Перспектива, чтобы какой-то ушлый стряпчий получил доступ к его делам, ему вовсе не улыбалась. Кроме того, у него и средств-то не было, чтобы оплачивать такого монстра. Никто даже не подозревал, насколько в стесненных обстоятельствах он оказался, сделав ставку на эту работу. Он заранее выяснил у секретарши, что оплата визита в этот кабинет начинается от ста пятидесяти баксов.

— Хорошо, давайте встретимся после перерыва. Вы еще подумайте. В любом случае, у нас есть еще, о чем поговорить.

Арик вышел, прошелся по парку, зашел в кафе, заглянул еще в банк и взял наличные деньги. Потом вернулся обратно. Теперь уже разговор происходил в приемной. Там была такая специальная комната для посетителей.

— Ну что, вы не передумали?

— Вы знаете, нет. Вы просто меня не понимаете. Я и в Советском Союзе стоял до конца, там против меня была целая империя, оплот мирового Зла. Семь лет держал оборону. Как видите, выстоял. Что я, какое-то страшное преступление совершил? Не застрелите же вы меня прямо здесь. Вам проще будет отдать мне это дело. Я готов оплатить мой приход к вам, как за консультацию.

Адвокат вызвал секретаршу и ушел. Арик передал ей деньги, те самые сто пятьдесят долларов. Она выдала ему расписку. Потом попросила подождать, зашла к шефу и вернулась с уже знакомой Арику папкой бумаг.

В этих бумагах, которые в точности повторяли то, что он получил с нарочным, было еще расписание судебных заседаний, список лиц, участвующих в процессе, очередность подачи документов, все процедуры, инструкции и т.д. и, главное, телефоны всех заинтересованных лиц и учреждений, всего страниц пятьдесят. Это был дорогой подарок. Обладая такой обширной информацией, он позвонил в суд и выяснил время первого слушания. Там поинтересовались, кто будет представлять его интересы. Для Арика этот вопрос не стоял.

Слушания проходили в здании верховного суда в Аделаиде. На первое слушание он приехал с утра пораньше и сразу пошел в библиотеку, пошерстить там юридические документы, чтобы сориентироваться. Там он довольно быстро докопался, что в отдельных случаях интересы компании может представлять в качестве адвоката руководитель фирмы, такая возможность заранее оговаривается в учредительских документах. И, что самое важное, он нашел конкретный прецедент, когда фирму защищал ее представитель, поскольку вопрос касался технических деталей, суть которых обычный адвокат не улавливал.

На первом заседании присутствовал судья, как полагается, в парике и в судейской мантии, секретарь, адвокат фирмы «Субмарина», расположившийся слева от судьи и Арик, занявший место справа.

Заседание началось с заявления адвоката противной стороны.

— Доктор не имеет права выступать в качестве защитника самого себя и возглавляемой им фирмы «Спекл». По нашим сведениям, он отказался от услуг профессионального адвоката. Незнание законов и процедуры не оправдывает ответчика, и мы вносим предложение на основании этого назначить ему официального юриста для ведения процесса.

— Протест принимается. Доктор, что вы можете сказать по этому поводу?

На этом все могло и закончиться, но Арик не зря провел утро в библиотеке:

— Я возражаю, Ваша Честь. На основании законов штата Южная Австралия, в соответствии с отмеченными мной параграфами, я имею право защищать свою фирму и себя лично в вопросах, связанных со специфической профессиональной деятельностью. Вот есть решение Совета Директоров фирмы «Спекл» о назначении меня постоянным юристом и представителем фирмы, составленное еще до начала работ и есть отмеченный мною прецедент в Законодательстве Штата.

Когда бумаги после судьи легли на стол к адвокату противника, вид у него был совершенно обескураженный. Такого поворота он явно не ожидал.

Судья вынес вердикт:

— На основании предъявленных документов по юридическому праву Южной Австралии я разрешаю Доктору защищать самого себя и интересы фирмы «Спекл».

Молоток опустился. Первый раунд был выигран.

На этом предварительное слушание закончилось. Адвокат сразу стал нервно звонить в какие-то инстанции, а потом подошел к Арику:

— Вы поймите, вы же не профессионал, а собираетесь вести дело, которое не каждому юристу по плечу. Это не просто соревнование умов, это большая специфическая работа, связанная с оформлением массы документов на каждом этапе, с обязательным соблюдением правил, ритуалов, если хотите, о которых вы понятия не имеете. Адвокаты — это каста, закрытое общество, живущее и действующее по своим правилам. Вы дилетант и не сможете со всем этим справиться. Это просто смешно.

— Вот как. Я вас так рассмешил сегодня? Мне так не показалось.

В дальнейшем все заседания проходили в присутствии двух адвокатов противной стороны — солиситора, который готовил все необходимые бумаги и барристера, за кем оставалось право высказывать квалифицированное мнение.

В тот вечер Арик уехал назад в Мельбурн и уже на месте получил целый ворох бумаг с грифом: «О деле Доктора и компании “Спекл”». Там была расписана вся процедура ведения процесса, что было очень кстати. Теперь у него в руках оказалось то, к чему имеют доступ только адвокаты: ритуал, которому он должен следовать, когда и какие документы оформлять — в каком случае, в каком объеме и порядке. Какие его ожидают разборки и в какие сроки.

Теперь он во всех подробностях знал, что нужно готовить к каждому заседанию.

Их в течение процесса было десять с промежутком от двух недель до месяца.

Уже ко второму рабочему заседанию требовался полный отчет о работе фирмы за все время ее существования — о контрактах, о финансовом состоянии и пр. и пр. В общем, не хило.

Симметрично он в роли солиситора получил огромное количество документов такого же рода от фирмы-истца, т.е. потерпевшей «Субмарины». Оч-ч-ень любопытные бумаги. Вот когда он почувствовал реальное, а не высосанное из пальца соприкосновение с тайной. Те бумаги его потрясли. Там фигурировало огромное количество субподрядчиков и страховых компаний, куда ушла гигантская часть тех самых трех миллиардов, отпущенных на проект. Он начал догадываться, куда ушла разница между сложившейся стоимостью субмарин на мировом рынке и суммой, отпущенной на проект. Одна страховка Проекта в какой-то зачуханной сингапурской конторе составила 300 миллионов. Среди директоров фирм субподрядчиков из юго-восточной Азии мелькали очень интересные фамилии. На некоторых документах стояла подпись лидера оппозиции федерального парламента. Он, как оказалось, был главным толкачом проекта. Из документов следовало, что решение о строительстве лодок принималось много лет назад. Пока крутилась бюрократическая машина, сами лодки безнадежно устаревали. Там же были заключения специалистов касающиеся состояния корпусов лодок из упомянутой конкурирующей фирмы «Эталон».

Кстати, исключительно положительные. Как говорится, не верь глазам своим. Да, эти ребята оказались гораздо сговорчивее его, и, наверное, не бесплатно. Становилось понятно желание вывести его из игры.

На следующем заседании слушалось дело о нарушении конфиденциальности. Арик снова и снова настаивал, что Министр Оборонной Промышленности по определению является участником Проекта и обращение к ней не может квалифицироваться, как разглашение закрытой информации. Но суд потребовал письменных доказательств этого, так как из представленных бумаг такого заключения, якобы, вовсе не происходило. Еще несколько заседаний прошло в таком же духе. Ни у одной стороны не было какого-то одного неотразимого аргумента.

До Арика начало доходить, что здесь проблема в разнице укоренившихся представлений. По австралийским меркам министр в области обороны вполне может быть вообще не компетентный в технике гражданский человек, он дирижер денежных потоков, не более, и тесное вовлечение его в проект вовсе не обязательно. В таком случае дело его швах, не известно, как обернется. Но ведь лодка-то старая, об этом говорила вся документация, имеющаяся в его распоряжении. Но это надо убедительно доказать. Он знал, что подобного класса лодки Россия давно уже выставила на мировой рынок и рада продать их любому, кто согласен за них платить. Не имей сто рублей, а имей сто друзей, особенно в Москве. Не зря же столько их высаживалось на австралийской земле, имея в портфеле командировочные предписания на фирму «Спекл». В Мельбурне как раз проходил ежегодный авиасалон. Он поехал на шоу в Джилонг и в Русском павильоне забрал переданные для него папки со спецификацией и чертежами корпуса серийной российской субмарины.

На очередном заседании истец часа полтора рассказывал и объяснял, какой огромный ущерб нанес Доктор их конторе, и уже начали вырисовываться контуры этого ущерба, способные с лихвой перекрыть их небольшой должок в полмиллиона, на что Доктор возразил, что все обвинения держатся на

предполагаемом разглашении секрета, которого на самом деле изначально не существовало. Поскольку речь идет только о корпусе, а с другими элементами Доктор, как известно, не соприкасался, то необходимо принять во внимание, что все, касающееся корпуса или технологии его изготовления, давно уже секретом не является. Все подобные лодки имеют совершенно идентичные конструктивные элементы и на мировом рынке эта документация предоставляется каждому, кто только намеревается их приобрести. В качестве доказательства Арик выложил перед ошарашенным судьей чертежи рутинной российской субмарины, предлагаемой странам третьего мира.

С этого момента атмосфера суда резко изменилась и все дальнейшие заседания были сосредоточены уже на том, какая часть секрета Полишинеля, стоившего налогоплательщикам лишних два миллиарда принадлежит фирме «Субмарина», чтобы оценить ее в реальных тугриках. Эта гипотетическая оценка чем дальше, тем больше вязла в технических деталях, в которых Доктор чувствовал себя, как рыба в воде, а солиситор и барристер, пекущиеся об интересах «Субмарины», лишь вяло булькались. Конкретные претензии начали опадать, как сухие листья. Корпорация явно проигрывала процесс, который тянулся уже около года. Неожиданно Арик получил официальное извещение от корпорации, что они готовы снять все претензии и закончить дело миром.

С одной стороны, это было хорошо, можно было даже чувствовать себя победителем, но полмиллиона уплывали в безвозвратную даль. Это как-то напрягало.

И тогда Арик кое-что придумал. Через девять месяцев после начала процесса у него вызрела идея симметрично обвинить «Субмарину» по той же схеме разглашения секретов партнера, т.е. фирмы «Спекл». Это был неожиданный и сильный ход.

Ахашвейрош приказал повесить Амана и разрешил иудеям защищаться от врагов 13 ада. В итоге день скорби чудесным образом превратился в день спасения.

Перед началом очередного слушания он зашел в секретариат и подал иск против корпорации «Субмарина» за разглашение его конфиденциальной информации, то есть той методики голографического контроля, которой он пользовался, апробированной им еще в России на подводных лодках и на которую у него имелся патент. Из документов, которые он получил, как сам себе адвокат, неприятно выяснилось, что эта методика широко обсуждалась с представителями разных фирм, в том числе с конкурентами из «Эталона», которые к тому времени относились к Арику враждебно, всячески порочили его выводы и методику и в то же время оценивали качество корпусов подлодок в самом хвалебном тоне. Арик оценил ущерб от разглашения его секретов в один миллион.

Такой поворот обещал очень интересное и волнительное продолжение. Но у других участников этого занимательного спектакля были свои планы.

Во время перерыва Арика подозвал сам «товарищ генерального прокурора», присутствующий на этом заседании. Он высказался о работе и вкладе Арика в австралийскую науку очень одобрительно, извинился от имени правительства, признав их неправоту, и неожиданно предложил:

— Я вам советую, Доктор, больше никаких дел против «Субмарины» не затевать. Фирма практически обанкротилась. Они выбрали весь лимит на исследовательские работы. Это с вами никак не связано, тут другие дела. Денег у них нет, и получить с них вы ничего не сможете. Можете поверить моему прокурорскому слову. Это строго конфиденциально.

— Да, но я несу огромные убытки. Мало того, что я год потратил на исследования, за которые не получил ни копейки. Я заморозил все другие проекты. Кроме того, у меня перекрыли все счета, вы же знаете. Практически два года я ничего не зарабатываю. У меня известная фирма, но мои сотрудники не получают зарплату и теряют квалификацию. Я доказал в суде свою полную компетентность, пытаюсь предотвратить крупную государственную ошибку и вот, сижу на мели.

— Тем не менее, с них вам ничего не удастся получить. Не забывайте, что они согласны, как проигравшая сторона, оплатить все судебные издержки. А они не маленькие, уверяю вас.

— Хорошо, пусть они заплатят мне хотя бы сто тысяч. Это ничтожная сумма за потерянные два года, из которых один год я пахал, как эксперт, а второй, как адвокат. Не мне вам говорить, сколько такая работа стоит.

— Нет, сто тысяч они не потянут. Это нереально. Их ресурсы для этих целей выжаты до капли.

— Но что-то я должен с них получить. Это вопрос принципиальный. Я ведь им, получается, дарю 450 тысяч. Пусть будет хотя бы пятьдесят.

— Хорошо, я попытаюсь для вас что-нибудь сделать.

Прокурор ушел и вернулся минут через пятнадцать.

— Нет, к сожалению, они вам заплатить вообще ничего не могут. Это за пределами их возможностей. Но вы можете получить двадцать тысяч тотчас же после заседания, если снимете все претензии. Вам заплатит их адвокат из своего гонорара.

Гонорар адвокатской конторы, обслуживающей в течение года могучую корпорацию «Субмарина» был не менее ста тысяч, и такого же порядка была стоимость судебных издержек.

На том и сошлись. Последнее заседание было самым коротким из всех. Судья задал свой первый вопрос:

— Имеет ли корпорация «Субмарина» претензии к Доктору и к компании «Спекл»?

— Нет, Ваша честь, не имеет.

— Доктор, имеете ли вы претензии к корпорации «Субмарина»?

— Нет, Ваша честь, не имею.

В самом скандальном и самом законспирированном процессе была поставлена точка. Стороны разошлись, вежливо улыбаясь и внутренне чертыхаясь друг на друга. Арик еще прошел в соседнее здание и поднялся в комнату, где обычно возился со своими бумагами один из адвокатов противной стороны, с которым они состязались в интеллекте почти две-

надцать месяцев и получил от него чек на двадцать тысяч долларов. Таков был приз за победу. Он не мог отказать себе в удовольствии, заметив:

— С этой конторой я уже навидался всякого. Мы с вами здесь еще немного посидим, а жена сходит проверит, действителен ли ваш чек.

Арик подождал, пока жена вернулась и молча кивнула. Нужна была какая-то концовка, ситуация располагала к юмору:

— Всего доброго. Если вам когда-нибудь понадобится защита, приглашайте меня в качестве адвоката, я думаю, что смогу вам помочь — бросил он от дверей оторопевшему клерку.

У него больше не было ни сил, ни времени воевать с тупой государственной машиной, которая целый год травила и угрожала тому единственному человеку в этом деле, который по донкихотски встал на защиту ее же собственных интересов. Он знал, что, соглашаясь на предложение представителя Прокурора Австралии, не проявил слабости, не струсил. Он переиграл их.

За два месяца до окончания процесса Арик получил очень выгодное в его положении предложение из научного центра в Джакарте, обслуживающего местную стратегическую индустрию и уже успел тайно переправить туда большую часть своей аппаратуры. Его просили занять место консультанта в «лаборатории русских технологий», так что оборудование фирмы как бы переместилось к его изначальным владельцам. Рекомендовал Арика на это место директор Авиационной компании, будущий премьер-министр Индонезии. Пока процесс шел к своему завершению, Арик отправил к месту новой работы десять сорокафутовых контейнеров — практически все то, что ранее использовалось в проекте века фирмой «Спекл». Во время процесса австралийские органы перерыли и опечатали все счета компании, забрали все документы, у них вообщем мания в отношении бумаг. Но они не добрались до лаборатории, его главной цитадели. Возможно, просто не успели, а исход суда представлялся совсем другим.

Горькая заноза все это время сидела в еврейском сердце Арика. В самом начале, еще не зная, чем все обернется и допуская всякое, он обратился было за поддержкой к вождям общины, и его тогда решительно отшили:

— Мы тебе здесь не поможем, на этих людей наше влияние не распространяется.

Может быть. Хотя, конечно, жаль. Весь мир разделяет ошибочное убеждение в обратном. Частные лица проявляли гораздо больше участия, но это уже другая тема.

Перед отъездом случилась забавная и многозначительная история. Согласно инструкции, все материалы процесса должны были после его окончания непременно уничтожены. Но Арик чувствовал, что еще придет время и эти документы могут вызвать не шуточный интерес. Здесь было много поучительного и любопытного. Поэтому он не спустил содержимое многочисленных папок в бумагорезку, а сделал двойное дно в собачьей будке и засунул в образовавшийся тайник весь архив, килограмм 15 бумаг, испещренных его фирменными знаками. Но здоровенный и не управляемый ротвейлер что-то учуял. Он копал и грыз доски своими могучими челюстями. И в один прекрасный день Арик, вернувшись домой, обнаружил, что все бумаги вытащены, изжеваны и ветер носит отчеты и протоколы, ставшие конфиденциальными в результате Процесса, вдоль всей улицы. Он взмок от страха и потратил несколько часов, чтобы все собрать и развезти по разным схрамам в разных концах города.

Через две недели он уже был в Джакарте, где ему выделили огромный многоэтажный особняк с парком, бассейном и слугами в одном из самых живописных уголков и лабораторию в столичном университете. Семья его еще оставалась в Мельбурне в течение года. Через несколько месяцев в прессе начали появляться первые статьи, крайне негативно оценивающие спущенные со стапеля лодки. Они трещали и звенели, как колокола. В таком виде они не годились, как военный щит страны, и тем более не нужны были для охоты на нелегалов. Их все-таки ремонтировали,

модернизировали и доводили до ума, а порой даже сдавали, чтобы окупить расходы, в аренду странам третьего мира типа Папуа Новая Гвинея.

Говорили, что Фрицу Мюллеру пришлось оставить свой пост. Через десять лет все, что касалось этой темы, перестало быть секретом. Арик, вернувшийся к тому времени в Австралию, обратился к журналистам. У него взяли интервью. Но материал так и не появился в печати.

СИНДИ

Опыт эпитафии

Открылась дверь, и я увидел их одновременно — Женщину и Синди. Втроем мы быстро поладили, можно сказать, сошлись характерами.

Женщину, как выяснилось через десяток минут, я уже когда-то встречал — в вестибюле женского студенческого общежития на Чистой и в гулких коридорах украшенного фресками Яна Матейки центрального корпуса Львовского Политеха, но промежуток между нашим последним пересечением и нынешним оказался длиной в тридцать лет и двадцать четыре часа лета самым современным лайнером.

Синди — дама с историей. У нее сложная родословная. Ее появление на свет — результат случайного соприкосновения двух расходящихся в противоположные стороны родоплеменных линий. Одним из ее родителей явно был шеппард, то есть прирученный к верной службе и одомашненный северный волк. А с другой стороны — дикая австралийская собака динго, которая давно уже вовсе и не собака, а свирепый и опасный хищный зверь, в местах своего обитания атакующий неосторожного человека столь же решительно, как и аллигатор.

Синди, черноглазая, сильная, ловкая, похожая на узкостную, рыжую овчарку, с длинным крупом, вкрадчивыми движениями и пышным хвостом, покоряла умным выражением всезнающего Лиса. От динго ей достался втянутый, как у гончей сухой живот и фантастический, ничем не укротимый аппетит. Пищу она стремительно заглатывала, всасывала, как насосом, никогда ничего не оставляя на потом. Возможно, здесь частично виновато и ее тяжелое, впроголодь, поистине собачье детство. Вообще-то в Австралии, во всяком случае,

в условиях городских, где от собаки не ждут никакой службы, ее положение не выходит за рамки «ПЕТ» — любимого домашнего животного. «ПЕТ» — это круто, это фетиш, культ, доведенный до религиозного экстаза. Ему поклоняются, его обслуживают, оно определяет ритм жизни, а иногда и взаимоотношения со службой — его нужно выгуливать, определять к проверенным и надежным знакомым на время отпуска или командировки, его нужно показывать дорогому ветеринарному врачу. Это обслуживание способно сожрать львиную долю бюджета. Серьезная болезнь «ПЕТ» — это катастрофа, похуже, чем автомобильный крэш. Ведь хозяин тогда остается один на один с проблемой и со счетами от местного Айболита, зачастую, в стороне от бесчисленных страховых фондов.

Но искренняя любовь к животным, ставшая буквально национальной манией, преодолевает все. Каждый дом стремится обзавестись своим «ПЕТ», как древние римляне обзаводились домашним гением. Возможно, здесь кроется то чуткое, не востребуемое в человеческой душе, отравленной миазмами огнедышащего дракона — мегаполиса, позволившее кому-то высказаться в том духе, что дети и домашние животные — это последний окоп Любви.

Синди в этом плане трагически не повезло. Ее первыми хозяевами были двое молодых панков-рокеров, создавших семью. Дом их находился в пригороде. Жизнь они вели бурную, хмельную, часто исчезали на день-два, не ставя никого в известность. Возможно, это и послужило причиной, почему они завели огромного, неопределенной породы пса, которого почти не кормили, посеяв в нем злобу на весь мир. Но им показалось этого мало и они где-то по случаю приобрели Синди, малюсенького, полуторамесячного щенка. От присутствия двух грубоватых неопределенного пола панков и голодного, свирепого товарища по несчастью, Синди растерялась, она не была готова принять столь суровую сторону жизни и, находясь в прострации, гадила, где попало. Ее за это нещадно мучили, могли даже стукнуть, держали впроголодь, что при ее ненасытной утробе только усугубляло проблему. Она столь часто и жалобно выла, что обратила на себя внимание сосе-

дей, семью недавних эмигрантов из России. У нас, в принципе, не принято вмешиваться в чужие дела. «Мой дом — моя крепость» — это завоевание англоязычной культуры трепетно охраняется населением на всех уровнях. Соседи жалели беднягу, искренне сочувствовали ей — все ведь было на виду, но не более того. В один прекрасный день панки куда-то спешно слиняли. Не стало слышно ни громких разговоров, ни музыки во всю мощь 300-ваттных колонок, ни пьяного визга. На второй день собаки, оставшиеся без воды и пищи подняли вой и лай. Это продолжалось еще два дня — вой, словно по покойнику, не прекращался уже ни днем, ни ночью. На третий день соседи не выдержали. Русский мужчина, презрев святое право неприкосновенности жилища, порылся у себя в гараже, нашел фомку, вскрыл чужую калитку на бэкярде (заднем дворе) и забрал щенка, а потом позвонил в полицию.

Копы приехали, потоптались около запертого дома, опросили соседей, а потом тем же, уже проторенным путем проникли во двор и освободили вторую собаку, немедленно сплавив ее куда-то на ферму, где ей очень обрадовались — злой норов этого пса вполне соответствовал «кантри стайл».

Панки, вернувшись, не стали поднимать лишнего шума, сообразили, что их обвинят в грубом обращении с животными — это в Австралии грех похуже воровства. А щенка русские ребята тайком передали своим землякам. Так Синди познакомилась с Женщиной.

Во время нашей первой встречи собаке уже исполнилось три года, возраст зрелой девицы на выданье. Она выросла, округлилась, жила в полном комфорте среди искренне привязанных и до боли обожающих ее людей. Вряд ли даже в снах прокручивались ей мрачные картины тех ее первых обморочных жизненных шагов. Молодая семья, в которую она попала, тогда много путешествовала и она забиралась с ними в самые экзотические уголки континента. Ей нравились эти поездки. Она вообще обожала бывать вне дома, вне двора, ее пьянил воздух свободы, воли. Ее душа расцветала на природе, в ней просыпались дикие инстинкты и желания, ей открывался невероятный, необъятный мир незнакомых запахов и звуков.

Иногда такой праздник она устраивала себе сама, проскользнув через опрометчиво неприкрытую калитку или даже сиганув, если очень уж захочется, через забор. Были, были такие замашки у юной Синди. Хозяева тогда с ног сбивались, бегая в панике по округе или объезжая на машине все соседние улицы и призывая ее домой. Домой она возвращалась всегда. Еще она очень любила барахтаться в воде и ее иногда специально везли на какой-нибудь пустынный морской пляж, чтобы дать возможность вдоволь порезвиться, гоняясь за какой-нибудь осклизлой палкой. Наверняка она была счастлива.

В тот четвертый год ее жизни на Синди обрушилась первая любовь. Женщина повела ее тогда у себя на прогулку, в расположенный рядом, через дорогу, парк, засаженный вековыми деревьями, с аккуратно постриженными лужайками и уютными деревянными беседками — нагретое место для собачников и любителей пробежаться трусцой.

В тени раскидистых ливанских кедров, на парковой аллее и случилась знаменательная встреча. Мохнатый, слегка траченный жизнью четвероногий ловелас налетел на Синди со встречной полосы, как вихрь, и с разбега овладел ее нежным распахнувшимся сердцем. Женщина знала этого гуляку, он иногда появлялся здесь, в парке, и без всякого присмотра вольно носился по лужайкам. С виду не тянущий на джентльмена, он, тем не менее, не был похож на бесхозного бомжа, обладал легким характером и, как видно, пользовался полным доверием хозяев, которых никогда никто с ним не видел. Неожиданный тот ухажер властно и нахраписто попытался навязать Синди немедленные интимные отношения, использовав весь набор собачьих нежностей. Он обнюхал и обласкал ее с ног до головы, кружился вокруг нее, подставлял плечо ее острым зубам, укладывал на нее свои тяжелые, толстые лапы, предлагал поиграть в невинные щенячьи игры и заманивал прогуляться в укромное местечко. Он был неотразим. Никогда еще с подобным обращением не сталкивающаяся Синди чувствовала себя потрясенной до самой глубины. Она дрожала всем телом, нерешительно отклонялась, приседала, защищаясь от бесцеремонных ласк и встреч-

но тянулась, не смея противостоять внезапно запольхавшему инстинктивному желанию. Она готова была позорно бежать, но ноги не несли. Женщина ощущала эти ее переживания, как свои собственные, она сама была, чуть ли не в обмороке. Но здравый смысл бил тревогу. Черт знает, откуда взялся этот здоровенный старый кобель, едва ли не в два раза больший их любимицы, чем зарядит девочку это черное мурло. Нет, нет, только не это.

И она решительно, слегка опасаясь и за саму себя, потащила упирающуюся, плывущую, сотрясающуюся от неожиданно нахлынувших чувств Синди домой.

Ее собственное сердце страдало не меньше. Она сознавала, что действует жестоко, но не могла иначе. Забракованный из высоких соображений поклонник плелся сзади, обиженно поскуливая, но не проявляя признаков агрессии.

На вечернем совете с дочкой, которой, собственно, и принадлежала собака, было решено срочно ее «выдать замуж». Претендент нашелся очень быстро, тут же, по месту постоянной прописки Синди.

У соседей, прямо напротив через дорогу, кстати тоже выходцев из России, по двору болтался на привязи огромный черный шепард, давно сохнувший по соседке. При ближайшем знакомстве «жених» оказался несколько простоват, если не сказать, глуп, но внешних статей просто великолепных. Встреча их вышла, бурной, деловой, но лишенной глубоких чувств. Брак был явно по расчету. Синди затяжелела, сосцы ее налились, она едва передвигалась по двору. В конуре ей любовно соорудили уютное гнездышко, настелив кучу подстилок, но она туда даже не заглядывала.

Оценилась она днем, когда все были на работе. Неожиданно проявился ее звериный норов. Она вырыла глубокую нору в совершенно непредвиденном месте, в дальнем углу двора, подальше от людей и принесла девять слепых кутят, большинство из которых имели черный цвет. С большим трудом ее перетянули поближе к дому. Она с величайшей заботливостью вылизывала и очищала каждого щенка, а те облепили ее, словно свиноматку, и высасывали из нее все соки.

Синди даже изменила своей привычке и свирепо рычала на каждого, кто приближался к ней, даже, когда ее пытались покормить.

Приходилось опасливо, издалека, длинной жердиной подсовывать ей миски с водой и витаминизированным концентратом, который она заглатывала, не прожевывая.

Щенята росли, и их раздавали родственникам, знакомым, знакомым знакомых, коллегам по работе. В конечном итоге остался один, самый красивый, мощной статью похожий на соседа-отца, а рыжим цветом весь в мать. Хозяевам жалко было их разлучать, им казалось, что это скрасит одиночество любимой собаки — ведь сами они весь день были заняты на работе. От щенка избавились только через два года, когда он вымахал размером с теленка. К сожалению, отпрыск интеллектом пошел в папашу, т.е. был простодушен и глуповат. Синди, заполучив в компаньоны такого охламона, имевшего привычку облаивать каждую пролетающую муху, пристрастилась к разного рода проделкам. С чисто женским коварством она втягивала сыночка в опасные забавы, а потом безучастно, как будто это ее совсем не касается, наблюдала со стороны за разворачивающимся действием и последующей неминуемой экзекуцией. К тому же она обладала совершенно невероятным нюхом, а, возможно, и интуицией и знала о появлении хозяев, когда их машина еще была за три-четыре квартала от дома и потому успевала совершенно замаскировать следы своего соучастия и улечься где-нибудь в очередной вырытой норе — это рытье стало ее неприятной манерой. Самым невинным развлечением семейной парочки было растащить по всему двору вывешенное для просушки белье или краску из сарая.

Синди оказалась ярко выраженной однолюбкой. Ее «законный» супруг, соединенный с ней из меркантильных соображений, выл, грыз землю, постоянно тащил своих хозяев к соседскому забору, из-за которого страстно призывал Синди вернуться в лоно семьи, но она вела себя абсолютно индифферентно, лениво, на пару с басовитым сыном, облаивая супруга, как чужого. Она больше ни разу не проявила желания

повторно стать матерью, тем самым доказав, что животные очень даже понимают разницу между любовью и матримонимальным браком. Я недавно с удивлением узнал, что все живые существа, кроме неких плоских червей, склонны скорее к адюльтеру, чем к строгим моногамным связям и что в свободных условиях до 70% детенышей являются продуктом супружеской измены, включая оклеветанных молвой лебедей.

Единственные роды принесли Синди серьезную и, как показало время, роковую проблему. Один из ее многочисленных, набухших во время беременности сосцов так и не вернулся в исходное состояние. Это, видимо, доставляло ей какие-то неприятные ощущения. Она очень любила развалиться на спине, подставляя живот для ласки, но где-то в глубине пряталась боль и, если рука касалась этого места, ее острые, как бритва зубы с быстротой молнии клацали где-то в миллиметре от ладони, а глаза зажигались опасным, диким огнем. Сын хозяйки как-то по неосторожности вызвал такую точно реакцию и не успел отдернуть руку. После этого Синди уже до конца дней поселилась у Женщины. Там был небольшой дворик позади дома, который я успел засадить виноградом, помидорами, кинзой и мятой. Вся эта зелень пришлась Синди не по вкусу. Она рыла. Она изрыла весь двор, отравила землю своими испражнениями. Она заполонила собой все отведенное ей пространство, полагая себя там полновластной хозяйкой. Никто чужой не посмел бы ступить туда ногой, да никто этого и не делал. Ее грозное рычание было не менее убедительно, чем ее зубы. Будучи изредка на переднем дворе, она забавлялась тем, что поджидала прохожих с собаками, затаивалась за оградой, прижимаясь к земле, поднимая шерсть дыбом а потом выскакивала из засады с холодящим душу, свирепым рыком. Прохожие в страхе уносили ноги, собаки поджимали хвосты, а Синди в это время, как мне казалось, молча хохотала внутри себя.

Неосторожно забравшийся во двор опоссум непременно становился ее законной добычей. Утром она выкладывала его для всеобщего обозрения, гордясь успехом. Все ж таки она в значительной степени была и оставалась наполовину дикар-

кой. Синди терпеть не могла никаких подстилок в своей собачьей будке, все, что ей любезно пытались предложить, она вытаскивала и демонстративно складывала перед крыльцом.

Самым большим удовольствием для нее оставались прогулки, она носилась без отдыха по зеленым газонам, вынюхивая следы своих предшественников и, видимо, производя на ходу ревизию своим симпатиям и антипатиям. Иногда Женщина шла в парк, располагалась в беседке с книгой, отпускала Синди на свободу и углублялась в чтение. Синди только и ждала этого момента. Она срывалась с места и начинала бешено кругами носиться по полю. Встречные собаки шарахались от нее, достаточно было одного ее взгляда. С особой неприязнью она поглядывала на мелких белых шавок, возможно, они ей напоминали кроликов. Так динго нередко нападает на ребенка, принимая его за свою законную добычу — кенгуру. Набегавшись, Синди находила какой-нибудь сучок, укладывалась в ногах у Женщины, грызла деревяшку, притворно ворчала и бдительно поглядывала по сторонам — готовилась грудью защищать это уютное местечко под солнцем.

Она имела дурную привычку, как ребенок все тащить в свою пасть, не обходя стороной ни одной встреченной помойки. То есть, конечно, того, что под этим подразумевают в нашем, едва ли не чистейшем городе мира найти ей было бы затруднительно. На то она и была умница. Унюхав в каком-либо из мусорных контейнеров, расставленных вдоль улицы, наличие съестного, она с разбегу опрокидывала его на землю и вот вам помойка тут как тут. Иногда это стоило ей здоровья, а Женщине визита к ветеринару. Бывало, что Синди, как это случалось и в прошлом, посещали странные фантазии. Тогда она, словно землерочная машина подрывала забор, проникала на соседний двор и удирала неизвестно куда. Она, возвращаясь через день-другой, исхудавшая, со свалывшейся шерстью, непременно через ворота, через парадный вход — виновато подползала, сложив голову между лап, заранее согласная на любое, как она полагала, заслуженное наказание.

На пятый год после ее единственной беременности болтающийся, отвисший как мешок сосок вдруг надулся, достав-

ляя ей видимое страдание. Врач вынес вердикт — требуется срочная операция. Заодно он выхолостил ее, чтобы избежать серьезных последствий. Это было неизбежное зло. В течение нескольких дней Синди из большого, жизнерадостного ребенка превратилась в грустное существо, в глазах ее вместо огня, появилось выражение печали и какого-то напряженного ожидания. И ожидание это не было светлым. Она оживлялась и становилась прежней Синди только при виде еды или на прогулке. Поесть она по-прежнему любила. И вошла во вкус. Я приносил ей из ресторана, где подрабатывал по вечерам, индийскую кухню, которая ей явно нравилась и она научилась это не заглатывать, а вроде как смаковать.

Она еще несколько раз подкапывала забор и сбегала, но делала это по привычке, без азарта. Видимо, она уже не находила на воле того, что ее привлекало раньше и быстро возвращалась обратно, как-то уже совершенно не заботясь о последствиях. Последнее время она все больше лежала и на свое имя откликалась только дружеским помахиванием хвоста, уже не вскакивая с готовностью навстречу. Ей стукнуло 13, когда начали проявляться некоторые странности. Во время прогулки она уходила и не откликалась на зов.

Приходилось ее отыскивать и держать на поводке. Она виновато отворачивала голову, выслушивая попреки. Решили, что у нее что-то не в порядке с мозгами. Но ветеринар установил другое, оказалось, что Синди почти оглохла. Наступил день, когда она совершенно безразлично глянула на миску с едой. Это было невероятно. Ее на руках отвезли к доктору, который обнаружил многочисленные метастазы. Все было кончено. Он считал не справедливым и не гуманным длить ей жизнь.

Женщина потом долгое время боялась выходить ночью во двор, ей все казалось, что в будке, в темноте сверкают два вопрошающих глаза, она отворачивалась от любой встречной собаки и на глазах ее невольно выступали слезы.

АДАПТЕР

Мне подарили на юбилей мобайл. Хороший такой мобайл с прибамбасами, типа «Samsung». Правда норовистый, как необъезженный конь. И инструкция по пользованию у него норовистая. То есть ты не читаешь ее, чтобы знать, как пользоваться, а, напротив, ты должен сначала узнать, как пользоваться — чаще всего методом втыка, чтобы наконец-то расшифровать, что это они там написали, в той долбаной инструкции.

Ох уж эти английские слова-призраки с их невероятной многозначительностью. Ну что, скажите, за слово такое «Down». Понятно, что «двинуться вниз», т.е. опуститься, может означать и «стать бомжем» или, того хуже, «петухом». Оно и в русском так же звучит, но вот что обозначает «сидеть вниз». Это что же, выходит, можно еще и «сидеть вверх», может быть они инопланетяне, эти англичане и жили раньше в невесомости. Или, наоборот, с этим их «Up». Тут уж совсем чудеса, потому что «быть Up» меньше всего подразумевает направляться куда-то вверх, но вполне может означать и «пребывать в половой связи» и «находиться в наркотической зависимости».

Но, слава богу, я уже могу и позвонить и ответить, если услышу некий фривольный одесский мотивчик, закачанный туда моей любезной дочерью.

Правда, с «меню» еще есть сложности. Каждый раз некие сюрпризы — то камера упорно смотрит на меня вместо того, чтобы показывать мне, то эсэмэски, хоть убей, не открываются.

А так, все хорошо, даже можно каким-то, неведомым мне образом, смотреть или слушать новости из интернета.

Однако, не долго фраер веселился. И надо же было мне во время подзарядки уложить провод прямо на газовую горелку. Наверное, подсознательно, по Фрейду я ненамеренно сочленил длинное, продолговатое с круглым, дырчатым.

Жена, надо полагать, этими утаенными позывами не страдает, потому не глядя, механически ту горелку и включила. В общем, накрылся проводок, не выдержал испытания на паршивость.

На следующее утро, прямо к открытию, я был уже в ближайшем «Optus World'e». Там проблема еще едва обозначилась. Оригинальное зарядное устройство, или, иначе, «Travel adapter» в наличии не присутствовало, его и не предвиделось. Но передо мной разложили несколько других, наперебой уверяя меня, что «главное, чтобы разъемы подходили». У одного из тех корявых, наглых имитаторов разъем действительно подходил. Я, было, уже совсем размяк, очень хотелось побыстрее оживить дорогостоящую игрушку.

Но на всякий случай спросил, сильно не напирая:

— А нельзя ли все-таки поискать не аналог, а оригинал. И, если не здесь, то где?

Азиатец мой, уже настроенный на то, что вот-вот откроются закрома, несколько приуныл. Однако вместо внятного ответа на вполне конкретный вопрос, он как-то поспешно зашелестел клавиатурой вездесущего компьютера и с энтузиазмом, улыбаясь во весь рот, немедленно выдал мне скидку аж на 10 долларов. Тут накал моих подозрений резко пошел вверх. Ну уж дудки, подумал я, здесь меня на козе не объедешь. Не зря три года просидел в радиомастерской «У Сережи». (Так благозвучно, избегая избитых адресных обозначений именуют в Праге известные дома — «Под вежей», «Под тремя липами», «У черной собаки» и пр.)

Сережа, хозяин радиомастерской, вечная ему память, сам никак не мог взять в толк, что это за приборы такие — адаптеры. Вот вроде все совпадает и по напряжению и по току, а пособие по эксплуатации предостерегает — только соответствующую модель.

И таки да, с другими моделями не работают ни принтеры, ни модемы, ни прочая размножающаяся со скоростью вирусов электронная дрянь.

Вообще, там, в мастерской какой-то, другой взгляд вызрел на весь этот наш организованный Запад, якобы существ-

вующий в пику неорганизованному Востоку. Разница оказалась не столь уж и разительной. Нет, не все ладно в Датском королевстве. Ну и, прежде всего, Сережа.

У него 19 лет стажа в Доме Быта в Кишиневе, диабет и еврейка-жена, т.е. паровоз, на котором он сюда приехал, заодно прицепив в качестве вагонов бывшую супругу и двух от нее великовозрастных детей. В этих вагонах прибыл не только груз нежно хранимых в памяти семейных отношений, но и некоторые устойчивые привычки, которыми Сережа не то, чтобы гордился, но несколько бравировал.

Диабет он заработал уже здесь на месте, как уверял меня, от сильного стресса при первой же своей серьезной автомобильной аварии. Меня это несколько не удивляет. За руль машины, которая стояла на заднем дворе его арендованного жилища-мастерской, на которой он уже несколько лет экономил на регистрации, он сел только в состоянии глубокого аута, непременно добавляя ей при каждом выезде глубокие оспины.

Мастерская функционировала по накатанной схеме.

Сережа с утра «заряжал» несколько первых посетителей с не очень сложными (для посвященных) проблемами, делал быстрый, косметический, если удавалось, ремонт — иногда это занимало час-другой (если проблемы с утра шли упорно серьезные, он мог застрять в мастерской безвылазно до глубокой ночи). При удаче, Сережа, получив первые наличные, в хорошем расположении духа отбывал в ближайшие зланные точки — посидеть в компании «одноруких бандитов» или отовариться самым дешевым из серии «шампанских» вин. Свой диабет он забивал инъекциями инсулина, выписывая его в невероятных количествах у разных врачей. Он как будто стремился себя быстрее истратить. И, действительно, умер через несколько лет, едва отметив свое 50-летие, от комы, потеряв к тому времени и бизнес, и все иллюзии. Около его мастерской крутилось много разного темного люда, в том числе и какой-то не очень организованный криминал. Один палестинец, еще совсем мальчишка, жил у него одно время, расплачиваясь за угол украденными из чужих машин магнитолами. Че-

рез некоторое время пацаненок стал постоянным насельником местной пенитенциарной системы. В становящиеся все более короткими периоды свободы он снова появлялся в заведении «У Сережи» со своим неизменным товаром.

Из того, что Сережа отдавал клиентам, как отремонтированное с трехмесячной гарантией, добрая треть непременно возвращалась обратно — результат «косметического», поверхностного подхода. Такой вот «австралийский» ненавязчивый сервис. Советский, с его убогим десятком моделей телевизоров и магнитофонов выглядел явно предпочтительнее. Там, кстати, Сережа считался одним из лучших мастеров.

К Сереже приходили не только темные личности и дремучие клиенты, его общительность привлекала, и нередко в задней комнатухе клубился народ с утра и до позднего вечера. Туда и шли, как в бездонную бочку бутылки с псевдошампанским. «Народ», как правило, лакировал его шотландским виски. Надо отдать должное, Сережа читал внимательно от корки до корки, даже не читал, а проглатывал все русскоязычные газеты и журналы. Он вообще был книгочеем и втайне верил в будущее России.

То ли колоритная фигура хозяина, то ли сам этот сомнительный и все более чахнувший бизнес (из-за космической скорости удешевления бытовой аппаратуры) как бы распространяли флюиды, подталкивающие к жульничеству.

Однажды в мастерской появилась какая-то уж очень самоуверенная особа. Она многозначительно представилась с самого порога:

— Я — N...!

В голосе ее мне послышалось какие-то знакомые интонации. Сережа, как бы заранее предчувствуя все будущие неприятности, довольно прохладно отреагировал:

— Ну и что, что вы — N...?

Мне невольно припомнилась давняя история из старой жизни. Я тогда только что вступил в должность руководителя Лаборатории. Утром мне позвонил Главный инженер. Трубку взял мой помощник и будущий долголетний соавтор Вася Верижников и услышал грубое: «Ты кто?!»

Вася перед чинами не прогибался, оттого ответил с прямо-мотой римлянина:

«А ты кто?!». И тем навечно закрепил за собой право быть добротным рядовым инженером.

Вот с таким богатым опытом и, не имея никаких иллюзий в отношении того, что во всех мастерских не сидят подобия Сережи, я вышел на охоту за адаптером.

Я поехал в City и обошел еще с десяток магазинов и мастерских. Я не пропускал ни одного заведения, если там упоминались названия «Ortus» или «Samsung». Разочаровавшись в системном сервисе нашего благословенного государства, я уже совсем примирился было с мыслью, что мне придется довольствоваться неким китайским суррогатом, который быстро доведет до кондиции вещь, приятную во всех отношениях, когда в одной из многочисленных забегаловок с фирменным знаком «easy», т.е. «легко» (надо полагать это означает легковесность их гипотетической помощи) уже другой азиат после долгих и утомительных попыток убедить меня, что их «аналог» гораздо лучше оригинала и гораздо дешевле, вдруг, растратив всю любезность, подошел к стенду прямо перед моими глазами, что-то сказал по-своему, что очевидно соответствовало русскому: «Ладно, черт с тобой» и достал оттуда то, что я искал. На адаптере стоял фирменный знак «Samsung» и все прочие соответствия. Обрадовавшись, что все мои мытарства кончились, я уже потянулся к кошельку. Однако, в последний момент легкая тень привычного сомнения все же вернула мне здравый смысл.

— Давайте, проверим, — предложил я.

Парень очень неохотно стал вскрывать упаковку, заявив, что я буду обязан тогда это купить.

— Тогда тем более надо проверить, — возразил я.

И не зря, ибо разъем чем-то неуловимо отличался от моего и никак не хотел лезть в гнездо мобайла. Я развел руками и быстро ретировался, оставив отличника продажного сервиса за попыткой скрыть следы нарушения девственности на упаковке. Но теперь я уже знал, что оригинальный продукт все-таки где-то есть. Значит, надо искать. Следующая контора

была в двух кварталах и по солидности напоминала закрытое учреждение советского периода. После недолгих объяснений меня привели к эксперту по мобайлам, так мне представили еще одного достойного азиата. Он минут десять читал мне лекцию с видом знатока, что оригинал я нигде не найду, что за ним нужно ехать за границу, чуть ли не в страну-производитель (а где этот производитель сейчас и сам черт не разберет) и что он непременно обойдется мне в полтора раза дороже тех замечательных заменителей, которые они еще могут предложить мне немедленно.

Вышел я в очень расстроенных чувствах и, пройдя с десятков шагов, наткнулся на очередную небольшую ремонтную мастерскую, на которой были обозначены все бренды телефонных гигантов. Посетив ранее безрезультатно таких с пяток, я было перестал даже в них заглядывать. В типичной забегаловке, приткнувшейся сбоку тыловой части респектабельного «Майера», узкой, как кишка, за прилавком скучала в одиночестве очередная китайка неопределенного возраста. Без всякого вдохновения я, ни на что уже не рассчитывая, спросил, нет ли у них адаптеров к мобайлу типа «Samsung» последних моделей. На что получил совершенно бесцветный ответ: «Есть». Я не верил ушам своим и в полной уверенности, что здесь какое-то очередное недопонимание, достал из кармана образец и спросил:

— Вот такой?

Она внимательно прочитала название модели и вынесла вердикт:

— Absolutely the same, точно такой же.

Это было невероятно. Но она мне показала еще целую связку «таких же». И цена оказалась совершенно божеская.

Дома я уже рассмотрел, что в длинном названии моей модели, в самом конце прилепилась микроскопическая буквочка «Д», без которой вполне обошлась новоприобретенная.

Надеюсь, что это не осложнит серьезно мою жизнь.

ЛАКИ БУДДА

В представлении вьетнамцев большой живот — это не признак обжорства и жадности, как у европейцев, а свидетельство достигнутого состояния удовлетворения и безмятежности. Лаки Будда изображается непременно улыбающимся, наслаждающимся жизнью, а не брезгливо пресыщенным.

Хой Ан — древний город Вьетнама, излюбленное место для туристов, где проживает около ста тысяч жителей и около ста тысяч торговцев.

Торгуют все, от мала до велика, от, потерявших свой возраст, столетних старушек, высушенных до состояния мореного дуба, согбенных и улыбающихся единственным оставшимся во рту зубом, до младенцев, в качестве первого слова выучивших международную мантру «Ван долла». Торгуют чем попало, начиная с полугнилых бананов и грубых глиняных свистулек, изготовленных на заднем дворе убогой рыбацкой хатки по технологии, освоенной несколько веков назад и с тех пор ни разу не изменившейся. Рядом с бесчисленными поделками марки «Мэйд ин чайна» встречаются дешевенькие, но замечательные по мастерству рукоделия местных промыслов. А на заднем дворе камнерезной мастерской скопились тысячи поделок из темного и белого мрамора. Тут и фигурки размером в несколько дюймов и целые стада слонов, изваянных в полный рост. Наряду с типичным восточным набором — стилизованными львами, драконами, бесчисленными фигурами высоколобых узкоглазых старцев с аршинными вислыми ушами — признаком мудрости и святости, — весь европейский пантеон от Пигмалиона до Микеланджело и Родена — на любой запрос и вкус. Можно прямо на месте заказать безупречную копию Давида, которую за тысячу бак-

сов не только изготовят, но и доставят прямо в Мельбурн и установят у тебя на заднем дворе. Весь инструментарий — это невероятная трудоспособность, снайперский глаз и обыкновенная гранда, то есть ручной шлифовальный круг. Десятой части этого заглавника хватило бы, чтобы украсить все площади и скверы Мельбурна взамен расставленных тут и там ржавых сварных конструкций, невесть что изображающих. Местные портняжки, башмачники и брадобреи предлагают за пару часов изменить твою внешность, навески омолодить, обуть и обшить. В общем, такой себе Город Мастеров с азиатской перчинкой.

День начался с сюрприза. Ночью тропический ливень и шторм изменили берег до неузнаваемости. Там, где вчера был великолепный пляж, прямо за линией голубых бассейнов, образовался крутой обрыв, высотой больше метра, тянувшийся, как шрам, куда-то в бесконечность. Мощные волны унесли «золотой песок» (так назывался наш курортный комплекс) в море. Обрыв проходил прямо по линии пляжных грибков, крытых камышом, где еще накануне вечером мы безмятежно валялись на деревянных лежаках, покрытых белыми матами. Услужливый консьерж еще притащил нам махровые полотенца необъятных размеров и замер в сторонке в характерной выжидательной позе, что означало «надо дать». Камышовые шляпки грибков, вытянувшиеся сколько видит глаз вдоль побережья, очень живописно и многообещающе выглядели на фоне подступающих прямо к полоске песка ярко-зеленых пальмовых рощ.

И вот вся эта тропическая буколика словно перечеркнута рваной линией этого неожиданного и нелепого обрыва. Мы знаем, что вода теплая, как парное молоко, но в море никто не спускается, купающихся не видно. Стоишь на краю, приглядываясь, не выбросит ли крутая волна на берег чужой кошелек или приличного, на ужин, краба. И вдруг вздымается девятый вал нечеловеческого роста и окатит тебя с ног до головы соленой водой с примесью песка и липких водорослей. Мы

отступаемся и идем вдоль обрыва, примирившись с происшедшим, как достопримечательностью, которая неизбежно отыщет свою коммерческую полезность, как и все прочие нюансы местного ландшафта, фауны и флоры.

Неподалеку, на соседнем курортном участке знакомая со вчерашнего дня картина. Старик-вьетнамец в защитной униформе служащего и в непрременной грибоподобной панаме ведет на поводу буфалло — местную корову с загнутыми назад плоскими рогами, которая служит здесь одновременно источником тягловой силы (вместо лошади) и говядинки. Молока с них не добывают.

За коровой тянутся борона, оставляющая позади широкую полосу взрыхленного песка и упитанный теленок в черном кожаном наморднике. Издали картина кажется мне совершенно умилительной, как будто вырезанной или скопированной с многочисленных повторений этого сюжета во всех лавчонках и в самых различных вариантах — черно-белых, цветных, рисованных на шелке, на рисовой бумаге, на тарелках, на цинковках, на деревянных досках с лаковым покрытием, с перламутровой аппликацией или на скорлупе от утиных яиц.

Я подошел ближе — там как раз пожилая японская пара фотографировалась на фоне этой экзотики и погонщик приостановился, чтобы заработать свою живую копейку.

Густой запах стойла и мочи прямо таки взорвал мои обонятельные рецепторы. Я приостановился — теленок испуганно смотрел на меня, припадая на передние копыта, и неожиданно прынул куда-то в сторону. Ага, нам здесь не рады. Подумаешь, пойдем поищем что-нибудь более приветливое. Вот, например, маленький, почти прозрачный крабик мчится наперерез со скоростью курьерского таракана. Идем с полчаса по пустынному нечто, что еще вчера называлось пляжем. Все чаще стали попадаться навстречу стайки местной молодежи. Сразу трудно разобраться, подростки это или половозрелые мужчины и женщины. Менеджер нашего пя-

тизвездочного курорта — отеля, оказавшийся румыном с русской женой и с нижегородским выговором очень не советовал без крайней надобности входить с ними в контакт, так сказать во избежание:

— У них от этих мотоциклов совсем крыша поехала. — И выразительно постучал по голове.

Ну, мотоциклист во Вьетнаме — это особая тема, похоже, он здесь полностью заменил понятие «пешеход», занял и сам тротуар, вытеснив с него редкого прохожего, чаще всего туриста, на проезжую часть, прямо под колеса рычащего, дымящего, воняющего, непрерывно клаксонящего двухколесного стада. Не стой на пути — затопчут. А переходить улицу, это вообще все равно, что форсировать Днепр под шквальным огнем противника. Как сказала одна суровая дама: «Тут одно из двух, или никуда не ходить, или, как в первую брачную ночь, — закрыть глаза и будь, что будет».

Впрочем, к нашему удивлению оказалось, что в их многомиллионных мегаполисах, при полном фактически отсутствии присутствия светофоров, аварии крайне редки, а виновники, как правило, эдакие безбашенные «лихачи» очень даже легко могут быть наказаны прямо на месте нивесьть откуда набежавшей разъяренной толпой. Такой вот стихийный народный ОРУД, очень, кстати, эффекивный.

Слегка поразмыслив, возвращаемся обратно. Навстречу, прямо из того места, где рояль в кустах, появляются четверо аборигенов в пляжных прикидах. Крайний справа, с хмурым, грубым лицом деревенского лежебоки, неприлично крупный для этих мест мужик с пивным бочкообразным пузом, нависающим над плавками, как-то странно покосился на нас, а его приятели весело заржали, показывая на его кендюх и на мой, мягко говоря, «авторитет». Я с удовольствием присоединился к их смеху. Мне не раз уже приходилось наблюдать, что вьетнамцы, сами преимущественно очень сухие, изящные, почти бестелесные как-то исключительно снисходительно посмеиваются на этом архитектурным излишест-

вом, непременно считая его атрибутом характера философического и добродушного. В общем, для них это явление редкое, экзотика.

Наш гид говорил мне:

— Я не люблю холода. Мне нравится, когда жара градусов за тридцать и много воды, потому что я сухой, как ветка. Только кожа и кости и никакого мяса. Всего шестьдесят килограмм.

Ну насчет «кожа и кости» он загнул. При его-то росте — ближе к нашим средним 170, учитывая его половозрелые 27 лет — вес вполне приличный. У меня был, примерно, такой же в студенческие годы.

Мы уже почти вернулись, когда впереди что-то произошло, мирная безмятежная картина треснула. Метрах в пятидесяти впереди одним с нами курсом тащился давешний старик-погонщик со своей коровой, бороной и теленком. И, вдруг, — я это скорее почувствовал, чем осознал — корова развернулась и с каким-то странным истерическим всхлипыванием понеслась прямо нам навстречу, а рядом с ней ее нервный отпрыск. Все произошло мгновенно. Я едва успел отскочить в сторону, потянув за собой жену, на четверть секунды опередив пронесшуюся мимо хрюкающую тонну мяса с взбрыкивающимися вислым задом и летящую над землей смертоносную борону, ощерившуюся бесчисленными рядами акульих зубьев. Теленок с грацией бегемота рванулся в сторону, промчавшись по самой кромке обрыва. Выдерживая сумасшедший ритм, парочка пробежала еще метров пятьдесят и внезапно остановилась, как ни в чем ни бывало. Сзади семенил старик с обрывком веревки в руках.

Что это было? Какой из ангелов прошелестел невидимым своим крылом. На входе в местные буддийские храмы по обеим сторонам парадной двери обычно помещают фигуры демонов с очень выразительными лицами. Демона зла с лицом откровенного, злобного людоеда и демона добра с лицом хитрована, тертого парня, которого на мякине не

проведешь. А мы-то думали, что добро — это доктор Айболит из детской сказки. Вьетнамцы народ древний, битый, знают, что почем.

Как сказал наш гид: «Один добрый, другой злой, как две половинки, порознь живущие в каждом нормальном человеке».

Какой из них расстарался на утренней прогулке, в нескольких тысячах километров от дома — так и осталось для меня загадкой. Возможно, оба.

После завтрака нас приглашают в красный пикапчик — «Мерседес» и мы едем на экскурсию, как сказано, в город-герой. Здесь много таких знакомых нам с детства понятий — «мавзолей вождя», «партизанская база», «происки империализма». Они эфемерны так же, как и обещанный нам в русском турагенстве гид, якобы выпускник ханойского филфака, прекрасно владеющий великим и могучим. На деле наш проводник — недоучка тамбовской политехнической бурсы, изгнанный со второго курса за неуспеваемость (как он сам уверяет — из-за шерше ля фам). Русский его не то, что посредственный, не в этом дело, мы просто никогда не знаем — то ли он шутит, то ли по незнанию путает понятия. Но программу, явно составленную совершенно другими, идеологически подкованными людьми, выполняет скрупулезно, имея о самих объектах не то, что знание, об этом даже речи нет, но весьма и весьма посредственное представление. Культовые сооружения для него просто «храм» без названия, без истории, без привязки к ландшафту, забегаловка — «ресторан», где все «вкусно». Так что любое подспорье, даже хулиганская надпись на стене более информативны, чем наш, так называемый, гид. Зато он очень удобен в житейских делах, учит нас, где и сколько давать чаевых, где и как нужно торговаться, «бухает» вместе с нами и может сбегать что-нибудь купить или раздобыть, если надо, естественно, с небольшим наваром, но мы делаем вид, что об этом и не подозреваем. Возможно, в этом кроется некоторая аскетичность нашего в стране пребывания — за

исключением мест проживания, но тут, очевидно, все было расписано в агентстве. Его главное кредо звучит красиво и афористично: «Богатый человек не может быть глупым». Этакий Труфальдино из Вьетнама.

Фантазия на тему «город-герой» не исключение. Проехав километров семьдесят через разные населенные пункты и пунктики — возможно, действительно «по путям боевой славы», так как кое-где замечали на площадях помпезные монументы явно из новейшей истории — мы попали в древний, возрастом 13 веков полуразрушенный индуистский храмовый комплекс — шесть групп разбросанных по густым тропическим зарослям плохо сохранившихся строений из красного кирпича, поросших мохом времени. Внутри — гулкая с запахом плесени пустота — ни алтарей, ни утвари. Все истлело, либо разграблено. Но многочисленные, вырезанные из камня скульптуры снаружи и разбросанные там и сям расписные, покрытые искусной резьбой монументальные колонны наводят на размышления. Кусок Древнего Индостана в центре горного Вьетнама. Грандиозная женская сидячая фигура без головы перед входом в одно из зданий намекает, что это, возможно, одно из капищ кровожадной Кали, раритетного женского персонажа среди множества мужских индуистских божеств, которой приписывают не доказанную склонность к человеческим жертвоприношениям. Добиться чего-либо более конкретного у нашего Труфальдино не удастся. Храмовый комплекс хорошо охраняется — там и сям на просеках видны солдаты или полицейские. Кроме развалин, здесь в глубине джунглей в наличии два навеса — под одним вяло продается всякая макулатура и пиво для туристов, под вторым — небольшая сцена и импровизированный зал с расставленными стульями на сотню зрителей. На сцене местный ансамбль песни и пляски под несколько монотонный ритм свирели и барабанов представляет нечто, полное необыкновенного изящества, эротики и мастерства. Движения рук, ног, недвусмысленные позы, жесты ладоней с разведенными пальцами, с за-

миранием на несколько тактов — все полно скрытого от нас смысла. Одежды на исполнительницах немного, почти никакой — кроме набедренных повязок, причудливых головных уборов и браслетов на руках и ногах — все сверкает золотым цветом. Публика прибывает волнами, на стоянке стоят десятки автобусов. И так же волнами непрерывно идут представления. Мы попали с группой, по виду, ветеранов войны — невысоких, даже миниатюрных, очень в возрасте людей в синей униформе и в синих кепках со здоровенными козырьками. Со следами войны — у кого нет руки, у кого — ноги, у кого — глаза. И видно, очень даже видно, что эти воины от победы не разбогатели. Но все-таки деньги побежденных медленно делают то, что не смогли сделать вертолеты с напалмом и летающие крепости с 10-тонными бомбами — страна через туризм и инвестиции плавно перетекает из 7 — в 21 век.

Попадаем под бурный тропический ливень — слава богу, он не пугает и не утомляет, а приятно так освежает.

Дождь покапал и прошел,
Солнце в целом свете...

Видимо расслабленный освежающим воздействием короткой тропической грозы, гид наш в очень осторожных и выверенных выражениях поясняет для несведущих, что все виденное нами — и само место в горных джунглях, и древний храм, и экзотический ансамбль — это иллюстрация того, что часть индуистской культуры стала неотъемлемым и неотторгаемым никакими вражьиными интригами достоянием Вьетнама — и духовно и, главное, ощутимо материально.

Плотно пообедав в уже знакомом нам ресторане с похожей на фарфоровую статуэтку юной официанткой, которой неожиданно оказывается целых 25, а вовсе не 18, как нам было показалось, мы забираемся на выдавшую виды джонку с мотором и тентом. Предстоит прогулка по реке. Это, собственно говоря, устье, горловина, выход в море. Река здесь расширяется на несколько сот метров, медленно перекатывая

мутные, желтые волны. На них там и сям покачивается на поверхности светло-зеленая поросль с белыми и синими кувшинками. Тарахтелка пованивает бензином и тлением. В отдалении с других джонок, поменьше размером, открыто, не скрываясь, выгребают сетями последние остатки подводного мира. Над водой то и дело сверкают на солнце серебристой чешуей стайки некрупных летучих рыб. Монотонный шум мотора и недавний плотный обед притупляют любопытство и настраивают на дрему.

Через час причаливаем к примитивным деревянным сходням. Здесь, как нам объясняют, мы сможем увидеть, как работает домашняя гончарная мастерская, возраст которой более 300 лет. Вот так, ни больше и ни меньше. Как говорится, всю жизнь мечтал. И нам действительно демонстрируют простейший гончарный круг с ножным приводом и даже позволяют каждому соорудить что-то похожее на грубую кривобокую амфору, предмет трепетного восторга экзальтированных археологов. И тут же выясняется, что в этой мастерской нет даже печи отжига, и глиняная посуда потом расписывается и высушивается на солнце, как делали наши далекие, одетые в звериные шкуры, предки. А в заключение нам предлагают богатый выбор из закромов этого домашнего заводика (что и было, очевидно, гвоздем программы речного романтического путешествия) — вазочки, тарелки, статуэтки, сервизы и все-все-все. Поняв, что ни к чему серьезному мы как-то не готовы — ну не сервизы же глиняные домой тащить — тяжело, да и в хозяйстве без надобности, нам понесли откровенно бросовый товар. Какие-то свистульки, выполненные по-детски беспомощно руками этих вот древних безвозрастных старушек или девчушек явно донимфеточного еще периода, которые тенями шмыгают вокруг нас. Нелепые, бесформенные фигурки из желтой глины лишь отчасти напоминали дракончиков, свинушек, петушков, черепашек и издавали сиплые, паровозные гудки. Старушки и девчушки с разных сторон тянули к нам подносы, наполненные этой чепухней, и каждая страстно убеждала, что именно у нее все самое лучшее и всего по ван долла за штучку, и громко грыз-

лись, и скандалили друг с другом, яростно сражаясь за столь редких покупателей. И оказалось, что множество семей в этом месте заняты одним и тем же промыслом и каждая хочет заработать ван долла, потому что ван долла — это ужин на всю семью. И никакой турист, даже самый богатый не накормит в одиночку бесчисленные эти семьи, нуждающиеся всего лишь в ван долла на ужин. И я купил три абсолютно не нужных мне свиристелки и еще красного дерева черепашку — символ мудрости, повсеместно повторяющийся в этой стране — у которой сдвигался на сторону панцирь и тогда открывался миниатюрный компас в окружении всех знаков зодиака, вырезанных искусно на кусочке малахита. С клеймом мэйд ин чайна всего лишь за фив долла. И ко мне подошла молодая вьетнамка в национальном наряде — длинном, зеленом с блестками платье со специфическими боковыми разрезами выше талии поверх шаровар и нежно с благодарностью пожала мое плечо, и шуточно похлопала по моему животу, и сказала: «ю а лаки будда», и весело засмеялась, и я посмеялся вместе с ней.

А потом мы сели в нашу джонку и поплыли обратно. И уже не было никакого сонного послеобеденного состояния и не было никакого желания посетить вьетнамскую деревню и увидеть изнутри, как она себе существует, о чем мы предыдущим вечером под пару бутылочек местного красного марки «Вонг Далат» уговаривали нашего чичероне. И он сказал тогда, что это, конечно, можно, но как-то не очень уверенно. А сегодня он стоял рядом с десятком подносов со свиристелками и говорил: «У этих бери, если хочешь помочь, а у этих не надо». И эти, которые «не надо» — босоногие девчушки и сухонькие древние старушки все шли и шли за нами дворами, откуда-то из темных углов все протягивали исподтишка эти проклятые подносы со свиристелками и жужжали: ван долла, ван долла... А те, которые «надо» шумели на них и с проклятиями гнали прочь.

И мы плыли назад по желтой речке, и что-то внутри происходило, мы чувствовали, что столкнулись с чем-то

темным, значительным, не желательным, чего лучше не
знать и не видеть. И в ушах звучала почему-то украинская
полупристойная песенка:

Причесався, прилизався,
В били штанци вбрався,
А прийшов до Катэрины,
На порози вс...ся,

Я до тои Катэрины
Нэ пиду николы,
Бо до нэи хлопци ходють,
Як диты до школы.

МЫСЛИ ВСЛУХ, ИЛИ ХЛОПОТЫ СТАРОГО ЕВРЕЯ

МИФ ХХІ ВЕКА?

В мире событий, сотрясающих современный мир, две тенденции по своему значению не могут не наводить на размышления. Это практически наметившийся крах Западного либерализма и рост антисемитизма в кругах левой интеллигенции.

Свободный мир оказался настоящей питательной средой для самых крайних форм терроризма и международного шантажа, его институты препятствуют естественным защитным акциям, а его политические и коммерческие интересы всячески стараются продлить сложившуюся ситуацию. Речь идет даже о некоем исламо-европейском сговоре, направленном против американской «гегемонии». Создается замкнутый круг, который под воздействием общественного мнения неизбежно будет дрейфовать в сторону большей защищенности, а, значит и ревизии демократических институтов, что уже активно происходит в Северной Америке. Тем более что растущая закрытость исламского мира, стремительное сокращение присутствия внутри него христианских и еврейских вкраплений исключает возможность адекватного противостояния. Сложившийся перекося драматизирует ситуацию до крайности.

Еще недавно ценности иудео-христианской культуры получали широкое хождение внутри исламского мира в виде коммунистических движений и идей. Сегодня это уже история. Крах Советского Союза ознаменовал пиррову победу демократии. В результате под угрозой оказалась сама цивилизация Запада. Она, как оказалось, имеет себе альтернативу и

склонна к глубоким внутренним конфликтам, больше, чем к консолидации. И если европейский антиамериканизм — это продукт растущего соперничества с Америкой, то скандал между левой интеллигенцией и евреями — это свидетельство глубокого идейного кризиса, идейной несостоятельности и идейной нищеты перед лицом исламской агрессивности и экстремизма.

Со времени французской революции левое движение всегда имело в лице евреев не только естественного союзника, но и бесконечно черпало оттуда кадры функционеров, обескровливая и обедняя еврейское национальное движение.

Пытаясь осмыслить и объяснить хотя бы для себя этот феномен углубляющегося раскола, я неожиданно столкнулся с явлением, которое раньше полагал просто издержками, выбросами нашей национальной еврейской жизни. Все началось с разговора с одной женщиной, дамой столичной в прошлой жизни, интеллигентной и хорошо образованной. И вот она мне поведала, что совершенно неожиданно для себя вдруг прониклась глубокой верой в Христа, сильнейшим и искренним сочувствием этому человеку, его трагедии, его миссии и в этом своем новом состоянии ощутила необычайный комфорт и духовную поддержку, не приняв, однако, до сих пор крещения. В общем, история и совершенно искренняя в духе Савла. Для меня в этом деле как-то сразу открылись несколько аспектов. И, прежде всего, то общее и те различия, которые объединяют и разводят иудаизм и христианство. Раньше мне казались, по крайней мере, оправданными утверждения о противопоставлении христианской Благодати и иудейского Закона. Мол, христиане верят в Христа, как в Бога и свое религиозное чувство они открывают как Благодать, путем катарсиса, озарения. А что же еврей? Неужели он действительно только исполняет Закон и, являясь корневищем трех монотеистических религий, сам, по сути, не верующий и обделен глубоким религиозным переживанием. Зная не понаслышке (я застал еще своего деда коена) о религиозной экзальтированности, присущей еврейским ортодоксам, никак не могу с этим согласиться. И с удивлением обнаружил то, что лежит на поверхно-

сти. Оказалось, у нас есть свой очень мощный символ веры — безусловная убежденность в своей исключительности, в избранничестве, в особой миссии, в богоизбранности, наконец. И это свое религиозное чувство еврей впитывает с молоком матери и для поддержания высокого уровня этого чувства, можно сказать, нуждается в антисемитизме. Так что антисемитизм как бы входит в систему еврейского религиозного мироощущения. Кстати, всем этим и объясняется тот факт, что еврей даже формально не верующий, не придерживающийся кашрута и других предписаний и ограничений, не привязанный к синагоге, тем не менее, чувствует себя 100% евреем, хотя совершенно очевидно, что единство еврейского этноса носит религиозный характер. В доказательство можно привести то простое соображение, что прошедший гиюр уже навеки еврей и вопрос закрыт, а в отношении таких православных корифеев, как Лев Шестов, Семен Франк, Александр Мень или в отношении такого христианина и антисемита, как Карл Маркс, никогда не забывали и не забудут их еврейских корней.

Оба символа веры — христианский и иудейский — имеют один источник. Вернее, один вышел из другого и вера в Христа (та истинная, полученная благодатью) — это трансформированная вера евреев в свою трансцендентную исключительность. Разве убежденность в том, что человек находится под покровительством Христа-Бога, не то же, что и убеждение еврея в его особых отношениях с Б-гом? Природа здесь одна. И даже те различия, которые в этих Символах веры имеются, еще не определяют той враждебности, которая между христианами и евреями сложилась. Так же, как и одинаковый символ веры еще не означает обязательных братских объятий, как оно и происходило у евреев с караимами. Не исключено, что получи та форма иудаизма, которую исповедуют караимы (признающие только Тору) такое же широкое распространение, как христианство, то и отношения могли сложиться самые драматические.

Вполне допустимо, что человек искренне верующий в Христа, также искренне недоброжелателен к тем, кто, по его

представлениям, заставил его страдать и в конечном счете позорно умереть, отверженным своим собственным, горячо любимым народом. Но антисемитизм либеральной интеллигенции, исповедующей свой символ веры, так называемый гуманизм, этим не объяснишь. Как не объяснишь и существующим исламо-европейским сговором, в котором ценой за взаимные услуги, похоже, должны стать евреи и их государство. Ибо антисемитизм разгулялся не только среди европейской интеллигенции, но переплыл через океан в американские кампусы (против которых и зреет сам заговор) и неплохо чувствует себя уже и в Австралии и в Новой Зеландии, которые в заговоре уж точно не участвуют. Мы как будто присутствуем при разворачивающейся драме торжества совершенно иррационального Зла.

Для евреев Зло онтологическое — это лишь форма проявления Добра. Такова мыслеоснова иудаизма.

Все начинается с акта изгнания Адама и Евы из Рая. Этот момент очень знаменательный и общечеловеческий. Это акт Зла по отношению к человеку. Но это акт Божественный, а Бог — это безусловное и неопровержимое Добро. Значит, уже с самого начала мы сталкиваемся со Злом, как эманацией Добра. В библии этот момент проявляется многократно и в самых ужасных формах. Тут и всемирный потоп, и Египетские казни и неоднократное разрушение Древнего Израиля и, наконец, Рассеяние. Еврей не обременен ненавистью к Мировому Злу и, одновременно, ответственен нравственно за свое поведение, т.е. признает необходимость строго придерживаться Закона, ибо несоблюдение порождает Зло, идущее от Бога. В этом его беспрецедентная сила и, одновременно, беззащитность, ибо, как будто в отместку за такое пренебрежительное к нему отношение, Зло как бы постоянно сопровождает евреев и непременно присутствует на всех исторических путях, а окружающие народы в пароксизме враждебности именно евреев, отрицающих онтологическое Зло, считают (и, возможно, по этой причине) его главным носителем. И известное выражение «если в кране нет воды, значит, выпили жида» это кухонный вариант широко распространенного ми-

ровоззрения, которому нет ни разумного объяснения, ни разрешения в рамках существующих человеческих норм прав и нравственности.

Поэтому, разбираясь с таким явлением, как антисемитизм, мы вынуждены постоянно обращаться к такой категории, как Зло. К Дуализму, к признанию Зла, как онтологической силы толкает еврея только антисемитизм. Все это способно превращать обычного ломового извозчика в Тевьемолочника, но и добропорядочного преуспевающего гражданина в Демона — Трощкого. Озвученная около 3,5 тыс. лет назад вождем еврейских беглых племен сама идея привлекала в разные времена интеллектуалов всех сообществ — несомненно. Это был как бы пароль либеральной части интеллигенции.

Понять новые настроения просвещенного Запада (на самом деле хорошо забытые старые) нам, людям русской культуры, легче на собственном культурологическом материале. Тем более, что антисемитские настроения формирует не плебс, а именно культурная среда, как это было и во времена древнего Манефы или античного Апиона. И самое правильное было бы вычленив их у тех, кто является авторитетным маяком общественных настроений. В русском варианте таким маяком остается, безусловно, А. Солженицын. Благо и материал оказался под рукой. В частности, меня привлекли работы А. Воронеля («И вместе и врозь» Минск, 2003 г.), российского интеллигента, известного диссидента, ученого, отказника и узника Гулага, который, начиная с 70-х гг. постоянно возвращался к той же теме.

Сначала несколько замечаний.

Мифы в отношении евреев в течение 2000 лет в христианском мире постоянно менялись (однако с эффектом накопления). В России они тоже прошли длинный 1000-летний путь от «Слова о Законе и Благодати» до Солженицынского «200 лет вместе» (почему 200..., если «Слово...» написано в 11 веке?). Менялось и содержание мифов. В 19-м веке это было самоубеждение (вполне в соответствии с французской интерпретацией), что проблема евреев в их неспособности приносить гражданскую пользу и вредном воздействии на экономику,

что и нашло отражение в работе многочисленных Еврейских Комиссий (в одной из них длительное время влиятельно восседал поэт Державин) и в «Русской Правде» П. Пестеля, который предлагал либо потребовать от евреев полностью «изменить» свой образ мысли и поведения (т.е. практически поголовно перейти в христианство — ибо видел причину их обособленности в их религии и мессианской вере в конечное освобождение и «мировое господство») либо выселить их куда-либо в Малую Азию, где бы они сами как-нибудь приспособились или создали свое государство. 19-й век и стал вехой, когда евреи из кожи вон полезли, чтобы эту свою пользу предъявить миру. К началу века 20-го их участие в Европейской и Североамериканской жизни было столь убедительным, что послужило причиной для создания Мифа XX века, суть которого выразил Вас. Шульгин в своей работе «Что нам в них не нравится...» и Гитлер в «Майн кампф». Основу мифа уже явно составил лозунг «Мы или Они!» Тут как раз подспели и фальсифицированные «Протоколы сионских мудрецов» Старание евреев развенчать миф века 19-го оказалось чрезвычайным и напугало тех, для кого еврейское «зло» позволяло создавать удобную психологическую нишу в неудобных обстоятельствах. Однако, в этих новых обвинениях еще присутствовала некоторая атавистическая дискриминация — юдофобов тешила мысль, что евреи не способны к физическому труду, плохие солдаты и стихийные разрушители государственности. XX век взорвал и эти иллюзии. Участие евреев в войне против фашизма было массовым и весьма эффективным (более 1 миллиона на обоих фронтах — Западном и Советском, 270 генералов только в Красной Армии), а строительство государства Израиль доказало и очень убедительно отсутствие у евреев аллергии к каким-либо видам деятельности. Как говорится, настал момент истины и теперь уже обвинения не сократились, но поменяли свой знак. Теперь уже юдофобская мысль работает без отдыха и без тормозов...

Теперь евреев обвиняют в чрезмерной, сатанинской активности, связывая с их деятельностью (революции, государственный терроризм, инициация мирового терроризма и т.п.)

все, что сотрясает современный очень динамичный мир. Но уже не в бытовом, ограниченном плане, а в плане глобальном, мировоззренческом и вопрос переместился туда, откуда он и начался, т.е. в поле трансцендентности, выйдя за рамки здравого смысла. Вот об этой трансцендентности и есть смысл поговорить, ибо все, что касается конкретных обвинений, то все это не более чем предрассудки или злобная сфабрикованная ложь, как это великолепно проиллюстрировал славянофил Н. Лесков в своей работе «Еврей в России» еще до революции (низкий поклон ему за это), в этом ряду фальсификаций и злополучные «Протоколы...». Но отношение к евреям и взаимоотношения с ними на основании таких «обвинений» вполне конкретны и, похоже, в обосновании не нуждаются.

Еще до того, как А. Солженицын написал свои «200 лет вместе», он уже вполне определил свою позицию. Поэтому его объемная, более чем 1000-страничная книга всего лишь иллюстрирует то, что в художественной форме вполне выпукло было высказано раньше и, естественно, уже нашло отражение в ответной еврейской критике, в частности А. Воронеля. Мысли А. Солженицына, в общем-то, находятся вполне в традиции русской интеллигенции, но не той, которая безоговорочно стояла за признание за евреями всех прав и обязанностей, как и за другими нормативными народами многоязычной, многоукладной и многоконфессиональной империи, а тех интеллигентов, которые разделяли сложившееся в течение 2000 тыс. лет христианское отношение к евреям, несущее громадный заряд недоверия и неприязни, несколько поколебленный в результате секуляризации общества в течение последних 200 лет и отхода громадной массы евреев от своих традиций.

По своей сути она идет к Ф. Достоевскому, который всегда официально отрекся от обвинений в антисемитизме, но его постоянное обращение к еврейской тематике, его поза неперемennого и острого критика, его обращение к чрезвычайным, повышенным моральным критериям в отношении евреев говорят сами за себя. Но лучше всего Ф. Достоевский, как и во всех других случаях, выразил это свое отношение в своих художественных творениях. Силой художественного

прозрения он, который вопреки христианской и иудейской традиции верил в автономное существование Зла, так или иначе, связывал это Зло с еврейством. Но, естественно, в то время — еще до убийства царя, до великих погромов, до 3-х революций, перевернувших Россию и до расстрела царской семьи, он ощущал их роль на стороне Зла, как трансцендентных, наделенных сверхреальной силой Свидетелей, присутствующих при всех сколько-нибудь важных событиях мировой истории в течение последних 2000 лет. У него своя шкала Зла и его носители Зла, проявляющиеся в Русском поле и уже заставляющие содрогаться страну в преддверии страшных событий, обречены и все кончают самоубийством. Так он видел верховенство Божественной Воли, так он мыслил себе единство мира, так он избежал открытого дуализма манихеев и персов, не призвал людей к топору в борьбе со Злом и не стал вождем и провозвестником фашизма, но громкое слово маленького человечка, посмеявшегося сказать и подняться над христианским смирением он высказал вполне откровенно в лице Смердякова. Для Достоевского Смердяковщина — нарождающееся Зло, способное (и обреченное) самоуничтожиться, и это Зло открытое, откровенное, вполне осязаемое. Но рядом с ним есть Зло потайное. Неопределенное, трансцендентное и несамоничтожимое и связанное с евреями.

Таков миф Достоевского, миф века XIX.

Солженицын продукт российского интеллектуального производства совсем другого времени. Все уже свершилось. Надежды Достоевского не сбылись. Он оказался плохим пророком. Зло не самоуничтожилось. Оно самоопределилось, консолидировалось (произошло соединение Верховенского, Свидригайлова с Раскольниковым и, главное, со Смердяковым), захватило все Русское поле и теперь, естественно, претендует на роль Добра. Но и позиция евреев совсем иная, их союз с бывшими носителями Зла более, чем очевиден, а из Свидетелей они превратились едва ли не в главную направляющую и организующую силу. И, если у Булгакова демонизированный еврей все еще прозябает на роли Свидетеля в образе Швондера или роковой неосознанной силы Зла в «Роковых

яйцах», то у Солженицына Еврей, как Демон, занимает центральное место кукловода Израиля Парвуса, «истинного» организатора и провозвестника трех Русских Революций, лица реального и, одновременно, мифического, такого же мифического, как фигура Демона Троцкого. Их демонизация состоит в их искусственной, трансцендентной увязке с еврейством, тогда как сами они, совершенно очевидно, являются отбросами еврейского мира, с ним порвавшими и его интересами не живущими, скорее наоборот, их позиция гораздо ближе к позиции открытого антисемита Маркса и вырастает из нее. Но увязка реальных и значительных фигур русской и мировой истории с еврейством более всего способствует демонизации евреев, в чем и заключается антисемитизм как Достоевского, так и Солженицына. Позиция А. Солженицына вполне характерна, чтобы понять отношение к евреям и всего западного истеблишмента. Критикуя Демонизм еврейства, как некую силу, которая стоит за пределами их контроля, они, в то же время, не могут отрицать прав евреев, как таковых, — как граждан. Это противоречило бы всем концепциям, на которых держится запад и его иудео-христианская культура. Как следствие, раньше или позже объектом жесткой критики становятся основные институты еврейства — иудаизм и сионизм. Так разрешается проблема для современных гонителей еврейства в цивилизованном мире. Так вырисовываются контуры мифа XXI века, основным содержанием которого становится Израиль, как коллективный еврей.

Но, касаясь еврейской темы, А. Солженицын оперировал не только фигурами узнаваемыми, знаковыми или пытался обосновать свою позицию цифрами. Он активно, откровенно не принимал евреев и в другом качестве. Нигде он не вложил больше чувства, хоть и негативного, граничащего с раскаленной ненавистью, как при описании в «200 лет вместе» своего лагерного опыта общения с евреями, «проникшими» в касту «придурков». Здесь его намеренно нерасцветенный, буднично-отливающий газетой стиль становится по-шекспировски эпическим, едким, и образы принимают форму выпуклую, совершенно ощутимую, индивидуальную, даже мифологиче-

скую, соединяя реальные со всей очевидностью фигуры с вполне угадываемыми зловещими стереотипами. Вот так когда-то и вылепили образ евангельского Иуды.

Нет смысла говорить, что это не столько реальность, сколько особенность зрения, как это бывает с болезненно ревнивым мужем... Однако же это такая особенность, при которой диалог невозможен. Не случайно на этой дороге Александр Исаевич терял своих бывших друзей-евреев, оказавших ему в годы гонений и помощь и поддержку. У нас ведь есть и другие многочисленные свидетели. Скажем, Шаламов ничего такого не заметил, но вся лагерная обстановка в его описании такова, что выбора нет да и не может быть, а попасть в «придурки» — это спасение и мечта каждого нормального человека. И чтобы кто-то предпочел добровольно тачку, так это из области запредельных интеллигентских рефлексий. Ведь Шаламов только тем и спасся, что, в конечном счете, попал в число этих немногочисленных в зоне «придурков» — упорством, хитростью, напряжением всех сил, да и сам А. Солженицын был в их числе. Так что и говорить об этом как-то неудобно. Но очень это характерно для его позиции. Да и что касается внелагерной зоны, так и там евреи, по его мнению, прямо гроздьями обсели все «придурочные» вакансии, что и составляет основное содержание его 2-го тома «200 лет...»

И тут позволю себе решительно не согласиться.

Практика межнационального контакта, тем более межрасового происходит вовсе не идиллически. Сегодня, наблюдая афро-американцев в окружении американского президента как-то с трудом представляешь себе, что еще 40 лет назад в Америке основной формой межрасового общения была сегрегация. Никого уже не удивит, если следующим президентом у них станет афро-американец или латиноамериканец. И главное достижение, я думаю, в том, что никому в голову не придет подсчитывать процент этих афро-американцев, пригравших себе такие «придурочные» местечки, разве только самим афро-американцам. В этом и только в этом решение таких проблем, а не в утомительных, оскорбительных и бесплодных разборках. И сегодня уже прошел шок от заявлений ведущих

специалистов, что уже в самое ближайшее время белому человеку не светит успех в борьбе за олимпийское золото во многих видах спорта. Так же, очевидно, как не должно быть оскорбительно, что представители других расовых групп окажутся чемпионами там, где соревнование идет в области приложения нервно-психической энергии. Дело-то ведь касается только Олимпа, т.е. высших достижений. А боги — они штучный товар, не массовый и принадлежат всему человечеству, независимо оттого, кто он — антисемит Вагнер или еврей Спиноза. Здесь и просматривается главная неувязка у Солженицына. У него проскакивает не то, что обвинение, а вроде как досада, что евреи не способны в массе искренне ассимилироваться в среде рассеяния, хотя примеры есть. Он, очевидно, имеет в виду тех, кого «патриоты» готовы признать своими (Левитан, Рубинштейны, Шестов, Франк и т.п.), то есть люди, которые принимали православие и совершенно рвали со своей средой, а иногда и становились абсолютно враждебны к ней. Но в том-то и дело, что коммунистическая идеология в русском варианте, т.е. абсолютно догматическая и атеистическая делала все население однородно верующим. А это, как нам подсказывает другой русский интеллигент-антисемит — Л. Гумилев и есть цемент для построения, возникновения нового суперэтноса (как, например, исламский или христианский). Евреи совершенно искренне поверили в новое, коммунистическое божество и со всей душой начали «участвовать» и «вращать», исключительно активно строя этот новый этнос, объединенный «единым языком, идеологией и географической территорией». Этот буколический процесс прервался в 30-е годы коллективизацией и последовавшим за ней фашистским переворотом, совершенным И.Сталиным вполне в духе русских национальных идей 19-го века.

Обвиняя И.Сталина и коммунистов в разрушении деревни и всего русского уклада жизни, как-то совершенно игнорируют и умышленно замыливают тот факт, что как раз коллективизация то была совершенно в русской, даже в русопятской культурной традиции. Не Федор ли Достоевский видел в сельской русской общине спасение всей цивилизации и ею обос-

новывал «богоносность» русского народа. Нет, коллективизация — это не только работа ГПУ и чрезвычайно старательных евреев, как нас пытается дезориентировать уважаемый А. Солженицын. В таком варианте она бы никогда не прошла, даже при участии нечистой силы. Проблема была в том, что Сельский Мир абсолютно не принимал инициативного мужика, который по глубокомысленному замечанию того же Достоевского, сразу становился «жидом».

А по мнению деревенского мира — кулаком. И это отношение не изменилось и по сей день. Не перебеж «справного мужика», глядишь, и колхозы со временем как-то нормально функционировали, как это делалось и делается в Израиле. К этому же времени относится и начатая Сталиным компания по вытеснению евреев из всех сфер деятельности, т.е. самых энергичных новообращенцев попросили... и начали раздувать российскую доминанту. Произшедший переворот означал откат Революции и победу Государства над Обществом. С этого момента общее между советской диктатурой и фашистской — это не внешняя схожесть, а глубокое онтологическое единство. Сталину удалось в одном лице объединить Робеспьера и Наполеона. Он уловил настроение деревни и подрастающей хищной поросли и стал действовать не вопреки им, а потворствуя такому настроению и довел эту линию до логического конца. Его воспеваемое византийское искусство интриги, в конечном счете, просто гипертрофированный популизм и эксплуатация дремучего невежества. В результате страна вернулась в исходное имперское состояние, внутренняя политика — к государственному антисемитизму, а деревня — к крепостному праву. И вся чудовищная бойня 30-х годов — это избиение коммунистических и прочих ортодоксов, сопротивляющихся переходу от первобытного интерсоциализма к русскому варианту национал-социализма.

Попытка этнического контакта провалилась, русский шовинизм взял верх, но тот короткий исторический миг, когда это новое сообщество, объединенное возвышенной идеей функционировало, дало потрясающий всплеск, позволивший тому, что родилось на развалинах российской империи, дос-

тичь по сути запредельных высот, став едва ли не самым могучим и влиятельным сообществом в мире. Победа над Гитлером из числа этих достижений.

Еврейская доминанта в мире вовсе не так велика, как ее представляют антисемиты, но отношение к евреям, как лакмусовая бумажка диагностирует наличие глобальных проблем в обществе, вынужденном обращаться к антисемитизму, как последнему средству, лежащему за пределами здравого смысла. Когда с недоумением и опаской читаешь и смотришь сегодняшние новости из России и узнаешь знакомые ситуации 37-го, невольно думаешь, как все роковым образом повторяется. И снова короткий в 1,5 десятилетия русско-еврейский альянс и — новые изгнания, и новые процессы по старым рецептам. И не схожа ли судьба России с судьбой ее самоуничтожившейся деревни, где палач и жертва выступали в одном лице и сегодняшние плакальщики по Великой России и Русской Деревне — это дети и внуки тех, кто все это с воодушевлением и чувством исторической миссии и осуществлял. И не насмешка ли истории, что гарантом «возрождения» все четче выступает не «закон» и «право», а наследники ВЧК и ГПУ. И как чувствовал себя А. Солженицын, который ждал окончания войны, как начала справедливого суда над Сталиным, а вместо этого его самого упекли в лагеря и преследовали всю жизнь, как он ощущал и воспринимал эту возрождающуюся сталинскую атрибутику и произвол ненавистных спецслужб?

У него не было времени, чтобы вписать в его еврейскую сказку новые взаимоотношения, возникшие от Исхода, это оказалось «за пределами жизненных сроков», но слово пророка о своей стране в столь драматический момент — как оно было необходимо. Но молчал Александр Исаевич, он больше по евреям...

Говоря о тех, кто «искренне ассимилируется» в русской среде, выскажу свои тревожные и обоснованные опасения. Если Троцкий стал демонической фигурой, олицетворяющей еврейство в попытке создания нового социалистического этноса, то и они могут стать таковыми, если христианство подвергнется ревизии.

Собственно, прецедент мы уже имеем. Розенберг в «Мифе XX века» выдвинул обвинение христианству именно в силу его иудейских корней. У Европы есть выбор. Либо с евреями против моровой исламистской плесени, либо, отказавшись от христианства влиться в эту новую стихию в надежде (абсолютно иллюзорной) взять ее под контроль, используя собственный интеллектуальный потенциал (который сам есть производная иудео-христианского симбиоза).

Израиль и разлагающее действие Еврейского Духа на цивилизацию — это и есть мобилизационный ресурс антисемитов на XXI век. Евреи, возможно, вылечатся от своей природной левизны, а левые окончательно порвут со своей иудео-христианской составляющей, избрав себе в союзники псевдоугнетенную дремучую массу мусульманского мира. И, возможно, в XXI веке будут говорить уже антисемиты не о том, что евреев и христиан разделяет, а о том, что их объединяет и тогда, может быть, и заколосится настоящая иудео-христианская культура, как единого, а не разделенного этноса.

Я не идеализирую свой народ. Направленность, даже внутренняя, глубинная к выживанию, больше, чем к жизни наложила свой отпечаток, проявив не лучшие черты (иначе евреи, как народ, давно бы исчезли среди враждебного окружения).

Но, тем не менее, евреи сохранили не только свою национальную принадлежность, а еще и некий древний дух, особый аромат, который проступает, бывает, при общении — этот налет настоящего, человеческого, не звериного, то чувство глубокой привязанности при полном отсутствии инстинкта сбиться в сильную стаю, ту ауру, которую ощущаешь при чтении Шолом-Алейхема или Зингера, тот небесный ветер, который евреи называют Шехиной.

И тот, который этого не ощущает, будет видеть только лицо хитреца, стяжателя, приписывая ему те мысли и устремления, которые имел бы сам при подобных обстоятельствах.

Приемом, когда с любого еврея снимают мерку для народа в целом, пользуются не только юдофобы. У нас хватает все-

го и на любой вкус. От пророков и до провокаторов и обязательно мирового масштаба — от Моисея и Христа до Азефа и Иуды. И где-то в глубине бьется такая мысль, а не лежит ли в каждом таком пророке нечто от провокатора по отношению к тем людям, которые живут и умеют жить только в своем времени и не чувствует ли каждый такой провокатор себя тоже пророком. И не есть ли, в конечном счете, эта страсть к пророчествованию и потрясениям национальной чертой, породившей миф об «избранном народе», обрекая сам народ на положение «изгоя», который ничто иное, как второй смысл понятия «избранный».

О ВЕРЕ, НЕВЕРИИ И СУЕВЕРИИ

Гермес Трисмегист (личность полумифическая), стоящий в основании современных мистических учений, по крайней мере тех, что связаны с тремя великими монотеистическими Религиями, утверждал, что Вера без Знания мертва. Сегодня это кажется странным, потому что подобное утверждение лежит далеко от магистральных путей христианства и ислама. Как известно, Евангелие провозглашает: «Блаженны нищие духом». И современному человеку кажется, что ничто так не удаляет от Церкви, как фундаментальное, тысячекратно проверенное на практике Знание. Но ведь еще Исаак Ньютон, который почти наш современник, открыв законы движения небесных тел и доказав их универсальность и тождество с законами земными, полагал эту гармонию сочетающихся сфер неопровержимым свидетельством Замысла.

Придется, однако, примириться с фактом, что ныне связь между Знанием и религиозным сознанием утрачена. Собственно, история Христианства — это есть история двух расходящихся Учений. Оно начиналось, как закрытая секта иллюминатов (заговорщиков), а развилось в широкую, «раскрученную» компанию прозелитизма, когда момент политический стал превалировать над духовным, что и послужило причиной расхождения с иудаизмом.

Еще в большей степени это можно отнести к исламу, где Знание вообще не предусматривается.

Что же за Знание имел в виду бесподобный и уникальный в своем роде Гермес?

Единственное всеобъемлющее и действительно тесно связанное с Верой знание, отголоски которого мы встречаем у Древних Греков (например, нумерология), возрожденное со временем Евреями — это Каббала.

Допускаю, что ни греческие школы Пифагора или Платона, ни еврейские мудрецы не отражают полностью универсальнейшую из наук, которую имел в виду таинственный египтянин.

Допускаю, также, что этический фундамент Торы — Декалог имеет расширительное значение, как законодательная база всего сущего, но эта его сторона безвозвратно утеряна. Не случайно иудаизм считает, что соблюдение этих законов улучшает всю структуру окружающего мира, а нарушение — разрушительной волной распространяется по Вселенной. Оттого и сидят десятки тысяч иудейских ортодоксов, корпят как проклятые над этими книгами, свято веря, что одним этим фактом оказывают сильнейшее воздействие на материальный мир.

Отголоски знания, условно обозначенного, как Каббала, разбросаны в тексте Торы и других книг иудейского Закона в виде притчей и знаковых, но не расшифрованных сюжетов, афористичность которых, став костяком культурной надстройки, говорит об их незыблемости и глубоком внутреннем смысле, пусть до сих пор не ясном. Кое-кто не без основания полагает, что иудаизм — это система, позволившая сохранить нечто очень глубокое, чей смысл самим евреям тоже не ясен.

Коснусь только одного аспекта. С грустью приходится признать, что Израиль в его нынешней политической ситуации практически обречен. И причиной этому не его внутренняя слабость или растущая мощь соседей, вовсе нет. За 70 лет его существования соотношение сил мало изменилось, а если и изменилось, то скорее в пользу Израиля. Но тут определяющей становится другая тенденция, постоянно и упорно замалчиваемая, хотя сама Книга об этом прямо вопиет.

Проблема иногда подается в СМИ, как проигранная информационная война, хотя дело здесь не в эфире, из которого еврейское государство не вылезает, а во внутреннем состоянии общества, которое только отчасти формируется СМИ.

В любом конфликте есть, по крайней мере, две стороны, но «правды» — три. Это правда истца, и правда ответчика, и правда судь, которая есть, в конечном счете, общественное

мнение. Стихийно предполагается, что в идеале судебское решение «по закону» должно быть и «по справедливости». Однако, еврейские тексты говорят, что это не так, совсем не так. И не в силу того, что суд может быть и в обход закона, а именно потому, что суд придерживается закона, но зависит от позиции сторон, что и является определяющим. И значит, правда суда располагается между этими позициями по принципу, который я бы назвал «принципом уравнивания». Библия иллюстрирует этот принцип, который важен чрезвычайно, не менее, чем любая из 10 заповедей Декалога, хотя в нем и не обозначен. Приведенная притча говорит, что к судье обратились с тяжбой двое, которые нашли на дороге кошелек с деньгами. Один его первым заметил, а второй — подобрал. Но тот, что заметил, предъявляет претензии на всю сумму, а тот, что подобрал, согласен на половину. Решение «по справедливости» здесь очевидно, но легковесно. Так до Галилея считалось очевидным, что мешок с ватой, сброшенный с крыши небоскреба будет лететь до земли дольше, чем свинцовый шар. В течение десятков тысячелетий люди, постоянно занимаясь разбрасыванием камней, верили в это неколебимо. И понадобилась прозорливость, если хотите гениальность Галилея, чтобы убедиться, что это не так, что ускорение свободного падения есть величина постоянная и от веса не зависит. Библия с не меньшей гениальностью противопоставляет принцип «по закону» принципу «по справедливости». Судья заключает: поскольку тот, кто согласен на половину, тем самым на вторую половину не претендует, то и предмет спора является только одна половина. Из чего следует, что одному по закону полагается $\frac{3}{4}$, а второму, склонному к соглашательству, либералу и примиренцу — только $\frac{1}{4}$.

Решение знаменательное и замечательное и к ситуации Израиля имеет прямое отношение. Безвыходность и заданность ее были заложена тогда, когда еврейское население подмандатной территории, а, фактически, евреи всего мира согласились на раздел Палестины. С точки зрения тактики политическое согласие было оправдано, иначе, возможно, Израиля, как сегодня Палестины, до сих пор не было бы на карте

мира. Но внутренняя, духовная готовность менять землю на мир изначально означает будущую катастрофу. Принцип уравнивания действует с непреклонностью Закона природы. Земля, которую предполагается менять на мир — это земля евреев, Эрец Израэль, ни одно поколение не может принять решение, добыв сомнительный мир для себя, но, отняв и землю и мир у тех, которые придут позже. Когда 70% палестинских арабов голосуют за Хамас, а, значит, за уничтожение Израиля, 70% евреев не могут, не имеют права голосовать за партию соглашателей, ибо это уже означает отложенный конец. У евреев есть глубинная историческая память о соглашательстве, которое стало причиной колоссальной национальной катастрофы. Не случайно, когда Римские легионы штурмовали снаружи стены Иерусалима, внутри их шла кровавая междоусобная война с теми, кто искал мира с врагом. Правы тогда оказались соглашатели, но только оттого, что они сами и открыли предательски ворота Веспасиану. Противостоять надо до самого конца, судьба сражения решается, бывает, в самые последние мгновения.

Война с врагом — это борьба за существование сегодня, война с соглашателями — это борьба за будущее. Подписывал судьбоносные решения в Кэмп-Дэвиде «ястреб» Бегин, а левым не достается ничего, кроме унижений. Даже победы их выглядят, как поражение. И представляется более оправданной позиция Хамаса, согласного на вынужденное перемирие, но отвергающего добровольный мир. Это не только вызов, это урок евреям, который нужно усвоить, чтобы выжить. А учиться евреи умеют. На это вся надежда. Возможно, будет момент, когда за мир проголосует 99% израильтян, но это должно быть не раньше, чем за него проголосует 99% палестинских арабов.

Евреи не колонизаторы и не пришельцы на своей земле. Такая мысль не терпима и преступна, от кого бы она ни исходила. Даже случаи покупки земли у арабов — акт аморальный. Мы имеем безоговорочное и суверенное право жить на земле, где в течение 1500 лет строили свою уникальную, абсолютно отличную от всего окружающего мира цивилизацию. Мы не

откочевывали оттуда, как Болгары или Венгры с Урала, как финикийцы из Ливана в северную Африку. Народы имеют тенденцию двигаться. Но евреев выселили силой, нагло, унижительно, выселили даже не переселенцы, а насильники и оккупанты. Римляне никогда не жили на земле Израиля, а ненавидели ее и лишь стояли нежеланным постоем. Это был акт жесточайшего геноцида, который совершается до сих пор. Ибо до сих пор по этому факту не признается исключительное право евреев на свою страну. Мы иной никогда не имели и не имеем. Это право не из милости ООН, не оттого, что мы пережили Катастрофу, не оттого, что Ротшильд или кто-либо иной покупал землю у тех, кому она не принадлежит. Это наше неотъемлемое право и только его безоговорочным признанием закончится длящийся почти два тысячелетия гнусный и унижительный геноцид, то вялотекущий, то вспыхивающий эпидемиями антисемитизма, который есть не что иное, как дымовая завеса, чтобы скрыть факт столь длительного насилия над целым народом. Немыслимые, высосанные из пальца преступления евреев должны поражать воображение не меньше, чем реальные преступления против них. Не случайно вокруг Холокоста ломается столько копий. Преступление, совершаемое столь долго и дружно, пытаются подменить и свести к единичному преступлению, совершенному немцами 70 лет назад. Но мы знаем, что Гитлер никогда бы не решился на это, не сознавая, что он лишь рядовой соучастник длящегося и длящегося гонения на народ, который 2000 лет не участвовал самостоятельно ни в каких политических процессах.

Мы не имеем права ни на минуту обо всем этом забывать, и нет таких обстоятельств, которые бы могли нас заставить сделать это.

ПРОКЛЯТЫЙ ДАР

Информация к размышлению

Часть 1.

ИЗ ГЯЗИ В КНЯЗИ

Вряд ли хоть один еврей в мире раньше или позже не задавался вопросом: «Отчего же нас так не любят?» Что мы такого особенного делаем, оставаясь в то же время в подавляющем большинстве искренне законопослушными и добропорядочными гражданами, обывателями из обывателей, преуспевающими, трудолюбивыми и чадолюбивыми. Мы не спекулируем нефтью и не шантажируем весь мир глобальным террором. Объяснять повсеместную враждебность к евреям, как не утихающую ни на минуту войну с иудаизмом давно уже не актуально. Евреи сегодня — это люди преимущественно светские, не более 15% из них активно придерживаются культа и соблюдают строгий кашрут. Тем не менее, антисемитизм все более свирепеет, угрожая превратиться в новую мировую религию, поспешающую на смену обанкротившимся коммунизму и либерализму.

И это все на фоне того, что все больше людей перенимает взгляды и манеры евреев, учатся у них жить так, чтобы жить самим и дать жить другим.

«Современная эра — еврейская эра, а двадцатый век — еврейский век» — утверждает известный историк, профессор калифорнийского университета в Беркли Юрий Слезкин. Смелое и дерзкое утверждение, многих либералов совокупно с профессиональными жидоедами от него покоробит, но не будем торопиться. Бросим ретроспективный взгляд на историю рода человеческого

Современный «Гомо Сапиенс» — человек разумный, — появился около 50 тысяч лет тому назад. Как считают некоторые ученые, на основании изучения человеческого гена, это была группа из примерно 150 мужских и женских особей, откочевавших из северо-восточной Африки в Азию, по пути, который впоследствии повторит (или не повторит) Моисей. Именно этот вполне человеческий вид со временем размножился и расселился на всех континентах, вытеснив или уничтожив более древние формы Гомо, прежде всего неандертальцев. В почти законсервированном виде он существует до настоящего времени в некоторых районах юго-восточной Африки, в Южной Индии, на островах Новой Каледонии и Новой Гвинеи, на континенте Австралия. Затронутые же бурным процессом истории современные континентальные расы сформировались лет тому тысяч десять назад после отступления льдов с евроазиатского континента. Первые цивилизации Шумерская, Египетская, Индийская (ведическая), Китайская — если снисходительно отнестись к некоторым преувеличениям представителей местной научной фауны возникли около 5000 лет тому назад — цифра сакральная, именно такой возраст предпочитают все предполагаемые наследники древнейших цивилизаций. Не будем спорить, тем более, что за чемпионов в этом турнире Древностей, т.е. шумеров, некому заступиться. Возраст этот подтверждается еще и тем, что, как опять же утверждают генетики, примерно к этому времени относится обретение человеком толерантности к лактозе, то есть к молоку одомашненных животных (и, как следствие, стойкой привычки к оседлой жизни и способности к развитию земледельческих цивилизаций). И почти сразу же возникают группы вторичных производителей, как правило, изгоев, специализирующихся на предоставлении товаров и услуг окружающему их земледельческому или пастушескому населению. Это адепты, как их образно описывает д-р Слезкин, бога Меркурия, или Гермеса — бога всех тех, кто не пасет стада, не возделывает землю и не живет мечом. Тех, чья профессия — посредничество, искусство врачевания, хитроумие, полиглотство. Им свойственны не столько героизм, сколько

смекалка, не столько благородство, сколько пронизательность и лукавство. Они нужны везде — и в царских палатах и в крестьянской избе. Они обслуживают все человечество. Им несть числа. Это и парсы в Индии, и индийцы в Африке, китайцы в юго-восточной Азии, выходцы из Эфиопии и Судана, обслуживающие другие части Африки, цыгане, парии — кузнецы и оптовые торговцы, они практикуют во всех регионах. Их ненавидят, презирают и боятся. Высший пилотаж в области меркурианства — это ростовщичество и предоставление дипломатических услуг. Немцы в центральной России, греки и армяне в Османской Империи выполняли ту же роль, что и евреи в Италии, Испании, Франции, Германии, Австрии и Восточной Европе, после того, как их выжили с родной земли.

Начав как бродячие торговцы, ткачи, плотники, парикмахеры, знахари, портные, поставщики алкоголя и пр., с началом развития в семнадцатом веке мануфактур, размывания ярко выраженных сословных различий и вовлечения в сферу обслуживания местного населения, эти группы постепенно переквалифицируются на финансовое посредничество, ростовщичество, судостроение и международную торговлю. К середине века двадцатого это уже ведущие банкиры, промышленники и знатоки социальных норм. Как это происходит, посмотрим на примере:

«Джайны, наряду с парсами наиболее успешные предприниматели колониальной Индии, формально не включались, как и парсы, в индуистскую кастовую систему, однако поистине странным народом их делала приверженность доктрине ненасилия по отношению к живым существам. Помимо строгого вегетарианства, доктрина требовала отказа от любой еды, в которой могут находиться мелкие насекомые и черви и запрещала принимать пищу после захода солнца, когда опасность навредить какой-либо козявке особенно велика. Главным же следствием табу на насилие было то, что всякий физический труд, в особенности землепашеский, содержал в себе угрозу осквернения. Джайны, поначалу бывшие воинами касты кшатрий, превратились в банкиров, ювелиров, ростовщиков, промышленников и торговцев».

Вот именно, не больше и не меньше. Начали, как воины, а продолжили, как ростовщики. Подобная история, если вспомним, произошла с тамплиерами в Европе, но их за это нехорошие дяди ограбили и сожгли на костре.

Действуют все эти торгашеские сообщества по одному образцу — это, как правило, замкнутые, эндогамные (не допускающие смешанных браков), политически автономные, этнические группы, находящиеся вне или сбоку существующих социальных структур. В этом их сила и непреходящая слабость. Как с париев и чужаков — с них первый спрос. Нередко они становятся объектом социальной нетерпимости, атак политических популистов, а то и жертвой разъяренной толпы. Создание образа «безнравственных» негодяев, таинственных и опасных, похоже, устраивает обе стороны. Устойчивая отрицательная оценка местным населением такого рода деятельности необходима для безропотного участия коренных жителей в тяжелой военной службе и сельском хозяйстве. Для меркурианцев же подобное отношение надежно защищало от конкуренции в делах исключительно прибыльных, но опасных. Единственное их оружие — это подчеркнутая, демонстративная невоинственность мужчин — отказ от драки, как и отказ от гостеприимства — чрезвычайно эффективный способ уклонения от межкультурных контактов. Функциональный евнух, шут не должен производить впечатление полноценного мужчины. Его амплуа — неопасный чужак (вот откуда средневековые кафтаны еврейских ортодоксов). Все они были «избранными народами» в том смысле, что открыто боготворили самих себя и принципиально отмежевывались от всех прочих. Например, наиболее распространенным способом описания роли и участия индонезийских китайцев является формула «евреи Азии». В конце 20-го века этнические китайцы, составляя очень незначительную часть населения, контролировали около 70% частного предпринимательства в Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии, Таиланде, Вьетнаме. Такой же пакет акций в частном бизнесе Латинской Америки держали в своих руках ливанцы, т.е. выходцы из Ливана, Сирии и Палестины и этнические индийцы в развитых стра-

нах Африки — в Танзании, Кении, Уганде, ЮАР и пр. За каждым из перечисленных государств и регионов тянется длинный шлейф насилий над «малым народом», занявшим специфическую социальную нишу. Жертвами становились сотни тысяч, как в Камбодже, или десятки тысяч при менее трагических обстоятельствах. Иди Амин в свое время изгнал из своей страны 70 тысяч ограбленных индийцев, а Сукарно — 130 тысяч ограбленных китайцев. Яростные антилевантинские кампании проводятся время от времени и в Южной Америке. Кстати, в некоторых частях Азии письменность и духовность имеют китайское происхождение, аналогично тому, как европейская духовность имеет еврейские корни. В конце 20-го века в Джакарте произошло событие, которое можно назвать только русским словом «погром». За два дня насилия сгорело около 5000 домов, более 150 женщин были изнасилованы и более 2000 китайцев были убиты. В аэропорту, на вокзалах, на улицах остались сотни брошенных мерседесов, чьи хозяева исчезли навсегда. И это только один из последних эпизодов.

Все это так, но даже среди социально близких адептов бога Гермеса евреи стоят особняком. И не только потому, что они в течение двух тысячелетий были главными «деловыми» самого динамично развивающегося региона — Западного Мира (было время, прихватывали и Восток, когда хазарские рахдониты дефилировали между Испанией и Китаем). Но и оттого еще, что когда сфера услуг в течение с 17-го по 20-е столетие повсеместно перестала быть занятием исключительно для изгоев (в Турции еще сто лет назад торговля считалась позорным промыслом, не достойным правоверного мусульманина), приобрела престижные черты, а в 21-м веке вообще стала самой распространенной в мире профессией, евреи во все не сошли с исторической сцены, не залезли в другую необустроенную нишу, а превратились в мощного интеллектуального конкурента на самых злачных направлениях. Положение евреев было и остается уникальным. С одной стороны это чужаки, тщательно оберегающие свою этническую, культурную и религиозную чуждость. Но с другой стороны европейская культура, европейская история, европейская духов-

ность имеет глубочайшую укорененность в еврейской истории, и эта еврейская история рассматривается, как собственная, как краеугольный камень Христианского Запада. Так что те, кто ревнует к успехам евреев, свободно могут считать эти успехи не заслуженными и узурпированными, а те, кто с евреями взаимовыгодно сотрудничает, имеет все основания полагать это сотрудничество абсолютно легитимным.

В период между двумя мировыми войнами в Венгрии, например, 90% всей промышленности контролировалось несколькими еврейскими семьями, состоящими в близком родстве между собой, евреями были и 70% самых состоятельных налогоплательщиков этой страны. В Германии, где в начале прошлого века евреи составляли один процент населения, в результате столетней политики либерализации 31% богатейших семейств имели еврейские корни. Все крупнейшие немецкие банки и половина всех остальных управлялись евреями. Аналогичная ситуация была в Австрии. 20% всех миллионеров Пруссии и Великобритании были евреями. Деньги были средством продвижения и образования. Образование создавало иллюзию надежности в будущем. Так что доля евреев среди студентов университетов повсеместно в пять-шесть раз превышала их долю в составе населения. В некоторых регионах восточной Европы практически весь средний класс был еврейским. Европейские евреи в целом были в среднем состоятельнее, чем неевреи (точно так, как и сегодня) и представляли собой значительную экономическую и политическую силу.

В Вене на пороге предыдущего столетия добрая половина всех адвокатов, докторов и дантистов, профессиональных журналистов, сотрудников медицинских факультетов и музыкантов называли себя евреями по вероисповеданию. Похожая картина была на всей территории Западной и Восточной Европы.

Успехи евреев в области науки были не менее впечатляющими. Пять из девяти нобелевских лауреатов веймарской Германии были еврейского происхождения. Этот невиданный успех евреев в самых престижных сферах деятельно-

сти не очень-то благоволивших к ним народов породил в начале 20-го века ожесточеннейшие споры, приведшие, в конечном счете, к Холокосту.

Евреи, выйдя в девятнадцатом веке из гетто, попали, мягко говоря, в среду, которая не имела против них иммунитета. Внутри стен гетто бурлила сила природного интеллекта, не вмещающегося в рамки академических либеральных представлений и деклараций о равенстве рас и социальной справедливости. Как это ни парадоксально, но ситуацию адекватно описывали только самые оголтелые человеконенавистники, воспаленное воображение которых не допускало никакого другого решения, кроме погрома и геноцида. «Мы или они» — так ставили вопрос убежденные националисты, изъясняющиеся на самых разных языках. Причина широкой популярности нацизма — осознание немцами своей неспособности открыто конкурировать с евреями. Предельно точно высказал эту же мысль известный русский националист Василий Шульгин:

«Я отдаю евреям все должное. Народ этот обладает самыми различными способностями; во многих отношениях достоин всяческого подражания — хотя бы в том отношении, что евреи искренне любят друг друга; народ этот обладает огромной волей и удивительной выносливостью; его природе свойственна великая трудоспособность, ненасытная любовь к деятельности, нервная сила его необычайна, и в этом отношении он превосходит, кажется, все другие народы... мы подчиняемся «физически» и долго еще будем (им) подчиняться; будем подчиняться и тогда, когда большевики уйдут, а с ними уйдет и внешнее еврейское владычество; будем подчиняться потому, что наша собственная сварливость и неумелость в некоторых делах отдает нас надолго в их руки; будем подчиняться потому, что воля у них куда, куда сильнее нашей. Но все же это только внешнее подчинение. Внутреннего же подчинения не будет».

Стоит прислушаться. Этот человек умел слышать подземный гул времени. Во время процесса Бейлиса, редактируемая им газета «Киевлянин» была, наверное, единственной

среди откровенно антисемитских изданий, которая выступала против самого процесса, против шитых белыми нитками обвинений и предупреждала о возможных чудовищных последствиях, которые не заставили себя долго ждать. И вспомнил, наверное, эти предупреждения царь Николай 11 в расстрельном подвале ипатьевского дома. Именно Шульгин в 1921 году заявил, что Россия в муках рождает самодержца. Сталина тогда никто еще не знал. Он еще был просто рябым, сухоруким, невзрачным грузином на фоне Ленина и ярких, сладкоголосых еврейских трибунов.

В двух главных политических центрах современного мира: России и Америке евреи сыграли исключительную, можно сказать поистине фантастическую роль.

Один из самых упорных идеологов расизма и очернителей еврейства Хьюстон Чемберлен считал роковым фактом, что «евреи стали непропорционально важной и во многих сферах первостепенной составляющей нашей жизни». Его более либеральный и академичный последователь Вернер Зомбарт утверждал, что иудейская этика породила современного еврея, современный еврей вызвал дух капитализма и, почти одновременно, его могильщиков и реформаторов.

Согласно Мэдисону К.Питерсу, знаменитому нью-йоркскому проповеднику и протестантскому богослову: «Еврейские деньги и еврейская поддержка лежали в основании проекта и подвига великого гегуэзца (Христофора Колумба), а еврейская энергия и еврейская предприимчивость помогли создать совершенно невообразимое ни в каком ином месте процветание этих далеких, ранее недоступных земель».

Еврейская бережливость и трудолюбие, фанатичная преданность идеалам, принципам своей расы и догматам своей веры, любовь к свободе и справедливости, их неутомимая жажда знаний стали природными чертами американской нации. Евреи суть олицетворение западной цивилизации, ее творцы и проводники. В Соединенных Штатах они самая богатая и самая образованная из религиозных общин.

В адрес евреев сказано много и разного.

«Единственный способ воспрепятствовать еврейским ученым в получении большинства научных наград состоит в том, чтобы не допустить их к соревнованию».

Это последний довод всех, кто, так или иначе, заикливался на еврейской проблеме.

«Не допустить к соревнованию» — остается актуальным во все времена.

Джон Фостер Фрезер, известный британский журналист высказался еще откровеннее:

«В том, что касается основных качеств, необходимых для формирования человека нового времени — расторопности и знаний — еврей превосходит христианина, последнему не остается другого выбора, как только признать, что в честном соревновании еврей всегда выигрывает. Американцы ценят честное соревнование превыше всего и оттого перенимали успешно привычки и навыки не у своих саксонских предков, а у евреев».

Творческий, гибкий, независимый, беспокойный еврей противостоял и методичному, до крайности послушному властям немцу и широкому, простодушному, романтическому русскому.

Согласно тому же Фрезеру:

«Если русский бесстрастно подумает, он наверняка признает, что его нелюбовь к еврею основана не столько на расе или религии, — хотя и они играют роль, — сколько на осознании того, что еврей его превосходит и что в соревновании умов еврей всегда выигрывает».

Француз Анатолий Леруа Болье, публицист и социолог заметил:

«Мы часто удивляемся разносторонности еврейских талантов, их поразительной способности ассимилироваться, быстро, с которой они усваивают наши знания и методы. Мы ошибаемся. Они были подготовлены наследственностью, двумя тысячами лет интеллектуальной гимнастики. Взявшись за наши науки, они не вступают на неведомую территорию, а возвращаются в земли, уже освоенные их предками. История подготовила Израиль не только к войнам на фондовых биржах и осадам больших состояний, но и к научным битвам и интеллектуальным завоеваниям».

Ну, к наследственности-то мы еще вернемся.

В Англии ходячим стало высказывание Тетчер: «У нас нет антисемитизма, потому что мы не боимся евреев и не считаем себя глупее». К сожалению, в этом высказывании все неправда. Во-первых, в старой, доброй Англии полно антисемитизма, т.е. он скорее есть, чем его нет. У англичан давняя слабость к арабам и предубежденность против иудейского семени. И у них, конечно же, полно собственных замечательных умников, каких евреям как раз и не хватает (скажем, в области управления государством). Но если считать количество умников на квадратную милю, то англичанам нужно молчать в тряпочку. И не удивительно, если бы было побольше, разве запустили бы они на свою землю такую тьму нелояльных и свирепых мусульман.

Было еще и такое объяснение еврейскому феномену:

«Еврей оказывается в авангарде современных научных изысканий, потому что он порывает со своими соплеменниками... Он становится возмутителем интеллектуального спокойствия, но лишь ценой превращения в странника, блуждающего по интеллектуальной ничейной земле в поисках места, где можно отдохнуть, — места, лежащего дальше на дороге, за горизонтом».

Поэтично, но туманно. Правда, ничем не ограниченная раскрепощенность, свобода ни к чему не привязанного странника дорогого стоит. Впрочем, не надо обольщаться, я не знаю ни одного еврея, который не был бы глубинно привязан к собственному еврейству, даже если не верит в покровительство Бога, даже, если он отщепенец, даже, если он самоненавистник.

Нигде евреи на пороге нового времени не притеснялись так последовательно и безнадежно, как в России. Но именно на этой почве суждено было наиболее доказательно и выпукло проявиться еврейскому гению. Официальная, самодержавная точка зрения была, несомненно, верной — большинство полуграмотных русских крестьян, отпущенных на свободу, оказались в невыгодном положении по сравнению с посредниками, особенно с евреями — самыми многочисленными,

сплоченными, подвижными и урбанизированными из «деловых русских». Евреи очень умело вели дело. Еврейские мастера производили товары для еврейских промышленников, которые продавали их еврейским закупщикам, которые обслуживали еврейских оптовиков, которые поставляли их еврейским розничным торговцам, которые использовали еврейских коммивояжеров. Иногда первичное производство отсутствовало, но вся остальная цепочка действовала безотказно. Знаменитая «Еврейская вертикаль». В этой вертикали находили себе место евреи самого разного уровня подготовки, от простых «ам хаарец», до купцов первой гильдии. Перед первой мировой войной евреи России были близки к тому, чтобы заменить немцев в качестве образцовых хозяйственников. При благоприятных обстоятельствах, очевидно, избеги Россия революции, в начале 20-го века она скорей всего походила бы на Венгрию, деловая элита которой была исключительно еврейской. Неповоротливый государственный механизм российской империи с недоумением присматривался к живой, копошащейся массе на своих Западных окраинах, доставшейся ей в результате раздела ненавистной Польши. Изначально евреи воспринимались исключительно, как головная боль. Совершенно не ясно было, что с ними делать. Патриархальная Русь только начинала въезжать в процесс реформации, она активно интриговала в области внешней политики, но прозябала в области внутренней. Услышав первые раскаты будущей бури, царские чиновники и не представлявшие даже с кем имеют дело, что это за ребята, натрудившие за чтением талмуда огромную мозговую мозоль, решили прислонить евреев к пользе, искренне держа их чуть ли не за папуасов. Т.е., слегка приоткрыли дверь в клетке. Через щель полезла густая, ядерная, пышущая неукротимой энергией масса. Министр просвещения Д. А. Толстой в 1875 году, обрадованный тем, что евреи охотно меняли учебу в хедере на учебу в гимназии, заявлял, отмечая успехи евреев-гимназистов: «Гимназии наши должны производить аристократов, но каких? Аристократов ума, аристократов знания, аристократов труда. Дай Бог, чтобы у нас больше было таких аристократов» Его призыв был ус-

лышан. В 1882 году тот же Толстой Д. А., уже министр внутренних дел, писал царю о любви евреев к учебе и о крайне неблагоприятной роли евреев в революционном движении. К 1888-му году Толстой превратился в самого яркого приверженца антиеврейских квот в учебных заведениях. Подобным же образом поменял свои взгляды один из лучших юристов России, либерал В. Д. Спасович, когда обнаружил, что из 264 помощников присяжных поверенных Санкт-Петербургской Судебной Палаты 109 православных и 104 еврея. «Мы имеем дело с колоссальной задачей, не разрешимую по правилам шаблонного либерализма» — заявил он.

Более сдержанные не опускались до открытых деклараций. Но втайне разделяли это мнение.

Роли евреев в советской России даже не буду касаться. Это сага, поэма. Новая Хазария, величественная и могучая во всех своих проявлениях, жестоких и трепетно-романтических. Не зря вся левацкая, либеральная братва на Западе исходила тайной любовной негой к Советскому Союзу и с какой-то мазохистской страстностью шпионила на него, как мальчиш-плохиш выдавала все свои капиталистические секреты, закрывая глаза на всякие там ГУЛАГи-шмулаги. Отмечу только, что никогда еще евреи не служили с такой преданностью и страстностью ни одной державе, искренне восприняв советскую власть, как свою отчизну и практически пожертвовав во имя этого своей идентичностью. Не было такой области, в которой евреи здесь не выказали своего исключительного энтузиазма. И если мы говорим, что они несколько излишне густо заполняли следственные кабинеты ЧК — ОГПУ — КГБ, то надо отметить, что около 40% всех нэпманов тоже носили еврейские фамилии, а официальную советскую англоязычную газету «Moskow News» редактировали 1 русский, 1 армянин и 23 еврея. Для широты спектра еще присовокупим, что из шести человек, впервые получивших от советской власти по три золотые звезды Героя (за создание ядерного щита) трое было русских: Курчатов, Духов и Щелкин и трое — евреи: Ванников, Зельдович и Харитон. Ну еще «Катюшу» добавим, которая ошибочно воспринимается как чисто русский, национальный

артефакт. Да ладно. Любовь-то оказалась неразделенной. Народу русскому, надо сказать, это все не нравилось. Народ сильно серчал. Вот ходят толпы грустных евреев и спрашивают друг друга — за что, ну почему нас не любят, мы ведь всей душой. А кто и где любил меркурианцев? Тут ведь не одна зависть, как легкомысленно и упрощенно считают некоторые. Черт с ним, в конце концов, с этим куском хлеба с маслом — не хлебом единым... Тут нечто большее, тут борьба видов. Тут очень характерная история с происхождением вождя российского пролетариата. В 1924 году сестра Ленина каким-то образом раскопала, что их дед с материнской стороны при рождении получил имя Сруль Бланк. Еврей Каменев на это среагировал: «Я всегда так думал». Однако, заговорщики-интернационалисты предпочли держать этот факт в секрете. Понятно почему. В 1934 году Анна Ильинична просила пересмотреть отношение к «этому факту», наивно утверждая, что ее находка является научным подтверждением «исключительных способностей семитического племени» и оружием для борьбы с антисемитизмом «вследствие любви, которой Ильич пользуется в массах». В ответ гораздо более осведомленный и дальновидный Сталин посоветовал ей заткнуться и распорядился «молчать... абсолютно».

Россия, как известно, предпочла более понятный и привычный национальный путь, чем «вместе» — то ли в сияющее, то ли в пропахшее гарью будущее.

В общем, с истоками неувядающего антисемитизма мы вроде бы разобрались.

И с причиной его необъятного распространения тоже. Тому читателю, которому это утверждение покажется неубедительным, я рекомендую просто перечитать все вышеизложенное. Успехи, достигнутые евреями на ниве христианской культуры, сродни успехам на ристалище гладиаторов.

Чувства антисемитов лучше других мог бы понять тот безжалостно уничтоженный нашим далеким предком, тем самым Гомо Сапиенс — древним гвинейцем или австралийцем, бедный неандерталец, бесконечно свирепый, отважный и могучий, который оказался совершенно беспомощным перед

значительно более слабым, но лучше организованным и коварным противником, вооруженным биологическим оружием — заостренными палками, вымазанными в дерьме.

Холокост — это коллективное мероприятие, в котором участвовали в той или иной степени все народы Европы, Азии и Америки. Массовую экзекуцию осуществляли немцы с активной помощью украинцев, поляков, прибалтов, кавказцев и пр. Но совершалась она вовсе не в подвалах Лубянки или берлинского гестапо, а прилюдно, в присутствии миллионов и миллионов любопытных зрителей, и в первых рядах этой жадной до зрелищ толпы заметны были французы, русские, англичане, американцы, латинос, арабы и пр., пр.

Проявляемая евреями исключительная прыть в областях, считающихся прерогативой элиты любого общества ни у кого не вызывает сомнения. Их успехи объясняют по-разному, но все сходится в одном, что ни одно из сообществ и ни один народ не нашел способа противостоять этой прыти и этому устремлению, кроме как крайне дискриминационными мерами, но эти крайние меры неизбежно ведут к краху или закату этих сообществ, как это случилось с Древним Римом, с Великой Испанией, с царской Россией, с фашистской Германией, с вильной Украиной времен хмельниччины и с Советским Союзом, в свой закатный период, исповедовавший фактически не марксистский интернационализм — еще одно еврейское изобретение, — а последовательный, вязкий государственный антисемитизм.

Часть 2. **ГОМО ЮДЕУС** **(Сокровенная генетика)**

Согласно Стивену Дж. Уитфелду «если евреи были непропорционально радикальны, то, возможно, потому, что они были непропорционально интеллектуальны». Непропорциональная интеллектуальность означает именно непропорционально высокую общинную потенцию, а вовсе не поголовное превосходство. Кстати, подобное непропорциональное пре-

восходство открыто являют миру в последние несколько десятилетий африканская раса в области некоторых видов спорта, которые они заслуженно приватизировали. На фоне постоянно испытываемого чувства стыда у западных либералов за свое колониальное прошлое эта явно дискриминирующая всех «белых» тенденция воспринимается без особых истерических выкриков. В принципе, это явление одного порядка с еврейским феноменом. Как говорится все равны, но одни равны более, чем другие. Но ведь этот же принцип действует и между всеми людьми — глупо устраивать истерику из-за того, что кто-то не вышел ростом или с рождения не обладает музыкальным слухом. Есть тысячи способов проявить себя в этом сложном мире — не обязательно в шахматах, в баскетболе или со скрипкой в руке. Нужна только целеустремленность и воля, которой как оказалось, у не пропорционального числа евреев более, чем достаточно.

Успехи генетики вольно или невольно возродили разговоры о расовых отличиях и расовом «превосходстве», хотя сам этот разговор в «приличном» обществе нынче считается не приличным. Но, в общем-то, генетика пока еще не много дала пищи для серьезного изменения существующих взглядов. Не вызывают сомнения этнические и расовые различия в отношении цвета кожи и способности вырабатывать витамин Д под действием солнечных лучей (только у светлокожих), толерантности к некоторым серьезным заболеваниям, к наркотикам и исключительные способности к некоторым видам спорта, особенно у народов, не вышедших из стадии родоплеменных отношений. Это еще не свидетельства сколько-нибудь серьезных отличий в генофонде сложившихся этносов и рас. Скорее намеки, где нужно их искать и сколь незначительными и размытыми они могут оказаться. То, что межрасовые брачные связи не вызывают никаких затруднений или проблем, свидетельствует о единстве человеческого рода, не зависимо на какой стадии общественного развития находятся отдельные этнические группы. И не удивительно, если взять во внимание, что даже разница между геномами человека и шимпанзе составляет всего навсего 1%.

Но, тем не менее, кое-что генетика нарыла. Наверное, следует подвергнуть сомнению, что Гомо Сапиенс есть последняя ступень развития приматов. Мы давно уже являемся свидетелями существования более продвинутого человеческого рода, только молчим об этом.

Немцы опередили события, пытаясь натянуть на себя одеяло, и... опорочили саму идею, так что все теперь смотрят на проблему глазами антифашистов. Это все равно, что смотреть на религию глазами воинствующего атеиста. Между прочим, генетика однозначно утверждает, что наиболее современная, то есть последняя из сформировавшихся рас является вовсе не европеоидная — «арийская», а раса монголоидная.

Наличие на земле сообществ, до сих пор живущих в каменном веке, порождает вопросы. Адвокаты расового нивелирования объясняют столь большие отличия их от культурных современных сообществ исключительно неблагоприятными географическими и климатическими условиями.

Джаред Даймонд из калифорнийского института в Лос-Анжелесе, который провел много лет в Новой Гвинее, изучая местных птиц, убежден, что разница между образом жизни островных аборигенов и европейцев вызвана не биологической разновидностью двух расовых типов, а тем, что в Евразии изначально были сосредоточены почти все одомашненные образцы растений и животных. Что, живя скученно в окружении домашних животных они, в конечном счете, счастливо выработали в себе иммунитет к таким, связанным с животными болезням, как инфлюэнца, корь и оспа, которые практически опустошили другие, не урбанизированные, менее удачливые континенты. Даймонд объяснял, что, проведя много лет рядом с «дикарями», он хорошо узнал их, полюбил и проникся к ним величайшим уважением, прежде всего к их интеллекту. Он высказал сомнение в правомерности теста IQ, широко используемого в США, который в течение десятилетий демонстрирует низкий уровень интеллекта афроамериканцев по сравнению с белыми выходцами из Европы.

По мнению Даймонда дикари Новой Гвинеи, возможно, даже более интеллектуальны, чем европейцы и именно по причине наследуемой ими генетики. Ибо на Западе борьба со всякого рода недугами давно уже отдана на откуп химии, в то время, как в Новой Гвинее главным распорядителем жизни и смерти является война, насилие и голод. Натуральная селекция, по его мнению, является гораздо более эффективным и безжалостным средством, чтобы выживали самые интеллектуальные. Ментальные возможности, которые проявляют дикари в реальных и постоянно экстремальных обстоятельствах были бы не по плечу европейцам. Здесь надо заметить одну вещь. Еще тому лет сто назад западные культуртрегеры высокомерно полагали островитян едва ли не самыми миролюбивыми людьми на земле. Их даже называли самыми «миролюбивыми воинами». Такое мнение возникало при ознакомлении с их орудиями убийства, явно не пригодными для ведения «правильных» войн. Однако, более пристальное внимание раскрыло совсем другую картину. Оказалось, что первобытные общины существуют в состоянии постоянного кровавого конфликта с соседями из-за территорий и женщин. Кроме того, они непременно усиливают эффективность своих дротиков, копий или стрел, используя яд или экскременты (как в Австралии), так что каждое, даже незначительное ранение во время частых стычек вызывает отравление или заражение крови. Выживают очень немногие. Смертность от войн и насилия в таких диких сообществах составляет, как оказалось 30%. В то время, как в культурном мире при всех его ужасных средствах уничтожения себе подобных этот процент всего лишь 0,2.

Так что объективно выходит, что вся история цивилизации человека, это история снижения уровня агрессивности по отношению друг к другу, когда операция обмена все более широко заменяет альтернативные операции отъема и грабежа. Это может вызвать неудовольствие какого-нибудь философа типа Ницше, который усмотрит в таком прогрессе деградацию, подмену героя-воина рядовым невзрачным потребителем, но это так.

Правда, возникает вопрос, отчего же такие умные гвинейцы до сих пор не догадались отказаться от примитивного трайбализма, затягивающего их в омут непрерывных войн и проблемы эти не разрешаются в течение десятков! тысячелетий. Оттого, очевидно, что сами они их решить не могут и не решат, пока кто-то не возьмет на себя инициативу. Впрочем, кто будет связываться, учитывая упомянутую Даймондом селекцию.

Генетические исследования позволяют считать концепцию Даймонда ошибочной. Действительно, Евразия является родиной основных агрокультур и одомашненных животных, что привело к невероятному изменению в области ведения хозяйства, формирования семьи, общества и так далее. Все это произошло около 10 тыс. лет назад. Но, главное — и генетики и археологи это утверждают, — что появлению окультуренных растений и животных предшествовало одомашнивание человека, а не наоборот. Сначала по какой-то причине человек одомашнил себя, перешел к оседлой жизни, перестал остервенело гоняться за дичью и прилепился к ландшафту. К этому времени относятся и серьезные генетические изменения в человеческом скелете и черепе. И то и другое становится более тонким и изящным — человек приобретает вполне современные черты. Его основное занятие — культивирование диких растений. Потом наступит черед интенсивного одомашнивания животных, выведения полевых культур, возникнут первые земледельческие цивилизации. Решающим во всем этом процессе было не одомашнивание животных и растений, а предшествующее этому самоодомашнивание, снижение агрессивности, явно связанные с серьезными генетическими подвижками. Так что было бы логичным полагать, что 10 тыс. лет тому назад на земле возник и расселился Гомо Доместикус, уже полностью «наш человек».

Развивая тему эволюции вида Гомо, самое время обратиться к сухим, но очень многозначительным фактам.

Известно — достаточно заглянуть в любой справочник, или не поленившись залезть в интернете на «Гугл» или «Ви-

кипедию», — что добрая четверть всех нобелевских лауреатов имеют еврейские корни (155 во всех номинациях), тогда как Россия насчитывает лауреатов всего 22, причем 7 числится именно за Россией, из них 3 еврея (Абрикосов, Гинзбург, Мечников) и 15 — за Советским Союзом, из них 5 евреев (Канторович, Ландау, Пастернак, Франк, Бродский). Любой из перечисленных — это целый мир, которым могли бы навеки гордиться, скажем, целая арабская нация, если бы имела что-либо подобное.

Определение индивидуального Индекса IQ, возможно, и не идеальный метод для оценки интеллекта, но, как всякий экзамен, к умственным способностям все же имеет некоторое отношение и оттого очень популярен в Америке. Этот показатель у «арийских» выходцев из Европы — планка, к которой следует стремиться остальным — достигает «140» у четырех человек из тысячи. А у евреев (тоже выходцев из Европы), соответственно у 23-х человек из тысячи. Разница не в процентах, а в 6 раз. У Барака Хусейна Абамаы он, кстати, всего 120. Впрочем, средний IQ для европейцев, еврейских и нееврейских, он равен 115.

Ну и что же с этим делать. Или евреи действительно на землю с луны свалились? Оставим концепцию любимого Богом, избранного народа про запас. Она-то сразу все объяснит. Или не объяснит ничего.

А что по этому поводу говорят нам генетики?

История популяции евреев изучена более, чем всех других групп, что принесло целый урожай сюрпризов. Первая особенность, из которой следуют все остальные та, что евреи заключали браки исключительно между собой в течение столетий, живя небольшими колониями — общинами в разных странах. Еврейское общество было в такой степени закрытым и эндогамным, как будто они жили на удаленном острове. И это продолжалось чуть не две тысячи лет, почти до самого сейчас. А это значит, что популяционный генный котел имел достаточное время, чтобы развить собственную генетическую историю и эта генетическая история проливает свет на многие важные явления и события.

При жесткой эндогамии генный котел не имеет механизма разжижения за счет смешанных браков. В условиях, когда котел закрыт крышкой и его разогревают селективным давлением, популяция начинает перебирать и накапливать генетические варианты (мутации есть всегда), в направлении наибольшей выживаемости. Таковы правила игры в наследственность. Исторически сложилось так, что конкретная еврейская община, а именно Ашкеназы — евреи Северной, Центральной и Восточной Европы — длительное время находились под сильнейшим прессингом. Ревность к роду их занятий со стороны коренного населения, которому активно не нравилось делиться с евреями конфетами, которых всегда на всех не хватает, сопровождалась сильнейшей ревностью на религиозной почве при дележке общего духовного наследия. Если сложить два плюс два, то мы имеем идеальные условия для запуска эволюционного процесса. Реальность такова, что в кустах оказался пригодный вариант генов для высокой частоты повторения. Этот вариант генов хорошо известен специалистам тем, что при наследовании от обоих родителей они становятся причиной разных серьезных заболеваний. Но, как считают те же исследователи, он едва ли мог стать таким распространенным (а не исчез) из-за того только, что является причиной недугов. Естественный отбор его бы выбросил из популяции. А чтобы закрепиться и получить распространение, как это произошло на самом деле, он обязан предложить еще некоторый специальный бенефис, Гипотетически таким бенефисом могла стать повышенная интеллектуальная потенция. Жизнь предъявляла запредельные требования к уровню ментальной ловкости, чтобы спастись в экстремальных ситуациях и сохранить свою идентичность. Прессинг был практически неутрачиваемым, безжалостным, накатывающимся волнами в период между восьмым и семнадцатым веком, он подтверждается всей кровавой историей еврейско-христианских отношений.

Несколько бригад авторитетных исследователей в Америке буквально землю роют с серьезными намерениями до-

казательно подтвердить или опорочить эту гипотезу, тем более, что она имеет несколько интересных вовлечений, включая то, что мы имеем очень современный и динамический пример эволюционного изменения Человечества.

Наследственные недуги, о которых идет речь, хорошо изучены и даже носят название болезней Менделя, поскольку являются причиной единичных мутаций и наследуются при ясных обстоятельствах, в отличие от распространенных среди тех же Ашкеназов заболеваний раком или диабетом, которые могут быть причиной вовлечения многих генов. Вообще, принцип сохранения в популяции «бракованных» генов из-за их побочного эффекта в качестве панацеи от других чрезвычайно опасных болезней, это нормальная практика и оружие естественного отбора и некоторые такие решения тянутся из глубочайшей древности. Например, одна из мутаций в списке болезней Менделя вызывает специфическую анемию, но зато гарантирует врожденный иммунитет к малярии, которая в свое время выкашивала целые регионы.

По крайней мере, 40 разных болезней Менделя зафиксированы в еврейской популяции. Они даже иногда называются еврейскими болезнями. Часть из них случается и среди не евреев, часть присуща всем еврейским общинам, часть присуща только определенным общинам. Зачастую сами эти болезни являются ключом к скрытым страницам истории.

Популяция Ашкеназов вызывает неизменный интерес, поскольку продуцирует чрезмерное множество высокоодаренных индивидуумов и в Европе и в США и в других странах, где они оказались в результате нацистского террора. Вторая особенность, присущая этой группе — характерный набор болезней Менделя. Не менее четырех из них, связанных с внутри клеточным метаболизмом, известны, как сфинголипиды, названные так по причине, что они загадочны, как сфинкс. До сих пор не понятно, какому богу служат. Никакого иммунитета к специфическим недугам они не внесли, хотя входят в ту же группу, что и мутация, ответственная за иммунитет против малярии, счастливо (или не очень) при-

обретенная человеческим геномом 5000 лет назад. Эволюция иногда корректирует эти «черновые», произведенные как бы наспех исправления, снижая уровень побочных эффектов, иногда нет. Но ясно, что некоторые наши предрасположения к болезням имеют подобную причину. Ну, вроде, как побочные эффекты от лекарств. Так что нет и не может быть абсолютно здорового организма, точно так же, как и абсолютно больного.

Раз за разом заинтригованные ученые задавались вопросом: если уж сфинголипиды генно закрепились в популяции, как протекция против болезни, то какой?

Вывод исследователей был очень осторожным, но шокирующим. Тем более, что касается чрезвычайно болезненной темы, где шаг влево, шаг вправо — расстрел (общественностью).

Главный недуг, который евреям приходилось преодолевать снова и снова в течение столетий, это преследования про запас и ограничения, запрет на большинство привычных для людей занятий. Чтобы стать над обстоятельствами, необходимо было активно изобретать новые сферы деятельности, новые грани в тех отраслях, которые вызывали отвращение у коренных жителей. В противном случае евреев просто выживали или изгоняли из страны. Существование среди чуждых народов даже в роли заурядных обывателей требовало от них, в отличие от всех остальных, особой ментальности и исключительных способностей. По мнению исследователей, иммунитет против такого недуга и внесли сфинголипиды.

Кстати, ни отмеченных мутаций, ни каких-либо специфических способностей не отмечено у евреев (сефардов и восточных евреев), оказавшихся под пятой мусульман, которые сознательно и последовательно вытесняли их в сферу низко квалифицированного труда, на самый низ социальной лестницы.

Сторонники виновности сфинголипидов в повышении интеллекта ашкеназов убеждены, что мутации (собственно это уже не мутации, а обновленный генотип) служат для ускорения роста и коммуникаций нейронов, иногда путем бло-

кирования сдерживающих механизмов. Мозг ведь обладает огромной незадействованной потенцией в данном направлении, мы это еще наглядно увидим. Они верят, что все ашкеназийские мутационные патологии, уже известные и те, что еще предстоит открыть, служат для овладения искусством познания, которым популяция ашкеназов пользовалась, как искусством выживания.

Генетика сплетничает об Ашкеназах еще и касательно их этнической принадлежности, в связи с имеющим место быть громким спором насчет естественного права евреев на доисторическую Родину.

Получается, что мужчины этой группы имеют явные и неоспоримые общие корни с прочими жителями Ближнего Востока (одна Y — хромосома передается исключительно по мужской линии и может быть прослежена в глубь истории на тысячелетия). Женщины — совсем другой коленкор, они генетически кровно связаны (в далеком прошлом) с женщинами стран проживания (здесь тоже прослеживается одна ДНК, передающаяся исключительно по женской линии). Такой вот твердый сплав Востока и Запада. Вожделенная мечта европейских колонизаторов. А говорили, что Восток есть Восток, Запад есть Запад и они никогда не сойдутся.

Нынешний еврей сильно отличается от древнего или средневекового. Шейлок сменил бархатный костюм купца на судейскую мантию, на ермолку академика, на мундир генерала. Неизменной осталась традиция, предпочтение интеллекта воинственности.

В реальной истории нет места романтическим бредням Кастнера или Занда. Евреи есть евреи, они не тюрко-хазары и не иудействующие европейцы. Они, как и еще недавно наши бабушки и дедушки, строго воздерживались от нежных привязанностей к «гоям». Об это криком кричит весь еврейский фольклор.

Тех, кто этот запрет не соблюдал, из общины изгоняли. Стопроцентная грамотность, даже в самых низах, необыкновенное почитание учености, когда ученый человек — раввин

был единственным и безапелляционным арбитром, и, главное, то, что ученость ценилась больше богатства, в том числе и среди самых состоятельных. Да, да, девушка из богатой, порядочной семьи могла с полного согласия родителей отдать (и отдавала) руку и сердце нищему начетчику, талмудисту, готовому всю жизнь просидеть за книгой. О роли еврейских девушек из купеческих семей в выведении «новой породы» людей еще будут написаны фолианты. Именно в семьях раввинов практиковалось (и поныне практикуется) особое чадолюбие, не в последнюю очередь при поддержке богатенького тестя. Не удивлюсь, если кто-нибудь докажет, что значительная часть носителей самых известных миру имен, укоренены в каких-нибудь старых, патриархальных раввинских семьях, как у Карла Маркса.

Беспрецедентный прессинг, которому в течение более полутора тысяч лет подвергалось европейское еврейство в виде платы за материальное благополучие, почище «интеллектуального естественного отбора» у гвинейских дикарей. Там погибает от насилия только 30%. А здесь альтернативой было полное исчезновение. Любой другой народ в таких нечеловеческих условиях действительно исчез бы, вымер. Но евреи сохранили себя и предъявили миру кое-что совершенно уникальное, и это уникальное отлично от всего, что существует в виде организованных общин — этносов и, можно сказать, представляет устойчивый новый вид Гомо Юдеус. Возможно, такое заключение заносит нас в область экзотических гипотез, но в том, что этот вид реально существует, убеждены повсеместно на земле гораздо больше людей, чем тех, кто верит в существование снежного человека. Это еще одна особенность, присущая исключительно еврейской популяции. И такое убеждение сохранится, если даже сам вид Гомо Юдеус растворится в течение ближайших десятилетий в громадном генетическом котле смешанных браков.

Все ведь не так просто. В мире официально насчитывается около 12 миллионов евреев. Как минимум, половина из них — Ашкеназы. Известно, что среди ашкеназов США около

15% являются носителями сфинголипидов и более 60% несет в себе тот или иной мутационный ген, ответственный за возможные наследственные проблемы. Как правило, эти болезни проявляют себя, если только оба родителя являются их распространителями.

Чего проще, проверить всех на тест IQ и получить доказательную базу, что именно носители мутационных болезней и есть мировые интеллектуальные чемпионы.

Не получается.

Невольно напрашивается аналогия с ментальным заболеванием, называемым аутизмом. Люди с таким врожденным дефектом страдают невероятными трудностями в общении с окружающими, особенно в детском возрасте.

За последнее десятилетие уровень аутизма вырос в 10 раз, и считается, что он будет продолжать расти. Профессионалы, занимающиеся проблемой аутизма, призывают прессу не раздувать шумиху, пока не выяснятся причины этого роста. Предполагают, что аутизм кодируется не одним, а несколькими генами.

Некоторые аутисты интересны еще и потому, что проявляют способности, которые потом в своих фильмах эксплуатируют голливудские продюсеры.

Рэймонд Беббит («Человек дождя») помнил, кто в каком году выиграл матч на первенство НБА, знал наизусть телефонный справочник и мог в уме вычислить квадратный корень любого четырехзначного числа. Маленький Саймон («Восход Меркурия») с первого раза расколол код ФБР. И это отнюдь не преувеличение. Судя по американской статистике, 10% аутистов обладают выдающимися способностями, в то время как среди обычных людей этот показатель меньше 1%. Никакого внятного объяснения этот феномен не имеет. Никто не знает, почему одни аутисты запросто решают сложнейшие математические задачи, в мельчайших подробностях копируют Рембранта и могут с первого раза по памяти воспроизвести фугу Баха, а другие (согласно статистике, около 50%) по развитию ничем не отличаются от олигофренов.

Математические способности встречаются у аутистов наиболее часто и проявляются в достаточно раннем возрасте. Особенно интересна их необычная способность к программированию. Аутисту ничего не стоит за два дня выучить новый компьютерный язык, просто изучая исходные коды — задача для обычного человека совершенно неразрешимая. Именно поэтому аутистов в последнее время стали широко использовать в компьютерных фирмах. Например, у Билла Гейтса, по разным данным, от 5 до 20% персонала — аутисты.

Некоторые называют эту болезнь Проклятым Даром.

Что ж, для евреев приобретенный дар, хотя и имеет другую природу, стал проклятым трижды. Чувство избранничества, сопровождающее нас с древнейших времен, оказалось пророческим. За щедрость природы, проявляющейся столь заметно и вызывающе, мы заплатили такую высокую коллективную цену, что она кажется чрезмерной. И эта цена, похоже, никогда не станет меньше. Она не подвержена инфляции. Это иррационально (с точки зрения еврея, с его вечным — что плохого в нашем исключительном рвении для всеобщей пользы?), но так по-человечески.

Мы оказались в мире, который сами приближали, как могли. Где либерализм стал навязчивой идеей, идефикс, где толерантность начинает перехлестывать через край. Но сам факт наличия еврейского феномена — это дискредитация, тротильный заряд под общество, в котором некоторые результаты исследований по физиологии и психологии разных рас просто запрещены к публикации, являются такой вещью в себе, о которой лучше всего вообще не говорить. Чтобы не разгребать последствия «политически некорректных» выводов.

Тотальный, ничем не замутненный либерализм спотыкается об евреев, как о камень преткновения. Если либерализм для всех, то евреи непременно вырываются вперед, но если не для всех, то какой же это либерализм. Опять вопрос: либо, либо... Апория, философский парадокс, логический затык. Александр Македонский предлагал разрешать такие задачи с по-

мощью меча. Гитлер примитивно спер у него эту идейку. Зачем ломать голову, легче устроить философу темную и заставить его молчать.

Но есть и другой, гораздо более цивилизованный метод.

Возможно, «смелое и дерзкое» утверждение Юрия Слезкина и есть единственное достойное решение самой замысловатой из апорий, предложенных человечеству, не иначе, как самим Господом Богом.

Или шанс уже упущен?

СОДЕРЖАНИЕ

А. Кузьменков. Залман Шмейлин: графомания как прием 5

ПОЭЗИЯ

Мельбурнский свинг	9
«Дождь по крышам, гроздья вишен...»	10
«Не замечаю в упор любого...»	10
«Я иссякаю, выжат, как лимон...»	11
«Не удручен и ничуть не растерян...»	11
«По стеклу колотит густо дробь...»	12
«Ничего никому не отдам...»	12
«Тихо так, что хочется вопить...»	13
«День стирается до донышка, до глянца...»	13
«У царя свободных только двое...»	13
«Мой трамвай не уйдет из-под самого носа...»	14
О бабке и внучке	14
Кокетка	15
«Непоседа, грациозно-тонкая...»	15
«Предположим, был бы я всезнайкой...»	16
«Не все потеряно, не все еще прошло...»	17
«Я один на один с личной музой своей...»	17
«На мгновенье мелькнула строка...»	17
Осень	18
«Живо и трепетно только минувшее...»	18
«Либерал пробился в держиморды...»	18
«Поэт пророчил просто так...»	19

«Еще зацепят, вдруг, напомниманьем...»	19
«Пустынный пляж и не видно в море...»	20
«Врать не буду, ведь не было жаркой...»	20
Женский день	21
Неприметность	22
«Я забыл, что бывает лето...»	22
«Я иду по канату...».....	23
«Уж ветер полу рвет, и гонит желтый лист...»	24
«Загадочность осенней долгой ночи...»	24
«Я сегодня с Музой всю ночь шустрил...»	24
«На пустом столе горят две свечи...»	25
«Мне кто-то здесь недруг и кто-то — не друг...».....	26
«Я бреду по улице с лентой...»	26
«Ты приходишь за мной, моя грусть, моя боль...»	27
«Когда б стихов моих железную оправу...»	27
Откуда.....	28
Тасмания	28
«Вновь сентябрь наступил...»	29
Загадка.....	30
«Вам Иосифа Бродского...»	31
Два пути.....	31
Зяма.....	33
11 сентября	33
«В душе моей не ангелы скорбели...»	34
«Вы мне вопрос задали сами...»	35
«Водочки принять впору...»	35
«К богам идут, дыша туманами...»	36
«Сегодня видел я, как вдруг набухли почки...»	36
Европа.....	36
Доверительное	37
Я и ТЫ	38
Воровка	38
Ичука	39

И все забудется.....	40
Не все евреи Моисеи	40
«Померкнет святость древней Палестины...»	41
«Нам не хватало, чтоб мы сами...»	41
«Нам бы с “исторической” в обнимку и вместе...»	41
«Луна накатила необычайной конфигурации...»	42
«Возможно, достанься мне примеси хоть на йоту...»	42
«Ты виновата, что я не ищущий...»	42
Гиперборей	43
Люблю в последний раз.....	44
Автопортрет художника в рамке	44
Некто Камюэнс.....	45
«Мы совсем не очевидная пара...»	46
«Гора с горой не сходится, увы...»	46
«Говорят, что Муза — ангел с рыжими волосами...».....	46
Ностальгия	47
«Подошел знакомый Зямыч...».....	48
«Сколько раз начинаешь плясать от печки...»	49
«Три вещи властвуют над нами...».....	49
Эсав.....	50
«Ветку распустившейся сирени...».....	51
«Завелся в моем доме...».....	51
«Говоришь, — неряха жалок...».....	52
«И неважно, как — по-мирному...».....	53
«И все-таки, как здорово...»	54
«Потомок черного раба...».....	55
«В формате выверенных ритмов...»	55
«Скажи, я услышу, — сквозь шум городской...»	56
«Каждая женщина — Ева...»	57
«Однажды утром я проснусь слепым...»	58
«Я ей говорил — ты ангел...»	58
«Возраст — мундир надрывается куцый...».....	58
Новороссия	59

«Мною всех не целованных женщин...»	60
«И не надо совсем орденов...»	61
Парк доминиканцев	61
«Словно падает снег — снегопадом идет листопад...».....	62
«А я никогда не отрицал пейсы...»	62
«Мы теряем друзей...»	63
Исповедь	63
Интернационал ххі.....	64
Нашествие.....	65
«Вован поклялся: “Главное мне — люди”...».....	65
«Русь в глуши — мордаленция та еще...».....	66
«Как горки русские — из радостей и боли...».....	67
Грамматик.....	68
«Мне этот мир — любить и не любить...»	69
«По мотивам австралийского фольклора...».....	69
«Простой холщовый вещмешок...».....	69
По мотивам Шеймаса Хини	
В хрониках сказано.....	70
По мотивам Лея Ханта	
Абу Бен Адам	72
«С первого твоего крика рядом незримо рок...».....	73
«Это было вчера или может два года тому...»	73
«Находясь в глубине колодца...»	74
«Был потоп — всемирная помывка...».....	74
«А сегодня прямо с утра — роса...»	75
«О нашей говенной, с порога корявой жизни...»	75
«Я устал от наплыва сплошного вранья...».....	76
«Желтый лист планирует под ноги...».....	77
Дорога к храму.....	77
«Звезды сбегают от нас по кривой...»	78
«Когда строка тебя ведет за руку...»	78
«На севере — зябко, на юге — тепло...»	79
Весна на Шпрее	80

«Сосед мой недавно...».....	80
ДОН РЫЦАРЬ.....	81
«Есть еще бесхозные места...»	82
LOCKDOWN NON STOP	83
«Салли — хозяйка в маленьком домике...».....	83
«Отмечаю в одиночку день рождения...»	84
«Уленшпигель написал на майке...».....	85
«Улыбнись — как бывало, приветливо...».....	85
ОСЕННИЙ БЛЮЗ.....	86
«Я обожаю эту пору...»	86
«Ничего для себя не жалею...»	87
«Мне жаль, но что такое — “фреликс” ...»	88
«Мой друг давно уехал в Кармиэль...»	88
«Поезда моего детства...»	90
КАРАНТИН	
1. «Никуда не едем, не идем...»	90
2. «По дорогам, по сугробам...»	91
3. «Есть героизм обыкновенных буден...»	91
СТАРЫЙ СВЕТ	92
«Мой сосед в автобусе из Оксфорда в Лондон...»	93
«Дождь, дождь, дождь...».....	94
«Хорошо в темноте...»	94
«Осень рассыпала капли размером с горошину...».....	95
«Сорри, я забыл произнести чи-и-з...»	96
«Русь проснулась — гул пошел, мало не покажется...»	96
«Я из страны, где любят только мертвых...»	97
«Что там насчет потом, если меня здесь не будет...»	98
УТРО.....	100

ОПЫТ ПОЛУПРОЗЫ

«Когда Юлий Цезарь...».....	101
«Так называемая истина, это, как правило...»	102
«И спросили мудреца: «Есть ли главное...».....	103

«Русский с украинцем, конечно же, братья...»	103
«Бедному никогда не перехитрить богача...»	104
«Любопытство и любознательность — вещи...»	104
«Дар поэта ласкать и корябать, роковая на нем печать...»	105
«Утверждать добро добром — это путь...»	105
«Мы говорили с ней на разных языках...»	106
«Человек имеет право взглянуть...»	107
«Русские настойчиво внушают всем...»	107

ПСАЛМЫ

«И приходят разрушающие, когда время строить...»	110
«И мир устанавливают воинственные...»	110
«И обращается Праведный к Господу...»	110
«И многие говорят: “Кто покажет нам благо?” ...»	111
«И говорят одни: “Верую в Господа” ...»	111
«И вот, блуждаю я, нет дома у меня...»	111
«И стал мой народ текучим, как вода...»	111
«И вот она Жизнь, и вот она Смерть...»	112
«И говорят одни: “Преступлю через праведность” ...»	112
«И наступает час...»	112
«И неважно преступил ты в малом или большом...»	113
«И вот стоим мы в Конце Дней — Ты и Я...»	113
«И не держу я камень за пазухой для народов земли...»	113
«И сказано у Экклезиаста: “Время тому и тому” ...»	114
«И не ревную я к злодеям моим...»	114
«И говорят одни: «И волос не упадет с головы...»	114
«И говорят Оберегающие Жизнь...»	115
«И в прежние времена, когда Слово Господа...»	115
«И говорил Моисей: “Не ждите голосов с неба” ...»	116
«И многие возвышают голос, сотрясая воздух...»	116
«И было так, когда Господь из ревности...»	117
«И ныне не достаточно уже сказать: “Я верую” ...»	117

«И не ищи доказательств промысла Божьего...».....	119
«И сказал Всевышний устами Пророков...».....	119
«И говорят: “Вот, предал один”...».....	119
«И потешаются некоторые над теми...».....	120
«И вот ты смотришь на себя...».....	120

ПРОЗА

Автопортрет на фоне	123
Бердянские были	148
Записки провинциала.....	148
Море	148
Юабович.....	157
Как я не стал миллионером.....	165
Пантагрюэлла из-под Полтавы	174
Шутка	183
Старая кениза.....	187
Циркуляция.....	198
Сибиряк.....	202
Вундеркинд.....	206
Экстрасенсы.....	229
Девкины.....	243
Художник.....	253
Псих	265
Как я по мед ходил.....	269
Псалом	
Часть 1. Сговор.....	277
Часть 2. Нашествие.....	282
Часть 3. В рабстве.....	288
Часть 4. исход	300

ЗАСТОЛЬНЫЕ БАЙКИ

Кошелек, или Путешествие.....	305
В сопровождении скрипача	305
Фетиш	312

Закон индукции	317
Антиэнтропия, или Закон жизни.....	324
Партбилет	334
Атас, русские идут.....	342
Синди	375
Опыт эпитафии	375
Адаптер.....	384
Лаки Будда.....	390
Мысли вслух, или Хлопоты старого еврея.....	401
О вере, неверии и суеверии.....	416
Проклятый дар	
Часть 1. Из грязи в князи	421
Часть 2. Гомо Юдеус (Сокровенная генетика).....	434

Літературно-художнє видання
СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»
Заснована у 2023 році

Залман Шмейлин
Я — ЗЯМА
(російською мовою)

Макет обкладинки і верстка Друкарський двір Олега Федорова
Формат 60x84 1/16. Наклад 200 прим. Зам. № 9282
Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 27,5
Гарнітура «Cambria».
Підписано до друку 04.03.2024 р.

Видавець Федоров О. М.,
«Друкарський двір Олега Федорова»
Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,
e-mail: relaks-oleg@ukr.net
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»
Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



ЗАЛМАН ШМЕЙЛИН окончил Львовский Политех. В Австралии с 1996 года. Печатался в различных изданиях. Публикации: «Новая Немига литературная», «Альбион», «Острова», «Витражи», «Арфа Давида», «Австралийская мозаика», «Крещатик» и др. В 2012 году вышла книга стихов и прозы «На костре своих строчек...». В 2015 вышел поэтический сборник «Нам выбор дан...».



**ДРУКАРЕВСКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА**



9 786178 169282